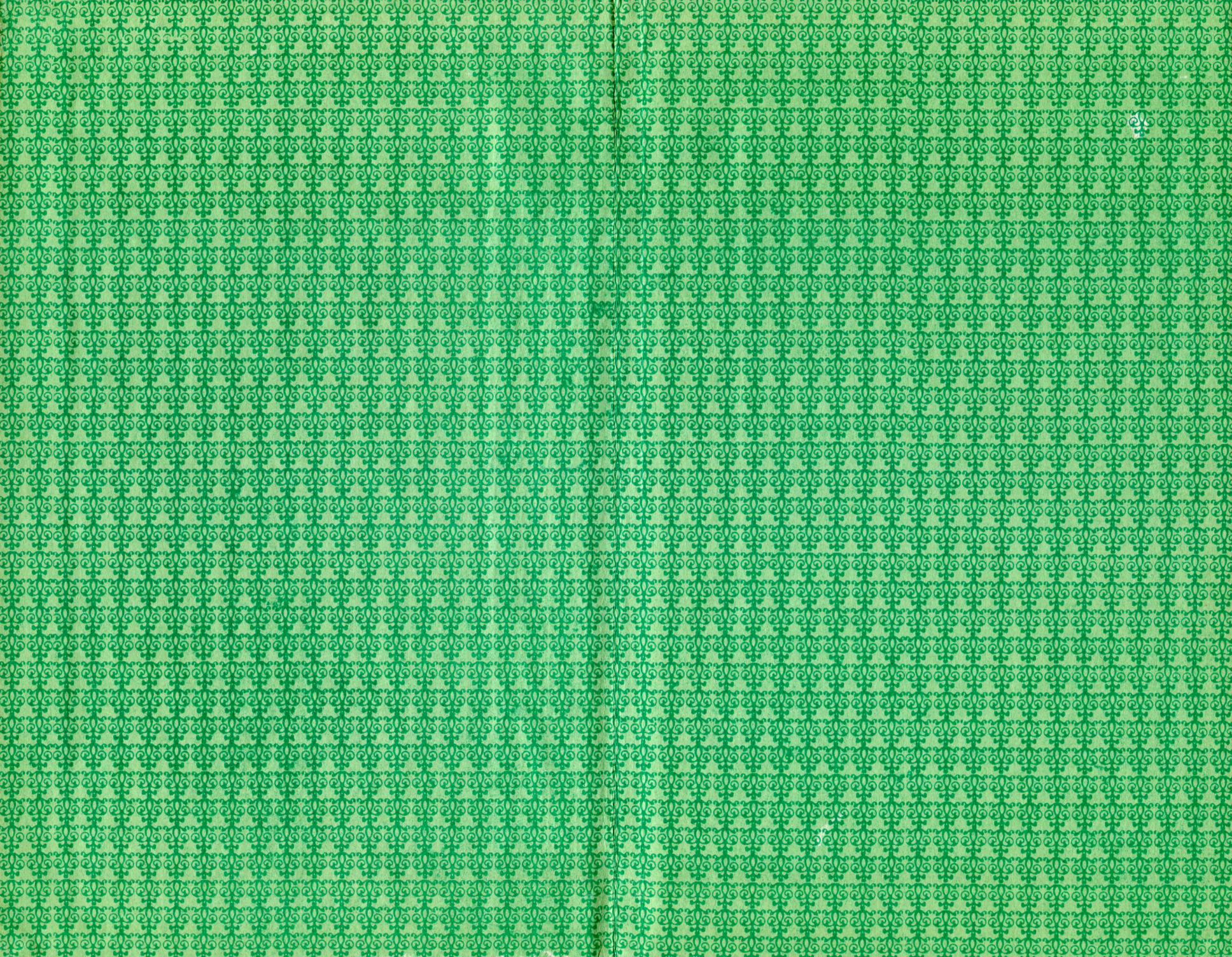


НОВИНКИ «СОВРЕМЕННОСТИ»

Шамиль Хазиахметов

МИР
ВАШЕМУ
ДОМУ

1 p. 30 x.



НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

Шамиль Хазиахметов

МИР ВАШЕМУ ДОМУ

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТЬ

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1986

Рецензенты **Н. Нефедов, М. Тарасова**

Оформление **Николая Стасевича**

Иллюстрации **Константина Победина**

Хазиахметов Ш.

Х15 Мир вашему дому: Рассказы. Повесть / Худож.
К. Победин. — М.: Современник, 1986. — 271 с., ил. —
(Новинки «Современника»).

Башкирский прозаик Шамиль Хазиахметов, инженер по профессии, пишет о том, что ему близко и дорого: о рабочих, инженерах, техниках, — искусно сплавляя воедино проблемы нравственности и производства. Герои его произведений — наши современники, люди ищущей, творчески-активной мысли, живущие интересами общества. Писатель поднимает актуальные вопросы, связанные с научно-техническим прогрессом. Знание жизни, умение рассказать о сложных человеческих взаимоотношениях помогают ему создавать полнокровные художественные образы.

Х $\frac{4702110000-004}{M106(03)-86}$ 255—86

ББК84 Баш7
с(Башк)

РАССКАЗЫ

У же далеко за городом широкое полотно шоссе убежало влево, и узкий, длинный корпус «Волги» теперь медленно пробирался среди голых перелесков и крутых, извилистых оврагов по дороге, которые на картах именуют «улучшенными». Ранний зимний закат холодно и скупое освещал высокие сугробы, нагроможденные бульдозерами слева и справа от дороги. Встречный ветер ударялся о тело набегающего автомобиля, пригибал тоненький ствол радиоантенны и с воем уходил вверх, к низкому темному небу.

И шофер, и сидящий рядом с ним главный инженер Загитов за весь путь не проронили ни слова. Молодой инженер сидел насупленный и старался не слушать этот тоскливый завывающий ветер, который сегодня будто обрел душу и метался в поле, ища нечто способное выслушать его унылую, однообразную жалобу.

День сложился для Загитова неудачно. С утра он рыскал по городу в поисках цветного телевизора, который сослуживцы решили подарить директору объединения в день его пятидесятилетия. Телевизор был куплен к обеду, затем Загитов отвез его в художественную мастерскую, и там выгравировали памятную надпись на пластинке. К вечеру Загитов освободился и надумал ехать на трассу. Можно было б, конечно, идти на юбилей, но утром из-за аварии остановили газопровод, питающий ТЭЦ города, и Загитов решил не рисковать. Трубы ТЭЦ, правда, дымили, и город жил в тепле — спрессованного в трубопроводе газа должно было хватить на два дня. Но Загитов опасался другого. Не посмев утром отказаться от юбилейного задания, он перепоручил механику заботы по убывшим на трассу людям. Аварийная бригада еще затемно выехала в поле, но нерасторопный механик, к ужасу Загитова, не сумел отвезти им экскаватор. Хуже того, вместо комфортабельного вагончика он отправил на трассу старый, который в управлении держали вместо склада. Загитов оскорбительно выругал механика, побегал по этажам конторы, которая по случаю субботнего дня была пуста, и понял, что ему надо немедленно отправляться на трассу. О юбилейных торжествах нечего было и думать. Загитов успокаивал себя тем,

что аварии в общем-то никакой нет, просто была обнаружена небольшая утечка газа. Труба под землей, видимо, проржавела, и газ через свищ уходил в землю уже вторую неделю; можно было б потерпеть до весны, но будет спокойнее спать, если избавиться от этого свища. И земляные работы там небольшие, лет десять — пятнадцать назад никто бы не стал ждать экскаватора. Только вот мороз ударил некстати. Земля основательно промерзла. Тут надо поработать ломами и кирками. Сегодняшний рабочий не спешит хвататься за эти инструменты, размышлял Загитов. Но там, на трассе, руководит аварийными работами сам начальник участка, Карамышев. То, что именно он сидит сейчас на аварии, немного успокаивало. Но ехать к нему не хотелось. Учились вроде бы на одном курсе, но никогда Загитова не тянуло к этому человеку. Умен, но не тонок, упорен в работе, но целей больших перед собой не ставит. Незаносчив, но доходит до поросычьего визга, если вдруг заденут его самолюбие. Таких людей Загитов не понимал и холодно обходил, стараясь не сталкиваться лицом к лицу.

Выехали на хорошо укатанную дорогу, что легла через все огромное снежное поле. Наверху высыпали яркие звезды, ветер стих, и машина, набирая ход, помчалась в белое пространство. Загитова вжало в мягкое кресло, он смотрел через лобовое стекло на близкие звезды, и ему казалось, что он взбирается к небу. В такие минуты быстрой езды по ночной дороге Загитову хорошо думалось и мечталось, но сейчас его раздражал малознакомый молчаливый шофер. Утром «газик» Загитова не выпустили из гаража, и начальник управления отдал ему свою «Волгу». В этой роскошной машине Загитов чувствовал себя неуютно, тем более что ехал он не на какое-нибудь совещание, а к рабочим в поле. Потом, у этого шофера была неприятная привычка поминутно сплевывать. Левой рукой он опускал стекло дверцы и резко дергался круглым ртом в узкую щель окна. Загитов еле удерживался от замечания, удивляясь про себя выдержке начальника, что каждый день ездит рядом с таким верблюдом.

Впереди поле кончалось березняком. На снегу ярко горел костер, от него шел тяжелый запах горелой солярки. Вокруг костра стояли рабочие. В своих тяжелых брезентовках, понадетых на теплые фуфайки, они выглядели бесформенно и мрачно. За их спинами по колеса утопал в снегу выкрашенный алюминиевой пудрой вагончик, в его окнах не было света.

Загитов вышел из машины, оглядел невеселую картину, вздохнул и, развернув плечи будто для строевого шага, пошел к костру.

— Здорово, ребята! — негромко сказал он и подвинул шуплого на вид рабочего, чтобы встать в круг и оглядеть всех.

Главному инженеру не ответили, лишь кто-то негромко проворчал, его сосед пнул ногой в костер, задвигая головешку.

Рабочие смотрели на высокого, худого мужчину, что сидел прямо на снегу и глядел перед собой.

— Какой план высиживаешь, Ризуан? — полушутя спросил Загитов и подошел поближе к бригадиру.

— Почему экскаватор не прислали? — спросил Ризуан очень тихо. Рабочие шевельнулись, и снова стало слышно, как огонь жадно лижет облитые соляжкой поленья.

Загитов посмотрел на красное от мороза и ветра лицо бригадира. Тот, казалось, положил голову на спину — так она запрокинулась — и снизу разглядывал инженера. Загитов дрогнул, но не смог оторваться от больших черных глаз Ризуана.

— Вы зачем вагончик прислали без печки, без света? — снова спросил Ризуан, и Загитов усилием воли отвел взгляд от его громадных черных глаз и обернулся к рабочим. У многих были обморожены щеки, в их усталых, равнодушных глазах уже ничего не было, даже злости.

— Вагон оборудован электропечами, — сказал главный, чтобы не молчать.

— На кой хрен твои печи, тут в степи, если нет электричества, — грубо ответил Ризуан и начал подниматься, медленно разгибаясь в коленях.

«Обстановка понятна», — подытожил для себя Загитов и, дождавшись, пока Ризуан разогнулся так, что их глаза встретились, сказал громко:

— Товарищи, я вас не агитировать приехал. Работу к утру надо сделать. Вы меня поняли?

И пока Ризуан, задохнувшийся от злобы, приходил в себя, Загитов положил руку ему на плечо и усмехнулся:

— О работе поговорим потом. А сейчас немного перекусите. Ризуан... — он многозначительно посмотрел на бригадира. — Возьми в багажнике ящик и портфель с закуской. Только чтоб аккуратно...

Ризуан мгновенно смягчился и, ссутулив плечи, направился к машине.

Из темноты подошел невысокий, плотный мужчина в шубе и унтах.

— Карамышев? — вздохнул главный инженер. — Ну, что у тебя тут, рассказывай.

Тот подал руку и ступил в сторону, чтоб лучше разглядеть Загитова.

— Что с экскаватором случилось, Амир Гареевич? — спросил он.

— Ну его к бабушке! — отмахнулся Загитов. — Поручил было, на свое несчастье, я это дело механику. Наш растяпа до обеда искал машиниста, наконец привез его. Экскаватор погрузили на трейлер¹, но тот не могли сдвинуть — неисправный. Выходной день, сам понимаешь, того нет, другого нет. Но ничего, обойдемся!

— Как это обойдемся? — мрачно спросил Карамышев. — Мерзлую землю ногтями будем ковырять?

— Будем, — упрямо сказал Загитов. — Вы бы хоть попытались верхний слой снять, там легче пойдет.

— Мы уже два слоя сняли, — лицо Карамышева дрогнуло в усмешке. — Неужели я тут без дела сидел? Можем снять еще один слой — все равно земля мерзлая. Ты ж видел сам, кончал я ребят начисто.

— Обойдемся, — сказал Загитов. — Ты только не паникуй. Не из таких положений выходили.

Карамышев снял перчатки и сильно потер воспаленные глаза.

— Иметь мощную технику, передвижные дома с теплом, светом и радиосвязью и в то же время заставлять нас надрываться на морозе — разве это честно, Амир?

Загитов промолчал. Карамышев поднял воротник и хотел было идти к разрытой яме, как увидел Ризуана, тащившего к вагончику ящик с водкой. За ним шел слесарь Чанбарисов и нес три булки хлеба и несколько толстых жирных колбас.

— Вот это зря, — резко возразил Карамышев. — Привез бы лучше горячий ужин.

— Не учи меня жить, Талгат, — сдерживаясь, попросил главный. — Ты неглупый малый, работаешь с людьми полтора десятка лет, но рассуждаешь как учительница начальных классов. Когда ты научишься понимать рабочего человека?

Карамышев дернулся, помолчав, предупредил:

— Рабочие весь день работали на морозе, без горячей

¹ Трейлер — платформа для перевозки больших машин.

пищи. Если кого поморозишь, мне, как старшему прорабу, ответ держать.

— Не бойсь, — одернул его главный. — Я за все отвечу. Если испугался ответственности, то бери мою машину и уезжай. Разрешаю.

Карамышев направился к машине. Загитов, не веря глазам, смотрел на его твердый шаг, запоздало раскаиваясь в своем предложении. «Неужели посмеет уехать? — спрашивал он. — Ославит себя на все объединение. Да и меня выставит в дурацком свете».

Карамышев дошел до машины, распахнул дверцу и что-то сказал шоферу. Тот прибавил обороты, дал задний ход и, развернув машину, включил дальний свет.

«Как я нехорошо подумал о нем», — спохватился Загитов. Теперь он, увидев ярко освещенную яму с разбросанными вокруг комками земли, уловил мысль Карамышева. Хорошо, что эта нарядная машина хоть как-то поможет делу.

Загитов позвал Карамышева в вагончик, но тот наотрез отказался. Главный снисходительно улыбнулся и пошел к рабочим. Те сидели и стояли вокруг стола, освещенного керосинкой, и громко смеялись.

Возле Карамышева остался лишь один газорезчик Ишмаев. Он был молод, застенчив, и мало кто знал, что этот паренек собирается через месяц жениться.

С крыльца вагончика Ризуан крикнул Ишмаеву, и тот, виновато улыбнувшись начальнику, побрел на зов бригады.

* * *

Злого, насупленного Ризуана было не узнать. Он стоял у края траншеи, лез в карман за папиросами и широко улыбался.

— Амир Гареевич прикажет — в огонь пойдем, — добродушно философствовал он с папиросой во рту. — Не начальник, а золото.

Однако Ризуан не спешил спускаться в траншею. Он с наслаждением вдыхал табачный дым, задерживал его в легких для «обогрева нутра» и щурился на яркий свет автомобильных фар «Волги».

Раскрасневшиеся рабочие дружно высыпали из вагончика, заговорили разом и, не слушая друг друга и толкаясь, направились к стоявшему в ярком свете Ризуану. Последним с крыльца вагончика спустился Загитов. Он на ходу дожевывал колбасу. Считая хлебные крошки со сво-

его полушубка, он подошел к Карамышеву и похлопал его по спине.

— Зря не выпил, — сказал он, с удовольствием оглядывая ночное белое поле и залитых автомобильным светом рабочих. — Хорошо как кругом! Взял бы сейчас да через это поле на Северный полюс пошагал — столько во мне, брат, блаженства! И вообще, Талгат, не надо в таких критических ситуациях гнушаться рабочих. Я имею в виду... ужин.

Он громко икнул, и Карамышев чуть не крикнул ему в лицо: «Дурак! Кого ты учишь, как вести себя с рабочими? Вот я посмотрю, какое блаженство в тебе будет через пару часов, когда винные пары попрут».

Он отвернулся от главного и подозвал к себе Янгалина, молодого мастера, только недавно мобилизованного из армии.

— Вот что, Халит, — сказал он. — Гляди в оба, чтобы никто из рабочих далеко не отлучался. Понял?

Загитов застегнул полушубок на все пуговицы и решительно пошел к рабочим.

— Ребята! — сказал он, выискивая глазами бригадира. — Чтоб дружно к утру кончать работу — как договорились. Трусами ляжем, но аварию устраним. Так, Ризуан?

— Ляжем! — весело согласился Ризуан и огляделся. Он все еще не собирался спускаться в мерзлую траншею. Докурив, Ризуан выплюнул окурочек и, согнув ноги в коленях, с любопытством смотрел, как внизу, на дне неглубокой ямы, яркой красной искоркой догорает папироса.

Бригадир полез было в карман за второй папиросой, но сзади напирал главный, почти сталкивая его в траншею. Ризуан, чтоб не свалиться, вежливо держался за рукав Загитова и озирался.

— Талгат Шарипович! — заорал он. — Где он, куда пропал?

— Здесь я, — спокойно ответил Карамышев и шагнул к траншее. — Чего кричишь?

— Как не кричать, — успокоился бригадир, прижимаясь боком к главному, чтоб не упасть в яму. — Указание какое будет?

— Амир Гареевич тебе ясно сказал: пора начинать, — сказал Карамышев. — Или ты надеешься, что я отменю распоряжение главного инженера и разрешу тебе поспать в вагончике?

— Понял, — вздохнул бригадир и, отпустив рукав глав-

ного, боком свалился в яму. За ним спустились еще трое слесарей с ломами и кирками, и внизу тяжело завозились, расширяя и углубляя приямок для сварщиков.

Оставшиеся наверху рабочие бестолково сновали, то уходя в тень, то вдруг выныривая в яркий сноп света от машины. На куче выброшенной из траншеи земли стоял Янгалин и зорко следил, чтоб рабочие не ушли в поле или ближний лес.

Карамышев оглядел без дела снующих рабочих. Они громко, возбужденно переговаривались, но было ясно, что сама работа их уже мало интересует. «Что сделалось с бригадой!» — обеспокоенно подумал Карамышев о рабочих, что еще час назад были злой, крепкой артелью.

Расстроенный, он поднялся в вагончик, брезгливо отодвинул стол с остатками еды и встал у окна. Интуитивно он понимал, что вмешиваться сейчас в дело бесполезно, нужно дождаться критического момента и употребить весь свой опыт, авторитет, волю и переломить настроение бригады на рабочий лад.

Сзади, за спиной, сильно чадила керосиновая лампа. В окно глядели белые поля, уходящие далеко в ночь и там, в черной глубине, загибавшиеся к звездному небу.

«Даже обогреться негде, — с нарастающей тревогой подумал Карамышев. — Растяпа!»

Теперь он клял себя, что не остался с утра в городе. Хотел быть со своими рабочими, делить с ними все невзгоды. Если б остался в городе, он бы из-под земли достал исправный трейлер и погрузил экскаватор, наверняка привез бы исправный вагончик с отоплением и радиосвязью. Его участковую машину с радиостанцией кто-то в управлении задержал и отправил по своему усмотрению. Скорее всего, она обслуживает юбилейное торжество директора. Завтра он узнает, кто отдал это подлое распоряжение. Он наплюет ему в бесстыжие глаза. Но это завтра...

Если б он остался в городе... Теперь сиди и жди, чем кончится эта ночь. Похоже, добром она не кончится. В конце концов, могли и подождать с этой работой. Неделью газ уходил через свищ, пробивал себе дорогу сквозь мерзлую землю и толстый пласт снега. Можно было переждать эти морозы, юбилей. Всего-навсего надо было оградить место утечки газа, поставить предупредительный знак — место тут безлюдное, дорог поблизости нет. Теперь, конечно, сожалеть об этом поздно, газопровод отключен, через сутки газ в трубах иссякнет. Что будет потом, лучше не думать.

Невеселые мысли Карамышева снова уперлись в Загитова. В институте они общались мало. На трассе Загитов проработал всего один год, потом ушел инженером в производственно-технический отдел и довольно быстро вырос до главного инженера. Ему как-то легко давалась работа. Если к Карамышеву опыт приходил медленно и трудно, то Загитов, казалось, усваивал те же опыт и знания с лету. Он редко ломал голову — в ней всегда сидели готовые решения. Рабочих нужно уважать, ценить, особенно квалифицированных — так считал он, усвоив эту нехитрую истину еще на студенческой скамье. С рабочими он шутил, хлопывал по плечам, потакал им и считал, что понимает их, как никто другой. Слесари, сварщики и шоферы относились к Загитову насмешливо, но добродушно и даже ласково, считая его своим «в доску». Но Загитов не понимал или не хотел понимать, что рабочие снисходительны с ним как с начальником, с которым не работают плечом к плечу. Легко быть начальнику добреньким и сочувствующим тем людям, с которыми всю жизнь работают подчиненные тебе мастера и прорабы и которые терпеливо выдерживают давление снизу, от рабочих, и сверху, от начальства. Именно они незаметно и привычно решают все производственные и личные конфликты с рабочими.

Карамышев был со своими подчиненными строг, серьезен и не мог заставить себя держаться с ними шутливо, в ироническом, чуть развязном тоне, как это делал Загитов. Некоторые из старых рабочих относились к нему враждебно — Карамышев не прощал пьянства и легкомыслия на работе ни под каким предлогом. «Если б мы собирали яблоки в колхозном саду, — говорил он, — я б имел право на многое смотреть сквозь пальцы. Но у нас работа серьезная, ответственная — мы газовщики». Любители выпить поуходили от него на другие участки и службы, сохранив к нему неприязненные чувства. Но — что было удивительно — со временем эти люди начинали говорить о Карамышеве с уважением, как о руководителе, у которого в хозяйстве полный порядок.

Карамышев постоял у окна, чувствуя, как дрожь охватывает тело, и вышел наружу. Рабочие мельтешили возле траншеи, опекаемые Янгалиным, кричали друг на друга, суетились, но дело не двигалось.

Загитов стоял над траншеей и матерился. Это был, как уверенно считал он сам, один из его «ключей» к рабочему человеку. Но сейчас он ругался искренне, и подошедший

Карамышев с тревогой оглядел его красные щеки и слезящиеся на морозном ветру глаза.

Главный жестоко мерз в своем легком импортном полушубке, рассчитанном скорее на холодную осень, нежели на лютую башкирскую зиму.

Рабочие пока держались бодро, но видно было, как быстро спадает возбуждение и заметно скучнеют их лица.

— Тулупов, Ахмадуллин! — позвал Карамышев.

К нему подошли оба сварщика. Карамышев поглядел в их осоловевшие на морозе глаза и поморщился.

— Что я утром буду делать? — спросил он. — Вы ж электродержатель не сумеете в руки взять!

Карамышев взял сварщиков за плечи и повел к машине.

— Отогрейтесь и поспите, — приказал он. — Чтоб к утру были свежие.

Сварщики охотно подчинились приказу и полезли в машину.

Карамышев вернулся к остальным и заглянул в траншею. Внизу возились Ризуан и еще трое слесарей. Они уже достигли верха трубы и теперь углублялись вбок. Бригадир был без шапки, взлохмаченный и потный. Он орал на слесарей, толкался и мешал им работать.

— Вылазьте! — крикнул сверху Карамышев.

И пока рабочие карабкались наверх по вырубленным в мерзлой земле ступенькам, Карамышев подозвал остальных.

— Ты что задумал? — толкнул плечом Загитов, дыша на руки и прикладывая их к непослушным от холода губам.

— Не мешай, — резко ответил Карамышев. — Я тебе не мешал, когда ты тут работу мне «организовывал».

Главный предусмотрительно промолчал.

— До пота не работать, — приказывал Карамышев рабочим. — Сейчас разбиться на четыре звена. Будем работать поочередно, чтоб не застыть. С первым звеном спустится Амир Гареевич, со вторым я, с третьим Ризуан, с четвертым Янгалин. Поняли? Работать понемногу, но споро.

Главный потоптался и нерешительно прыгнул в траншею. За ним попрыгали рабочие его звена. Главный взял за кирку, ударил ею несколько раз и вывернул мерзлый ком. Молодые рабочие вяло смотрели на работу звеньевого.

— Чего стоите? — заорал на них Карамышев. — Живее пошевеливайтесь!

Через десять минут Карамышев поднял наверх звено

главного. Загитов тяжело дышал, видимо, работа мало согревала его, зато сильно утомляла. Он молча передал кирку Карамышеву. Тот живо прыгнул в траншею, спеша согреться работой, и резкими окриками заставил быстро заработать своих напарников.

Веселье выскочило из рабочих вместе с винными парами, и они спускались в «забой», как мрачно пошутил Ризуан, неохотно, больше подчиняясь ожесточившемуся Карамышеву.

Звено спускалось за звеном, и рабочие потеряли счет часам. Сильно уставшие пытались присесть и вздремнуть в ожидании своей очереди, но безжалостный Карамышев поднимал их и заставлял откидывать грунт от края траншеи. Некоторые, особенно молодые, огрызались, пытались не подчиниться Карамышеву, но тот был неумолим. Злость так разъяряла этих уставших, потерявших было всякий интерес к жизни людей, что с них слетала сонливость, и Карамышев только поеживался про себя от их сощуренных в щелку злобных глаз.

К утру «забой» был готов. Карамышев спустился, ощупал голый рукой низ трубы и там, где коркой отстала изоляция, нашел свищ. В него легко проходил мизинец.

Ризуан растолкал сладко спавших в машине сварщиков.

Уже когда взревел сварочный агрегат и сварщики полезли в «забой», Карамышев дал команду звеньевым поочередно греться в машине.

— В забой мое звено спускал первым, в машину посылаешь греться последним, — Загитов стоял среди своих напарников, дул на пальцы и пытался шутить. — Где справедливость, гражданин начальник?

Главный инженер, сильно продрогший, усталый и вдруг как-то оравнодушевший ко всему, смотрел мимо Карамышева и широко зевал.

— Пижон ты, Амир Гареевич, — с сожалением сказал Карамышев. — Приехал бы лучше утром, вот сейчас, покрутился с нами часок-другой и полетел бы начальству рапортовать: мы, мол, аварийные работы на двести пятом пикете выполнили, мы сдержали слово, мы не подвели... Про экскаватор и теплый вагончик можно не упоминать — зачем мелочиться? Мы тоже не вспомним. Мы и тебя, Амир Гареевич, тоже не подведем.

— Ты не очень-то зарывайся, — предупредил Загитов, поколачивая ноги друг о друга и запоздало намекая на субординацию. — Нам, может, еще долго жить вместе.

— Не пужай, — презрительно отмахнулся Карамышев. — На твое место человека хоть сегодня найдут, вот ты на мое место найди. Мой хлеб тяжелее твоего будет. Так ведь, Амир Гареевич?

Из машины вылезло отдохнувшее звено Ризуана, и Карамышев, сжалившись, пропустил вперед звено Загитова. Тот, зарывшись лицом в искусственный мех полушубка, боком полез было в теплую машину, как неожиданно Карамышев схватил его за полу.

— Ишмаев где? — крикнул он. — Где Ишмаев?

Загитов с сожалением вытащил ногу из машины, долгим взглядом смерил Карамышева.

— Какой ты странный мужик, — сказал он. — Ну откуда я знаю, где сейчас сидит или стоит этот Ишмаев. Это я должен тебя спрашивать, где находятся твои люди.

— Где Ишмаев? — снова спросил Карамышев и шагнул к главному. — Я звено тебе поручал. Ты отвечаешь за этого парня...

Загитов оглядел рабочих и, не найдя среди них Ишмаева, встревожился. С него вмиг соскочило равнодушие.

Карамышев подозвал мастера.

— Возьми ребят и обыщи поле, — велел он. — А ты, Амир Гареевич, со своим звеном ищи в лесу.

Вскоре собрались все вместе, но Ишмаева никто не видел.

Карамышев взгляделся в темноту.

— Ищите возле вагончика и за машиной, — приказал он. — Загляните в овражек.

Карамышев лихорадочно пытался представить возможные пути молодого парня.

«Вот Ишмаев, распаренный, выскочил из траншеи, — думал он, делая шажки в сторону от «забоя». — Пошел к лесу вот этой тропкой. Тут уже ходили днем другие, по нужде. Так...»

Он прошел тропкой до леса, углубился, дальше тропка кончалась.

«Так... — быстро соображает Карамышев, возвращаясь по тропе. — Здесь его нет. Тогда где же он? — Он вспомнил застенчивый характер паренька, и его озарило: — Этот на тропке не присядет. Он уйдет в сторону».

Карамышев бросился за одно дерево, за другое. За широким стволом дуба он увидел темный предмет, напоминающий мешок.

То был Ишмаев, привалившийся к дереву. Видимо, он



не удержался от соблазна и на минуту решил сомкнуть глаза.

Едва не закричав, Карамышев обхватил холодеющее тело и потащил его к людям.

...— Надо растереть водкой, — засуетился побледневший Загитов. — Принесите, там оставалось в бутылке.

Рабочие не двинулись, и Загитов, взглянув на их молчаливые лица, понял, что надеяться не на что.

Карамышев расстегнул шубу и вытащил из внутреннего кармана полиэтиленовую фляжку со спиртом.

Ишмаева привели в чувство, но Карамышев боялся за его ноги. Осмотрев их, он сказал Янгалину:

— Садись в машину, и дуйте вдвоем в город. Заезжайте в первую же больницу. Вы, Амир Гареевич, тоже садитесь.

Загитов сделал было движение, чтобы отказаться.

— Езжайте, — сухо попросил Карамышев. — Ваш видок чуть получше, чем у Ишмаева. Да и доложить надо обстановку диспетчеру.

Загитов, ссутулившись, еле втащил на переднее сиденье одеревеневшие от холода и изнуряющей ночной работы ноги, слабо махнул рукой столпившимся у машины рабочим, и «Волга» укатила в белое поле.

Сварщики уже кончали работать. Ризуан со своим звеном наломали в лесу сухих веток и разложили на снегу жаркий костер.

— Теперь продержимся, — пообещал себе и товарищам бригадир и вопросительно посмотрел на сидевшего у костра Карамышева.

Тот, не ответив, уронил голову на грудь.

РАССКАЗ О РАНЕНОЙ МАШИНЕ

Искалеченный трубоукладчик привезли в центральные мастерские после обеда. Из курилки выбежали слесаря, со второго этажа конторы степенно сошло начальство, за ним служащие, из цехов подошли солидные, молчаливые механики и командированные из управлений треста, разбросанных по Уралу и Западной Сибири.

Трубоукладчик привезли со станции на трейлере. Со всем недавно он был красивой, самой мощной машиной в отрасли, гордостью конструкторской мысли головного института. Трубоукладчик этот был безотказен в эксплуатации и работал в любых климатических условиях.

Месяц назад он угодил в топь на одной из северных трасс, несколько дней его тащили из болота кранами, лебедками, цепляя тросы за все, что ненадолго показывалось из мутной жижи.

Наконец трубоукладчик вытащили и погрузили на трейлер. Но в дороге его подстерегала вторая беда. На крутом повороте зимника не выдержала ось трейлера, и он вместе с трубоукладчиком и тягачом полетел под откос.

Толпа стояла вокруг искалеченного богатыря и молчала. На трубоукладчике не оставалось ни единого живого места: дизельный мотор был с одного боку раздавлен, кабина смята в лепешку, подъемную стрелу согнуло пропеллером, железные листы обшивки сорвало и покорежило, стекла фар выдавило, и они пустыми глазницами смотрели на людей и серый заводской двор.

Нурислам Булгаков, механик, стоял в толпе и вдыхал тонкий, знакомый запах давно отработанной солярки, исходивший от машины. В свое время он много работал на трубоукладчиках, знал и любил их. Он с закрытыми глазами мог разобрать и собрать любой узел и всегда с жадным любопытством накидывался изучать и ремонтировать машины новых модификаций.

Покалеченный трубоукладчик, словно уставившийся на него выбитыми фарами, вызывал у Булгакова не просто жалость, сострадание, как у многих собравшихся в толпе знатоков и любителей техники. Глядя на него, он испытывал что-то похожее на отчаянье. Булгаков удивился неожиданному чувству, отошел в сторону и закурил.

— Ну, милая... — сказал главный механик Красько и от огорчения нахлобучил шапку на лоб. — Куда же твой машинист глядел, когда в болото правил?

— Налил глаза, видать... — вставила женщина из бухгалтерии.

— Сюда бы его... — сказал кто-то из слесарей. — Да вот так намять...

— На трассе всякое бывает, — вмешался Нурислам. — Иной раз и глядишь во все стороны, однако болото глазом не прощупаешь. К тому же машина новая, незнакомая, у нее свой характер.

Из конторы последним спустился директор мастерских Шубин Денис Иванович, широкий, грузный мужчина в унтах и шубе. Он видел трубоукладчик еще на станции, но по праву старшего деловито обошел машину, расталкивая локтями подчиненных, и остановился напротив фар.

— Какого работника не уберегли... — сказал он, озлобляясь. — Эх вы, люди-звери!

Механики и слесаря опустили головы, будто старый начальник укорял их. Шубин, помолчав, сказал негромко:

— Булгаков, вот что...

— Булгаков! — закричали с облегчением сразу несколько человек. — Иди сюда, Денис Иванович зовет!

Булгаков подошел ближе и встал возле директора.

— Вот о чем я попрошу тебя, — Шубин переступил ногами и повернулся к Булгакову. — Что можно, сними на запчасти, остальное — в металлолом. Заодно приглядывайся к устройству — скоро начнут приходить к нам такие трубоукладчики.

— Правильно, Денис Иванович, — громко поддержал Шубина главный механик. — Что с этим инвалидом возиться? Списать его...

Снова что-то больно задело Булгакова. Не успев додумать какой-то ему одному понятной, затаенной мысли, он сказал Красько:

— Зачем спешите хоронить инвалидов? Машина эта еще хорошо поработает.

— Что ты предлагаешь? — нетерпеливо спросил Шубин и тут же пошутил в своем духе: — Давай выставим его на постамент, как героя. Вот только куда? На крышу?

— Я поставлю его на ноги, — сказал Булгаков и похолодел. На него уставились механики, насмешливо, с неприязнью смотрел Красько.

— Ты хорошо подумал? — спросил тот и боком протиснулся к Булгакову. — Даже если ты поставишь его на ноги, но провозишься с ним год — этот трубоукладчик нам золотым встанет.

— Погоди, здесь не хуже тебя специалисты имеются, — оборвал его Шубин. — Говори, Нурислам Валеевич.

— Золотым он не встанет, — угрюмо ответил Булгаков. — Трубоукладчик отремонтирую до весны. Надо будет — согласен работать вечерами.

Шубин усмехнулся. Его мягкая усмешка ободрила Булгакова.

— Но ты не спеши, — остановил Шубин. — Ты уже не

мальчишка, в возрастходишь. Завтра обследуй машину, прикинь возможности мастерских, свои силенки и приходи ко мне с ответом.

Шубин расставил локти и прошел сквозь толпу к конторе.

Красько взял за плечо Булгакова.

— Какого рыжего ты влез в это дело? — недобро спросил он. — Столько срочной работы, аж из министерства звонят, а тебе этот инвалид понадобился. Почему ты веч-но суешься не в свои дела? Хоть бы посоветовался со мной, согласовал...

— Я его отремонтирую, — упрямо повторил Булгаков. — В мае он будет на ходу.

— Зачем? — Красько, улыбаясь, оглядел механиков. — Что тебе это даст? Лучше бы ты его выкрасил и поставил на крышу, как героя. — Злой Красько повторил слова директора и счел нужным добавить от себя: — А сам бы, Ну-рислам Валеевич, встал возле него, тоже героем...

«Что он глумится надо мной?» — подумал Булгаков и близко подошел к главному.

— Знаешь что, ты меня не трогай. — Он сделал паузу, чтобы не наговорить грубостей. — Я рабочий человек и не позволю вам издеваться. Не нравлюсь — сегодня же съ-майте с механиков. В слесарях мне хуже не будет, я тебя еще заставлю за сверхурочные платить. Но я не позволю тебе смеяться надо мной!

Механики слушали Булгакова с одобрением, и Крась-ко, избегая обострения разговора, резко повернулся и ушел к себе.

Когда все разошлись, к Булгакову подошел его товарищ Володя Зимовеев.

— Погляди, какая махина, — сказал он, показывая на трубоукладчик. — Нам бы тогда такие.

— Растет техника, — согласился Булгаков. — Для того времени и у нас были самые мощные машины.

— Задачку ты себе поставил, — покачал головой Воло-дя. — Случай чего, полагайся на меня.

— Задача тяжелая, Володя, — признался Булгаков. — Погорячился я... Ладно поглядим.

* * *

По пути с работы Нурислам заглянул в молочный, хлеб-ный магазины, гастроном и вернулся домой с сетками в обе-их руках.

Надя полулежала на диване и вязала.

— Так рано? — обрадовалась она и отложила на стул вязанье. — А наш Тимур мыл сегодня полы.

Нурислам разделся, вытащил из сеток на стол бутылки с молоком и пакеты, потом сел возле жены.

— Как твои дела? — спросил он и поправил одеяло на ее ногах.

— Все так же, — ответила она, опуская глаза. — Ты поужинай с Тимуром. Он не кушает один.

— А ты?

— Я не хочу, — Надя взяла в руки спицы.

Нурислам позвал сына, и они вдвоем, молча и поспешно, поужинали.

Тимур учился в третьем классе, рос крепким и не по годам крупным мальчиком. Он ходил в школьный хор и два раза в неделю в плавательный бассейн.

— Пап, я еще не выучил уроков, — сказал он.

— Иди, учи. — Нурислам собрал грязную посуду в мойку и поставил на плиту греть воду.

Когда десять лет назад родился сын, молодые супруги растерялись — они долго не могли подобрать имя.

В конце концов Нурислам предложил назвать сына Тимуром. «Именем жестокого завоевателя?» — возмутилась Надя. «Но он был великим полководцем, — отстаивал понравившееся имя Нурислам. — Разве не были жестокими Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон? И потом, сына Михаила Васильевича Фрунзе звали Тимуром».

Последнее подействовало на жену.

Нурислам питал слабость к военной литературе. Он знал всех великих полководцев и мог, например, легко сказать, сколько солдат, кавалерии и пушек участвовало с обеих сторон в битве при Аустерлице. «Понимаешь, Петр Первый был не только большим полководцем, но и хитрой лисой, — вдруг говорил он Наде. — В Полтавской битве он специально передел гвардейский полк в крестьянскую одежду, и Карл, полагая, что перед ним новобранцы, в решающий момент сражения направил удар своей гвардии именно по этому полку и, конечно, просчитался».

Надя равнодушно слушала мужа, и тот сникал. «Почему коллекционеры имеют свои клубы, кружки, а мы, интересующиеся историей военных битв и морских сражений, не знаем даже друг друга?» — сокрушался он про себя.

— Погуляем с часок? — предложил Нурислам жене.

— Нет-нет, — поспешно отозвалась она. — Ты устал, отдохни хоть немного.

Нурислам ушел на кухню, перемыл всю посуду и, сев к столу, задумался. Завтрашний день ожидался суматошный, запутанный. «Чего я высунулся с этим ремонтом? Будто своих забот мало... — подумал он о себе. — Чтобы насолить Красько, удивить всех?»

* * *

На другой день Нурислам неожиданно встретил возле мастерских Санию Кутдусову. Они вместе учились в школе. В десятом классе Нурислам дружил с этой маленькой, изящной Саней, которая очень важничала и просила называть ее Соней.

Теперь Соня была далеко не изящной, но все же милостивой, со вкусом одетой женщиной. Она ласково оглядела старого товарища.

— На обед торопишься? — спросила она. — Зайдем в кафе, я тоже перекушу.

Они сели за угловой столик. Нурислам оглядел нарядную Соню и застеснялся своего старого, поношенного костюма.

— Как семья? — спросил он, чтобы отвлечься. — Муж, наверное, большой начальник? Или профессор?

— Кандидат наук, — ответила Соня, не поддаваясь его шутливому тону. — Уже три года, как я его выгнала. Дело даже не в том, что моего мужа часто видели с одной из его студенток. Просто я его никогда не любила.

«Ничего себе, разговор начали», — изумился Нурислам про себя и несмело поинтересовался:

— Одна воспитываешь детей?

Соня подняла на него насмешливые глаза.

— У меня хватило ума не заводить детей с мужчиной, которого не любила.

Она придвинула к себе мясной салат и подцепила вилкой тонкое колечко лука.

Нурислам поглядел на чистую, ухоженную кожу ее лица, маленькую грудь и подумал против воли: «Жизнь-то не очень тебя поломала, Сонечка. Больно уж ты гладкая...»

— Ты даже не спросишь, почему я вышла замуж не по любви.

— Счастливый ты человек... — засмеялся Нурислам. — Раз находишь время про любовь думать. У меня в жизни других забот хватает. Теперь и не помню, по любви женился или просто так. Кстати, ты ведь тоже не поинтересовалась моей жизнью.

— Я знаю о тебе все, — резко возразила Соня. — После техучилища ты работал на трассе машинистом трубоукладчика, потом ты женился на своей длинной Наде. У вас родился сын, ты закончил заочный техникум, и вы переехали в город. Два года назад у тебя заболела жена. Сочувствую... Прошлым летом ты возил ее на Кавказ, но курорт не помог.

— Все верно, — удивленный, пробормотал Нурислам. — И откуда ты знаешь — в газетах обо мне никогда не писали.

— Я не уставала удивляться твоей Наде, — продолжала Соня, дав выговориться Нурисламу. — Молоденькая, интересная девчонка поехала на трассу с некрасивым, нескладным машинистом. Ведь после целого дня работы на этом тракторе у тебя на сутки уши закладывает, тебе, глухому, надо кричать из рупора. А потом тебя надо пару часов отмывать в горячей воде, понимаешь?

— Некрасивый, нескладный... — поморщился Нурислам, готовый обидеться. — Ты мне дай хоть пообедать спокойно. Ничего себе, отыскалась подруга дней моих суровых...

— А ты себя красивым считаешь? — посмеялась Соня. — Ты еще в школе некрасивым был, а после твоего бокса еще хуже стал — нос расплющили.

Нурислам хотел было возразить, но Соня остановила его.

— Надя разглядела в тебе человека. Умной девчонке большего и не надо. Вот теперь я тебе удивляюсь. Ты два года, можно сказать, живешь холостяцкой жизнью. Другой бы давно ушел или потихоньку жил с другой женщиной. Но ты...

Соня в упор посмотрела на Нурислама.

— Вот будет Наде совсем плохо... Ты, мне кажется, и виду не подашь, что ты несчастный человек. Тебе и в голову не придет оставить ее...

— Не всем в жизни везет, — мрачно сказал Нурислам. Разговор ему не нравился, и он не пытался скрыть это от Сони. — Мы ведь живем, а не в лотерею играем. Вчера нам с Надей было хорошо, сегодня — плохо. Но почему мы должны делать из этого какие-то свои, личные выгоды? И почему мы должны быть врозь, если кто-то из нас беспомощен? Ты удивляешься мне, но ведь надо тысячу раз удивляться тем «чудовищам», которые бросают близких один на один с бедой!

Нурислам, смутившись, оглянулся на соседние столики.

— И потом... — добавил он тихо. — Я не считаю себя несчастным человеком. У Нади крепкий организм, она справится с болезнью.

— Вот я удивляюсь тебе, — упрямо повторила Соня. — Не каждый здоровый, сильный мужчина может годами терпеливо ухаживать за больной женой. Легко ли вечерами, украдкой, выносить на руках жену в сквер, чтоб она подышала свежим воздухом...

Нурислам сильно покраснел.

— Ты или очень зла, или... — Нурислам сдержался и подозвал официантку.

Уже на улице Соня виновато притронулась к рукаву Нурислама.

— Прости меня, — попросила она. — Мне хотелось хоть чем-то обидеть тебя, задеть. Зачем, сама не знаю. Вот тебе мой адрес, жду в субботу. Мне нужно с тобой поговорить!

Она торопливо сунула листок бумаги и ушла к остановке.

Нурислам поглядел ей вслед, вспомнил, как маленькой, изящной Соне предсказывали в школе большую, интересную будущность. Теперь у нее ни семьи, ни детей. А годы уже настойчиво стучатся и в ее, и в Нурислама жизнь. Жалость к этой женщине, что подарила ему в юности свое первое чувство, кольнула Нурислама, и он твердо решил навестить ее в субботу.

* * *

— Ты где пропадал? — укорила Надя, стараясь с дивана разглядеть мужа, который поспешно раздевался в прихожей. — Со своим любимчиком возился?

— С ним, с кем же еще, — живо отозвался Нурислам.

«Любимчиком» Надя звала трубоукладчик, который Нурислам взялся поставить на ноги до весны.

— Толком я еще за него не берусь, — сказал он и присел на краешек постели. — Хочу закончить сперва все срочные дела.

Нурислам едва удержался, чтобы не рассказать жене о встрече с Соней.

«Постой-ка, — ужаснулся он, вспомнив. — Надя же вторую неделю не купана».

Он побежал на кухню и поставил ведра с водой на газовую плиту.

В последние годы Нурислам открыл для себя старую

истину: чем дольше живешь на свете, тем больше в голове появляется мыслей. И не все из них веселые. Самый счастливый год в его жизни пришелся на техучилище. В маленьком Доме культуры было тесно, занятия секций и кружков были строго расписаны. Не успевали они унести из спортзала тяжелые мешки, набитые конским волосом, как в длинное, узкое помещение вбегали парни и девчата из танцевального ансамбля. Нурисламу бросилась в глаза высокая девчонка-школьница, самая оживленная и подвижная в ансамбле. Ему казалось, что она обгоняет мелодию.

Как-то он задержался в зале. Последние несколько боев он проиграл и теперь был зол на всех. Потный, взлохмаченный, он неистово колотил мешок с обеих рук и крепко надеялся взять реванш над своими победителями в ближайших соревнованиях.

Та самая высокая девчонка подошла к нему и спросила, заглядывая в глаза:

— Вы так же больно колотите своих соперников?

— Колочу, — утвердительно ответил Нурислам. — Еще как колочу!

— Вам не жалко их? — допытывалась девчонка.

— А они меня, думаете, жалеют? — спросил Нурислам и, сняв мешок, утащил его в тренерскую.

Высокую девчонку с умным, приветливым лицом звали Надей. Они не виделись несколько лет. Однажды Нурислам приехал в отпуск и встретил Надю на улице. Они поговорили как старые знакомые, хотя и не были знакомы. На трассу Нурислам уезжал с Надей.

«Почему этот коротенький разговор у боксерского мешка врезался обоим в память? — подумал Нурислам. — Почему мы тогда же не познакомились, не стали дружить, переписываться? Почему?..»

Нурислам, пока грелась вода, приготовил таз, мыло, шампунь и мохнатое полотенце и отнес к дивану.

Ну а самым неудачным в своей жизни Нурислам считал невезение с жильем. Эта квартира, в которой сейчас жили Булгаковы, была без ванной и горячей воды. Сперва они не жаловались, были молодые и ходили в общественную баню, а потом... потом снова Красько. Уже несколько лет Нурислам стоит в очереди первым. Но когда два года назад для мастерских дали одну квартиру, то Красько, председатель завкома, вдруг предложил отдать ее ветерану войны, только недавно поступившему в мастерские. Ветеран жил в хорошей квартире у сына, но Красько настаи-

вал, и Нурислам промолчал. Год назад очередную квартиру отдали больному туберкулезом слесарю, стоявшему в очереди третьим.

— Ты так и через двадцать лет не получишь, — сказал Нурисламу Володя Зимовеев. — Этот больной-то мог подождать еще год? Поскандаль разок, и дадут. Я член завкома, заступлюсь. Справимся мы с твоим Красько. Но раз ты сам не шумишь, как за тебя заступаться?

Нурислам снимал с плиты ведра и нещадно ругал себя, что оба раза на распределении жилья оказался таким бесхарактерным, беззубым человеком, что Володя, сплюнув, сказал: «Чудак ты. Если не себя, то хоть жену бы пожалел».

В этой беде, считал Нурислам, виноват не только он, но и машины. Лезет он в них, дотошничает и докапывается до таких мелочей, что сам Шубин удивляется. И как пригонят в мастерские кран или трубоукладчик сильно испорченный, Шубин кричит секретарше: «Давай сюда Булгакова!» А Красько, главный механик, сидит в кабинете и переживает за свой авторитет. Шубин его не ругает, премиями не обходит, но и особого уважения не показывает. И остальные механики, случись ремонт малознакомой машины, бегут не к главному, а к Булгакову.

* * *

В пятницу утром Нурислам ходил вокруг трубоукладчика, осматривал его страшные раны и невесело думал, что работа предстоит большая, трудновыполнимая. Мастерские вовсе не приспособлены для капитального ремонта. Нет, например, тяжелого кузнечного молота. Придется ему выправлять толстые железные листы обшивки вручную, кувалдой. Хорошо, если слесаря не откажутся.

— Что, Валеевич, мозгуешь? — спросил пожилой слесарь Кривоносов. Он подошел ближе, поставил валенок, обутый в резину, на валявшуюся на земле стрелу трубоукладчика и полез в карман за папиросами.

— Мозгую, — ответил со вздохом Нурислам и, посмотрев в старое, умное лицо слесаря, спросил:

— Ребята что говорят?

— Что ребята скажут? — пожал плечами Кривоносов. — Обыкновенные разговоры ведут: про начальство, про красивых баб, особо про тех, что податливей...

— Про ремонт я спрашиваю.

— Про ремонт тоже говорят. — Кривоносов глубоко за-

гнулся, задержал дым в легких и неохотно выпустил его краем рта вбок. — Если Нурислам Валеевич захочет, то соберет машину — так думают ребята.

Булгаков еще раз оглядел изувеченную машину и сцепил руки за спиной.

— Без вас я ничего не сделаю, — решительно возразил он.

— Погорячился перед Шубиным, думаешь? — спросил Кривоносов. — Ты Красько не поддавайся. Ему бы только гладкие отчеты стряпать и вовремя их начальству отсылать. Не любит он нашу работу. Вот вчера велел на трассу трубовоз выпихнуть — а дефектов в нем еще на пару дней оставалось. Теперь перед шоферами стыдно.

Кривоносов, выплюнув окурок в снег, потоптал его правым валенком, потом левым, обернувшись, крикнул:

— Радик! Ну-ка, иди сюда...

Из цеха вышел высокий парень в промасленной куртке и кепке, натянутой на уши.

— Ты чего надумал? — спросил Булгаков.

— Лиха беда — начало, — ответил Кривоносов и принялся с парнем откручивать болты с железных листов обшивки трубоукладчика.

Втроем они сняли искореженный лист и понесли в кузнечный цех. Кривоносов грел резакон вмятины, Радик резко выдыхал и бил тяжелой кувалдой по красному листу. Нурислам смотрел, как под сильными ударами парня лист медленно распрямляется и обретае заводскую форму.

Через час они вынесли из цеха отремонтированный лист и поставили возле трубоукладчика.

— Покрасим, и будет как новый, — Кривоносов шарил по карманам, ища спички. — Сегодня обшивку выправим, завтра примемся за стрелу, через недельку дизель раскидаем. Так и пойдет дело. Но кое-что придется заказывать, — он посмотрел на механика.

— С непригодных деталей буду вечерами эскизы снимать, — решил Булгаков. — Что можно, Володя выточит, что посложнее — договорюсь на машзаводе.

Следующий лист они снова тащили втроем. Теперь Булгаков грел резакон глубокие вмятины, а Кривоносов, войдя в раж, заменял начинавшего уставать Радика.

Давно Нурислам не работал вот так, своими руками. Его обуяло прямо-таки дикое желание не выпускать инструмента из рук и работать, работать... Где-то далеко впереди, сквозь вереницу тяжелых, беспокойных дней ему ви-

делось светлое майское утро, когда он сядет за рычаги этой могучей, обновленной машины и выедет под крики товарищей за ворота мастерских. В возбужденном мозгу Нурислама это майское утро вставало где-то совсем близко, и он, захмелевший от успешной работы и собственных мыслей, вышел за дверь цеха и прислонился спиной к кирпичной стене.

Он медленно приходил в себя и уже искал привычно взглядом искалеченный трубоукладчик. И даже остыв, Булгаков все более утверждался в своей суеверной мысли: если он сумеет поставить трубоукладчик на ноги, Надя обязательно выздоровеет. Уже летом они будут бродить вдвоем в прекрасных парках родного города. Эта мысль запала ему в душу еще в тот день, когда Красько обозвал раненый трубоукладчик «инвалидом».

...Как-то недавно Нурислам разговорился с плановичкой — живой, бойкой женщиной, что уже несколько лет жила без мужа. Вдруг без всякого перехода она сказала ему: «Мне многого не надо, я не капризная. Лишь бы мужчина был порядочный, вроде вас». Он изумился и спросил: «И вас бы устроила эта самая... связь?» Она выдержала его взгляд и спокойно ответила: «Меня бы это устроило...»

Его изумила даже не откровенность этой истосковавшейся по мужской близости женщины, а скорее ее догадка, что и Булгаков того же поля ягода и испытывает то же самое, что и она. Он видел ее по нескольку раз в день, и его удивлял терпеливый и ласковый взгляд этой женщины. «Если б пошло у нас по ее разумению, — вдруг предположил он. — Кто-то третий по нашим нетвердым, беспокойным взглядам прочел бы то, что есть, и — самое ужасное — об этом узнала бы беспомощная Надя. Что тогда? Какие лекарства могли бы спасти ее от недуга и унижения?»

А если б она не узнала? Нурислам подумал, что такая мысль пришла ему в голову впервые. Она может не узнать. И она не должна будет знать об этом никогда. Ну и что?

Нурислам пожал плечами и, чтобы как-то додумать неожиданную мысль, несколько раз обошел вокруг своего «любимчика».

— Нурислам Валеевич, чего задумался? — весело прокричал ему Кривоносов из двери цеха. — Или новый план придумываешь?

Булгаков машинально пошел на голос, проследовал за Кривоносовым. Радик подогревал газовой горелкой третий лист, настолько покореженный, что Кривоносов хотел вначале-вовсе выбросить его, но потом раздумал. Теперь лист выглядел поаккуратнее.

Булгаков забрал у слесаря резак и, вытащив из кармана листок с адресом, близко поднес к бумаге узкий фиолетовый язык огня.

МУЖСКИЕ РАЗГОВОРЫ

Предстоящая неделя для старшего прораба монтажного участка Гайсина ожидалась крайне неприятной. В понедельник с утра он должен был проехать по сельским объектам с работником народного контроля города. В комитет поступил анонимный сигнал о не порядках в работе участка, «руководимого нечестным авантюристом Гайсиным». Дамир Валитович никогда не запускал руку в государственный карман и был на этот счет спокоен. Но его тревожило проскочившее в сигнале словцо: «приписка». Ради плана Гайсин шел на многое. Руководители управления, заученно требовавшие от него «план — любой ценой», до сих пор мало вникали, какова истинная цена усилиям Дамира Валитовича по выполнению показателей.

На своем веку Гайсин немало повидал ревизоров и разных там контролеров. Большая часть этих работников слабо разбиралась в его деле, он легко отражал их наскоки, и ревизоры вынуждены были писать гладкие акты. Другие проверяющие были ленивы, третьи знали дело, но так их заела текучка, что они относились к своим обязанностям чуть ли не брезгливо. Четвертые... Они заглядывали в глаза Гайсину и заискивающе улыбались: «Башка трещит...»

Гайсин стоял в широком коридоре торговой базы и нетерпеливо смотрел на часы. «Главное, раскусить его сразу, — думал он о контролере. — И давить, не давая ему опомниться. Откуда кабинетному человеку знать тонкости нашего дела?»

Он снова толкнул дверь, но она была заперта. По-настоящему Дамира Валитовича контролер из городского

комитета не беспокоил. Его занимала другая проблема. Через месяц он собирался отпраздновать серебряную свадьбу. Для этого было все: просторная квартира в доме с улучшенной планировкой, посуда, ковры и даже список гостей. Недоставало лишь хорошей мебели. Свою старую, разнокалиберную мебель Гайсин звал «дедушкиной» и стеснялся ее, когда приходили гости.

Дамир Валитович пнул дверь ногой и пошел к лестнице. «Зазнался! — подумал он с обидой о старом товарище. — Ведь условились встретиться еще вчера вечером. Что могло измениться за ночь? Да и зачем ему быть обязательным со мной? Он уверен, что я все равно приду к нему и буду клянчить этот гарнитур. А не приду — он и не вспомнит обо мне. С ним теперь дружбы ищут крупные директора, заслуженные врачи. А я кто?»

Гайсин вбежал в контору участка в половине десятого. «На целых полчаса опоздал из-за этого торгаша», — подсадовал он, проходя узким коридорчиком в свой кабинет.

Навстречу ему поднялся высокий, подтянутый мужчина в дубленке.

— Усманов Кадыр Баянович, — представился он и не сильно пожал руку Гайсину.

Раздражение подкатило аж к горлу Дамира Валитовича. «Этот не надорвется на государственной работе, — подумал он зло. — Ни плана у него, ни нарядов, ни сроков сдачи объектов. Знай мотай нервы таким рабочим пчелкам, как я. Этот не побежит искать по магазинам да по базам мебельный гарнитур. Снимет трубку и негромко попросит. А там, на другом конце, еще и обрадуются, что понадобились такому человеку. Недели не пройдет, как мебелишка будет доставлена к подъезду».

Тем не менее он сделал на лице любезную улыбку и подвинул гостю стул.

— Спасибо, — поблагодарил тот. — Я бы хотел немедленно ехать. Колхоз ваш далеко от города, а день короткий.

Лицо у контролера было очень чистое, розовое. «Чай с коньяком по утрам пьет, — почему-то решил Гайсин. — От того и лицо гладкое, будто у кота». Гайсин твердо верил, что коньяк приносит только пользу пьющему человеку.

Они вышли из конторы и усьелись в «Волгу», которую предоставил им начальник управления. Шофер тронул машину, влился в тесный уличный поток и стал медленно выбираться из толчи к речному мосту, за которым начинался просторный Оренбургский тракт.

Кадыр Баянович хотел было попросить Гайсина притор-мозить минут на десять возле кафе перед мостом, чтоб выпить чашку чая с булочкой, но не решился. Утром у него перегорела плитка, а идти с чайником на общую кухню, где вечно грызлись не ладившие между собой соседки, было выше его сил.

С моста он увидел темную воду в полынье. Пить захотелось еще больше. Кадыр Баянович решил терпеть до обеда. Чтобы отвлечься, он стал смотреть в окно. По-весеннему яркое февральское солнце щедро изливало тепло на голые деревья посадок, на плотные белые сугробы и начинавшую подтаивать дорогу. Приближавшаяся весна тревожила Кадыра Баяновича. «Сын кончает пятый класс, — думал он. — С ним пока никаких забот. Вот дочь с лица сошла — тянет на золотую медаль. Вдруг до осени не получу квартиру? Где она будет жить, когда поступит в институт? Хорошо, если ей дадут место в общежитии. А если нет? В мою комнатенку?»

Он вовсе не работал в городском комитете народного контроля, как думал о нем Гайсин. Зная его добросовестность и честность, Кадыру Баяновичу поручили от комитета проверить поступивший сигнал. На самом деле он работал начальником отдела капитального строительства на небольшом машзаводе. Четыре года назад старый директор, знавший Кадыра Баяновича по своей прежней работе в маленьком городе, пригласил его к себе. Кадыр Баянович соблазнился квартирой, которую директор пообещал ему дать в течение года, и охотно переехал в Уфу.

Когда директор неожиданно заболел и собрался уходить на пенсию, он вызвал к себе преемника, Кадыра Баяновича и строго сказал будущему директору: «Я обещал Кадыру Баяновичу квартиру в течение года. Он грамотный, очень опытный строитель и чрезвычайно полезен нашему заводу. Считайте, что свое обещание я оставляю вам в наследство».

Молодой директор с готовностью согласился. Но один штрих омрачил отношения его и начальника ОКСа. В канун Нового года Кадыр Баянович отказался подписать строителям акт о приемке блока очистных сооружений. «Вы за кого меня принимаете? — спросил он. — По всем сооружениям большие недоделки, а здание насосной вы даже под крышу не подвели».

Строители пошли к директору, умолили его, но Кадыр

Баянович остался непреклонен. В самый последний момент директор сам пришел в кабинет к Кадыру Баяновичу и упросил подписать акт. Тот согласился, но взял со строителей расписку, в которой они обязались устранить недоделки в две недели после Нового года. Кадыр Баянович спрятал бумагу в сейф и подписал акт. «Вексель» подействовал на строителей — к концу января они завершили работы на очистных. Но у молодого директора, видимо, остался осадок. Его уязвленное самолюбие помешало Кадыру Баяновичу въехать в новый дом.

«Хорошо бы получить жилье летом, — помечтал Кадыр Баянович. — Перевезти семью, и чтоб дочка пошла учиться в институт из новой квартиры».

Машина свернула с большой дороги на проселочную, и вскоре глазам открылся большой аул, раскинувшийся в низине, у подошвы горы.

— Подъезжай к чайхане, — попросил Гайсин шофера. — Надо перекусить с дороги.

Кадыр Баянович вспомнил свою жажду, с готовностью вылез из машины, но в чайхане им подали бишбармак, вак-беляш¹ на тарелке и кисель.

— А чай? — расстраиваясь, спросил Кадыр Баянович.

— Чаю нет, — равнодушно ответила буфетчица. — Есть кисель, какао, консервированный компот. Пейте на здоровье.

— Чайхана называется, — проворчал Кадыр Баянович. — Чаю не хотят вскипятить.

Гайсин внимательно посмотрел на контролера.

— Какой им смысл кипятить чай? — усмехнулся он. — На нем план не сделаешь.

— О плане мы поговорим попозже, — ответил Кадыр Баянович и загадочно усмехнулся.

Гайсину стало неприятно, будто он, допив молоко, разглядел на дне кувшина лягушку.

Давно не ездил в аулы Кадыр Баянович. Он отмахнулся от машины и с удовольствием, с какой-то приятной ленцой брел по залитой ярким солнцем улице. Его обрадовали большие, просторные дома, новое, городского типа, здание детского сада, свежевыложенный из красного кирпича пристрой к школе, в окнах видны были ребятишки, шумно играющие в баскетбол. Нарядно и по-современному солидно выглядела двухэтажная контора правления колхоза. «На-

¹ Бишбармак, вак-беляш — национальные блюда башкир.

стоящий офис, — с одобрением подумал Кадыр Баянович, хорошо помнивший из своего детства бревенчатые развалюхи, в которых ютились председатели со счетоводами на пару. — Вот только боюсь, что в такой представительной конторе наверняка сидят мужики в сапогах, бабы в платках и щелкают на деревянных счетах».

Проходя конторой, Кадыр Баянович не удержался и заглянул в бухгалтерию. В большой комнате сидели мужчина, видимо, главбух, и две девушки в брючных костюмах. Одна из девушек бегала пальцами, будто гладила, по клавишам «Быстрицы».

«Порядок», — восхитился Кадыр Баянович. В нем росло уважение к этому колхозу.

На втором этаже Гайсин постучал в дверь кабинета.

Из-за стола привстал молодой мужчина в черном костюме. Он быстро, настороженно оглядел Кадыра Баяновича и протянул руку:

— Башмаков Анвар Халикович.

Он дождался, пока Кадыр Баянович усядется в кресло, сел сам и шутливо спросил у Гайсина:

— Ты мне зачем гостей с папками возишь? Знаешь ведь — очень не люблю их.

— Полюбишь, — мрачно пообещал Гайсин. — Как кишки из тебя потянет — сразу полюбишь.

Встревоженный председатель, все более омрачаясь, наблюдал, как Кадыр Баянович тащит из папки подписанные им, Башмаковым, и Гайсиным счета-процентówki за выполненную работу.

— Анвар Халикович, я по поручению народного контроля обязан спросить у вас следующее: за последние несколько лет вы много строили. Только в прошлом году вы пустили котельную и обеспечили теплом учреждения и часть личных домов колхозников.

— Что вы усмотрели в этом плохого? — спросил напряженно слушающий председатель.

— Котельная произвела в ауле целую революцию, — вмешался Гайсин. Ему не нравилось, что разговор сразу вошел в официальное русло. — Не стало печек в домах, во дворах исчезли штабеля дров. В клубе, школе, сберкассе — сухо, тепло, не цветут сырые углы. Теперь колхоз не держит в штате истопников. А сколько леса вокруг аула сберегается? Я уже не говорю о личном времени людей.

— Еще один немаловажный фактор, — оживился председатель. — Из благоустроенного дома колхозник не по-

спешит убежать в город. Вот еще бы работу поинтереснее сделать молодым...

— Да стройте на здоровье! — поморщился Кадыр Баянович. — Я вам помешать, что ли, хочу? Стройте, если есть деньги. Только не нарушайте законов. Вы, Анвар Халикович, истратили на котельную и трубопроводы много труб. Они, как известно, очень дефицитны в народном хозяйстве. Фондов на трубы вы не имеете. Где вы их взяли?

— Вот вы о чем, — с облегчением ответил председатель. — Трубы я положил законные.

— Но где вы их взяли?

— Их завез вот этот товарищ, — председатель, улыбаясь, похлопал по плечу Гайсина. — Я с ним полностью расплатился. Процентówki у вас в руках.

— Кто монтировал трубы, котельную?

Гайсин хмыкнул, попытался было встрять в разговор, но Кадыр Баянович опередил его:

— Вопрос не вам, а товарищу Башмакову.

— Здесь нет секрета, — простодушно сказал председатель. — Копали траншеи, укладывали трубы мы сами. Гайсин помогал нам то сварщиком, то советом. Но я повторяю, за материалы мы сполна расплатились.

— В процентовку входит не только стоимость материалов, но и трудозатраты. Выходит, вы переплатили? — осторожно спросил Кадыр Баянович.

— Разве Гайсин привезет из города материалы, если мы не оплатим ему работу? — возмутился председатель. — Гайсин не глупей паровоза.

— Мне все понятно, — Кадыр Баянович положил процентовки в папку. — Вопросов больше не имею.

— Анвар Халикович, — Гайсин потемнел лицом. — Зачем вы так говорите инспектору народного контроля: я, мол, делал работу, а он иногда помогал.

— А как надо говорить? — растерялся председатель.

— А так! — резко сказал Гайсин и стрельнул в председателя злым взглядом. — Разве не я привозил рабочих на монтаж трубопроводов, не я пригонял кран с экскаватором? Разве не мой мастер безвылазно сидел на ваших объектах?

— Кран твой сломался на второй день, экскаватор, по моему, и не бывал здесь, рабочих ты снимал через неделю, и трубы растаскивали сперва мои мужики потом студенты, которых на уборочную прислали. Мастер твой сидел тут, процентовки оформлял — я не против. Сварщики

работали, правда, второго ты увез через пару недель и мне пришлось просить ему замену в Сельхозтехнике. Если что я не так сказал — извини, — председатель выглядел огорченным. — Но ты и сам хорош. Приехал бы вчера...

— Простите, что отвлекли вас от дел, — Кадыр Баянович быстро поднялся. — Мы с товарищем пройдем в котельную, да и, пожалуй, пора возвращаться в город. Нас не надо сопровождать.

* * *

На обратном пути Кадыр Баянович сел на заднее сиденье и отвалился к дверце, пытаясь задремать. Но мешал Гайсин. Нахохлившийся, возбужденный, он сидел возле шофера и то ругал дорогу, то сдергивал шапку с головы и кидал ее на колени, то вдруг начинал туманно говорить, что «общество нынче имеет возможность содержать на своей шее массу людей, состоящих на службе и в то же время ничего полезного не производящих».

Наконец, он не выдержал и повернулся к Кадыру Баяновичу.

— Вы, конечно, думаете обо мне черт знает что. Гайсин, мол, обманывает государство, плут он, никчемный человек. Одним словом, преступник. Так? Давайте откровенно, по-мужски.

— Ничего я не думаю, — Кадыр Баянович оторвал тяжелую голову от дверцы.

— Но в акте напишете?

— Напишу, — твердо пообещал он.

— Вот как! — растерялся Гайсин. — И в каких это выражениях напишете?

— Что вы, как руководитель, присвоили чужой труд. Во-вторых, вы передали фондовые материалы не по назначению, то есть вы вносите анархию в государственное планирование.

— Крепкие выражения... — Гайсин запоздало пожалел про себя, что утром недооценил этого контролера и поспешно, лишь бы скорее отвязаться, повез его в колхоз. — Одной вашей формулировки будет достаточно, чтоб убить такого маленького начальника, как я.

— Возможно.

— Но нельзя же вот так, с размаху, не зная тонкостей дела...

— Я не адвокат...

Гайсин приуныл.

— Дорога у нас длинная... — сказал он, насильно улыбаясь. — Выслушайте меня...

Кадыр Баянович снова отвалился к дверце.

— Вряд ли вы поверите, что я хотел помочь бедному колхозу. У меня, как и у всех, жесткий план, и тут не до эмоций. Но когда приехал ко мне этот симпатичный, молодой председатель, теперь вы его знаете, — он мне понравился. Он хочет сделать из своего аула что-то вроде городского поселка по уровню коммунальных благ. У него много желаний — это настоящий мечтатель, но пытающийся не отрываться от земли. Сначала он решил дать людям тепло, чтобы они не мучили себя печами, дровами, не жгли понапрасну лес и собственное время. Он сумел добиться финансирования. И был рад до небес, наивно полагая, что деньги решают все проблемы. Но когда он приступил к реализации своего плана, то быстро выяснил, что подрядчики, кроме оплаты, требуют еще и материалы: котлы, трубы, запорную арматуру. Он бросился к своему начальству, а оно разводит руками: мы тебе, аксакал, дали почти все — деньги, — а остальное ищи сам.

Он приехал ко мне раз, другой, слезно просил. Потом увез в свой колхоз и водил в пустую котельную, обещал помочь рабочими, не скупиться на оплату. Тут у меня как раз пошли мелочные объекты. Людей держишь, механизмы, а процентовать нечего. План июля я завалил, смотрю, и август не получается. Но заверил собственное начальство, что в сентябре дела поправлю и третий квартал обязательно вырву.

В середине августа я отвез два котла в колхоз «Победа». Эти котлы предназначались для кондитерской фабрики, но я надеялся, что ее до конца года не успеют сдать под монтаж. Вторым рейсом я отвез трубы, задвижки, разную мелочь и оставил опытного слесаря. К концу месяца люди председателя под руководством моего слесаря смонтировали котельную. В общем, план августа я вырвал. Но в сентябре нужно было перекрывать июль. Я снял со строящегося микрорайона трубы и увез их в колхоз. На жилье трубы все равно дадут. Сперва я поставил два звена сварщиков и слесарей, они довольно быстро начали тянуть теплосеть от котельной через поле к школе и магазину. Но потом я начал зашиваться с объектами в городе и снял одно звено. Затем снял слесаря, через неделю второго. В кон-

пе концов в колхозе остался один сварщик, который и работал до ноября, пока не кончил всю работу.

— План третьего квартала выполнили?

— Конечно. Председатель меня не обижал.

— Много людей он держал на монтаже?

— Десять — двенадцать человек каждый день.

— Вот какие вы молодцы... — оживился Кадыр Баянович. — Помогаете колхозам цветущую жизнь налаживать. Но в городе вы завалили свои дела?

— План мы дали.

— За счет колхоза?

— Частично. Но кому-то надо помогать селу?

— Надо. Но вас не просили присваивать их труд и прикрывать им свои грехи на плановых объектах в городе.

— Какие грехи?

— Вы недодали государству объекты, в квадратных метрах жилья, например, или съеме готовой продукции в рублях. Вы понимаете, в чем абсурд: ваш коллектив делает все производственные показатели, к вам не придерешься, однако с вашей помощью государство недополучило жилой дом или, допустим, новый цех. На бумаге от вас получили все, что требовалось, а в натуре, извините, вы преподнесли людям фигуру из трех пальцев. И вот эта цепочка идет дальше. Новый цех, от которого ждали выпуска товаров уже в январе, вы не построили. Товаров не будет. Эту продукцию в виде сырья или полуфабрикатов наверняка планировали смежники. Они тоже получили свою фигуру. Понимаете, как далеко идут круги от вашего камня?

— Вы раздуваете из мухи слона.

— Но почему я должен делать из слона муху?

Гайсин промолчал, сдерживая себя. Не оборачиваясь, сказал тихо:

— Можно подумать, что я — враг производства и занимаюсь только тем, как бы выбить из ритма действующую технологическую цепочку в стране. Неужели я так опасен?

— Должно быть. Иначе зачем бы я занимался именно вами? Думаю с уверенностью, вы не сознаете, насколько вы вредны. Вы создаете бумажное благополучие и этим сбиваете ответственных людей с толку. Завтра вашей отрасли поручат производить какого-либо продукта больше и возложат, к примеру, это дело на вас. Вы не сможете справиться, разрешите допустить такую мысль, по объективным причинам, или просто не потянете. Но вы настолько

привыкли рапортовать о достигнутых успехах, настолько вы — прежде всего! — жаждете личного успеха, что вас ничто не остановит. Вы найдете лазейку или просто подтасуете цифры и гаркнете: мы вспахали! или: мы засеяли! или: мы сняли! Это уже по обстоятельству. Вас мало интересуют результаты труда, вам бы свое извлечь, своего не упустить, а в трудном случае всеми доступными путями уйти от наказания либо вовремя подставить козла отпущения. А если и это не выгорит, то изложить в наукообразном виде объективные трудности, помешавшие вам справиться с повышенной нагрузкой.

— Ну и занесло вас! — Гайсин уже не скрывал неприязнь. — Если я и нарушитель в вашем понятии, то самый рядовой. Какой ущерб или, как вы говорите, море бумажного благополучия могу создать я со своими сорока — пятьюдесятью рабочими?

— Сорняк опасен мелкий...

— Сорняк... Меня всю жизнь хвалили, на торжественных собраниях вручают грамоты, ставят в пример молодым. Теперь я сорняк!

— Но вы сами вызвали меня на откровенность.

— Мне обидно слышать такую оценку своей работы. Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Я безбожно заваливаю план, но в колхоз с трубами не еду. Пытаюсь разобраться, анализирую, но — пока без оглядки на причины — все равно заваливаю показатели. Мне два квартала прощают, потом переводят в мастера или увольняют. Думаете, дело на этом поправится?

— Должно поправиться. Если придет сильный прораб и ваш коллектив начнет справляться с делами — значит, причины были в вас. Если и сильный прораб не потянет — тогда самое время искать объективные причины и принимать правильное решение, чтоб выйти из тупика. Ваше бумажное благополучие никому, кроме вас, добра не принесет.

Гайсин не ответил. Он мрачно смотрел перед собой, сосредоточившись, видимо, на неприятных ему мыслях.

Кадыр Баянович снова отвалился к спинке. И у него мысли были неприятные. Он не хотел причинять зло человеку, сидевшему перед ним. Он бы охотно смягчил в акте резкие выражения, если б этот человек был молодым, неопытным. Но Гайсин, как убедился Кадыр Баянович, был чересчур опытным на производстве и хотел и дальше жить,

благоденствовать в чести. Не тот он человек, который ищет правильное дело, не боясь набить себе шишек.

Железнодорожная колея ушла вправо, и машина осталась одна в белом поле. Далеко впереди виден был аэропорт, с которого взлетали и садились блестящие фигурки самолетов. Вскоре приблизились и пошли за окном машины реденькие рощицы берез по обочине, застывшие в терпеливом ожидании весны. Черная лента шоссе дымилась на ярком февральском солнце.

Много потерял Кадыр Баянович в жизни после приезда в большой город. Не стало близкого коллектива, пусть трудного, пусть хлопотного... Самое главное, не стало дела. Приходили подрядчики, решали вопросы с женщинами его отдела. Часто он влазил сам в эти несложные текущие проблемы, пытаясь в своих и чужих глазах создать иллюзию большого дела, личной необходимости. Но при его энергии и работоспособности он успевал за день разрешить все назревшие вопросы и на другой день сидел без работы, мучительно соображая, чем бы заняться. Когда дело не подыскивалось, Кадыр Баянович уходил на объекты. Часами он с удовольствием шастал по этажам, присматривался, как работают здешние строители, но понимал, что давать советы, тем более вмешиваться — он не имел права. Он всего-навсего заказчик. Скоро и те несколько объектов, которые строились для завода, он изучил настолько, что ходить туда не стало смысла.

— Вас куда завезти? — Кадыр Баянович вздрогнул от резкого вопроса. Гайсин, видимо, спрашивал не в первый раз. Он зорко взгляделся в контролера, отвел глаза и нарочито равнодушным голосом предложил: — Заедем в «Россию»? Мы бы за ужином до конца обговорили все вопросы. Как мужик с мужиком, а, Кадыр Баянович?

— Я ужинаю дома, — Кадыр Баянович взялся за ручку дверцы, и шофер притормозил за перекрестком.

Машина резко дернула с места и скрылась в уличном потоке. Кадыр Баянович остался на тротуаре один. Мимо шли, толкали его озабоченно спешившие с работы люди, и он вспомнил: «Завтра пятница. Снова ехать домой».

По пятницам Кадыр Баянович жил сумбурной жизнью. Нужно было закончить в отделе все дела, чтобы директор не надумал просить его выйти в субботу, в обед успеть съездить на автовокзал и купить билет на вечерний рейс.

Еще надо было забежать в магазины и купить жене и детям гостинцы.

Кадыр Баянович решил разгрузить завтрашний день и зашел в универмаг. Ему повезло. Сыну он купил новую катушку для спиннинга и большую готовальню со множеством чертежных приборов дочери. Жена же будет рада московской карамели, которую привез сослуживец из командировки.

Он добрался домой довольно поздно. Дверь в его комнату была приоткрыта.

* * *

На кровати сидел сын и грыз московские конфеты.

— Камиль? — поразился Кадыр Баянович. — Ты с мамой?

Сын дожевал карамельку, встал и по-взрослому протянул тонкую руку.

Кадыр Баянович, улыбаясь, осторожно сжал горячие пальцы сына.

— Я один приехал, — ответил тот и попросил жалобно: — Папа, дай чего-нибудь поесть.

— Сейчас-сейчас, — заторопился Кадыр Баянович, скидывая пальто и шапку.

Он вытащил из-под кровати электроплитку, вставил новую спираль, купленную в универмаге, пошел было на кухню, но с порога вернулся и поставил плитку на подоконник.

Сын смотрел, как отец мелко режет колбасу, кидает на раскаленную сковороду, вынимает из холодильника крупные белые яйца, бьет их тупыми концами о металлический край плитки и щедро заливает шипящие ломтики колбасы. Он смотрел и глотал слюну. Глаза его, не мигая, следили за руками отца.

Отец усмехнулся, положил колбасу на кусок хлеба и дал сыну.

— Перекуси пока.

Он с удовольствием наблюдал, как сын жадно поедает бутерброд. Тонкая, цыплячья шея сына сместила Кадыра Баяновича.

— Какой-то весь ты замызганный, — улыбнулся он, оглядывая помятый ученический костюм сына. — Будто тебя через стиральную машину пропустили.

Сын глазами попросил обождать с расспросами.

Кадыр Баянович поставил стреляющую брызгами жира

сковородку на стол, крупно нарезал хлеб и полез в тумбочку за вилками.

Они молча ели. Камиль старался не вылезать за свою половину, но это давалось ему с трудом. Кадыр Баянович незаметно подвигал сыну колбасные ломтики, яичницу.

— И чай будет? — повеселев, спросил Камиль.

Кадыр Баянович вышел на общую кухню и вскоре вернулся с кипящим чайником.

Наевшись и напившись, Камиль сел на кровать и, полузакрыв глаза, откинулся к стене. Кадыр Баянович пересел со своим стулом напротив него и стал терпеливо ждать.

— Папа, я приехал к тебе поездом, — сообщил Камиль. — Всю ночь я проспал на третьей полке. Проводница меня не видела. Только утром, когда я вышел в тамбур, тетка удивилась: вроде, говорит, не было в моем вагоне этого мальчика.

Камиль засмеялся.

— погоди, сынок, — попросил Кадыр Баянович. — Ты ехал без билета?

— Конечно! — от восторга глаза Камиля широко раскрылись. — У меня, папа, ни копейки денег. Позавчера мама дала мне сорок копеек, я угостил Лялю мороженым. Себе тоже взял.

— Кто такая Ляля? — осторожно спросил Кадыр Баянович и сделал движение, чтобы сунуть руку в карман за папиросами. Но карман был пуст — год назад он собрал всю свою волю и бросил курить, чтобы не давать сыну дурной пример на будущее.

— Она учится со мной в одном классе, — сын как-то сразу угас, и его маленькое, вытянутое лицо сделалось по-взрослому озабоченным.

Он подождал, но отец молчал, внимательно изучая какие-то неуловимые перемены в лице сына.

— Ну вот... — сказал сын и сильно потер лоб.

И этой черты не замечал за ним раньше Кадыр Баянович.

— Можно с тобой, папа, откровенно, по-мужски поговорить? — неожиданно спросил сын и строго поджал бледные, тонкие губы.

— Давай, сынуля, поговорим, — холодея про себя, согласился Кадыр Баянович. — Я тебя слушаю.

— Все случилось позавчера, — начал Камиль и с сомнением поглядел на отца. — А, ладно, — решительно махнул он рукой, — раз уж договорились — по-мужски, зна-

чит, будем по-мужски... Я написал письмо Ляле, что люблю ее и обязательно поженюсь, как только мы вырастем. Я давно собирался написать ей это письмо, но никак у меня красиво не получалось. И вот я увидел передачу по телевизору, там показывали, как наш командир разведчиков с радисткой погибают в тылу у немцев. Оба они, папа, хитрили, старались незаметно друг друга спасти. Когда мама и Римма уснули, я встал, включил настольную лампу и до двух ночи писал письмо. Никогда я так хорошо, папа, не писал. Будто кто-то подсказывал мне на ухо. Позавчера утром я отдал письмо Ляле. Она прочла, раскраснелась и положила его в книжку. А наша классная руководительница, Рамзия Гареевна, заметила письмо, отобрала и после уроков, на классном часе, при всех громко прочитала.

— Ляля тоже была?

— Была, — Камиль опустил голову. — А потом Рамзия Гареевна стала стыдить нас: как, мол, не совестно вам, пятиклассникам, заниматься такими делами. Молоко на губах не обсохло, кричит она, а у вас в голове сусальные проблемы.

«Сексуальные», — поправил про себя Кадыр Баянович и спросил вслух:

— Ты давно дружишь с Лялей?

— С осени, — сказал сын. — Мы с ней даже в кино как-то ходили.

— Потом что, сынок?

— Потом... — Камиль снова опустил голову. — Потом Ляля громко заплакала. Она-то, папа, при чем? Письмо ведь я писал. Когда Рамзия Гареевна подошла к Ляле и сказала, чтоб она не притворялась и перестала рыдать, то я вскочил из-за парты, подбежал к ней и вырвал письмо. Еще я закричал: «Вы дура!» С порога опять закричал: «Старая дура вы!» и...

— Что «и»?

Камиль разжал губы:

— Ладно. Раз уж договорились откровенно... Заплакал я и побежал на улицу. Зачем плакал? Теперь в классе смеяться будут. Вот был бы я большой, обязательно дал бы этой учительнице оплеуху.

«Пощечину», — машинально поправил про себя Кадыр Баянович.

— На женщину, сын, нельзя поднимать руку.

— Даже если она плохая?

— Даже если она плохая.

Сын нехотя кивнул.

— Как отнеслась к этому мама? — спросил Кадыр Баянович и напрягся.

— Мама... — кисло ответил Камиль. — Рамзия Гареевна сразу побежала к ней, все рассказала и предупредила, что без разрешения директора не пустит меня в класс. Мама долго плакала, а потом сказала, что такой сын ей не нужен. Я оделся и ушел. Первую ночь ночевал у друга, а вчера решил ехать к тебе.

— Ты показывал маме письмо?

— Она не просила. Когда я стал оправдываться, мама закричала, чтоб я сейчас же бежал к Рамзие Гареевне и просил прощения. Я не пошел, мама тут и сказала, что я ей больше не нужен.

— Можно, я почитаю письмо?

Сын полез в карман и достал три листочка бумаги.

— Пока ты читаешь, можно, я еще карамелек возьму?

— Бери-бери.

Кадыр Баянович прочел письмо сына к однокласснице дважды, аккуратно сложил его и спрятал в записную книжку. Камиль с наслаждением хрупал конфетами.

— Мама знает, что от друга ты уехал ко мне?

Сын пожал плечами.

— Мама ничего не знает о тебе? Ты не звонил ей? — Кадыр Баянович вскочил на ноги. — Мы же уьем ее!

Он схватился за пальто. Встревоженный сын одевался следом за ним.

— Едем на переговорный пункт, — Кадыр Баянович взял в руки портфель.

В междугородном переговорном пункте он несколько раз набирал по автомату номер домашнего телефона, но слышал в ответ лишь длинные гудки.

— Нету? — спросил сын, протискиваясь в будку. — Где же они?

— Известно где... — Кадыр Баянович поглядел на часы. — По моргам носят, тебя ищут. Чуешь?

Камиль отвел глаза.

В кассе автовокзала билетов на вечерние рейсы не было. Кадыр Баянович упросил шофера, и тот разрешил занять им приставное сиденье.

Он усадил сына в креслице, а сам постелил газету и уселся на верхней ступеньке возле двери.

«Икарус» медленно выкатил на городскую улицу.



Кадыр Баянович сидел в темном закутке и думал над поразившей его воображение строчкой из письма сына: «Ляля, мы будем любить друг друга крепко, как мои папа с мамой».

Если б Фая прочла письмо, сын сейчас сидел бы дома.

Кадыра Баяновича смущали слова сына. Когда и как он уверовал в любовь родителей? Кадыр Баянович вспоминал совместную жизнь с Фаей и видел, насколько она была негладкой. Однажды они едва не разошлись. Часто они ссорились и забывали, что рядом слушают дети. Но сын все же выискал в их жизни и вынес в памяти только светлые стороны.

Что он скажет завтра Рамзие Гареевне? И как объяснить этой женщине, что нельзя так безжалостно, при всем классе, лупить тяжелыми словами ребятишек, впервые задумавшихся над жизнью — своей и пап с мамами.

Неприятный разговор с Гайсиным в легковой машине мало-помалу выветривался из памяти, оставляя осадок непонимания и неприятия этого человека, присвоившего себе право занимать «передние углы» в обществе.

Наверху тихо сидел сын, сумрачно, наморщив лоб, глядел на белые февральские сугробы за окном и невесело, надо полагать, думал о предстоящем разговоре с мамой.

ИНТЕРВЬЮ

Маврушин Глеб Николаевич с неохотой и сожалением укладывал со своими слесарями водопровод к новому дому, который стоял на бугорке, возле соснового леса, и сверкал свежевставленными стеклами всех девяти этажей. А сожалел Глеб Николаевич вот отчего. Сперва бригаде выдали чертежи на монтаж водопровода от новой магистрали, что проложили к строящемуся микрорайону еще летом. Но потом чертежи отобрали и сунули бригадиру листок бумаги, на котором от руки был начерчен новый путь воды, теперь уже от близлежащего старого квартала. Глеб Николаевич знал, что в старых домах воды самим в обрез, и ему легко представлялось, как в летнюю жару жители верхних эта-

жей нового дома будут с ведрами бегать на дальнюю колонку.

— Что же это? — укоризненно спросил он мастера, вглядываясь в наспех сделанный чертеж. — Зачем людей без воды оставляете?

— А я тут при чем? — уклонился молодой мастер и переступил ногами в тяжелых сапогах. — Заказчик решил пока обойтись временным водопроводом. На будущий год позовут — придем и сделаем проектный. Не бесплатно, конечно. Я с них, Глеб Николаевич, такую процентовку сдеру!..

Узкая практичность паренька, только год назад окончившего техникум, расстроила бригадира.

— А зачем сразу не запитаться от магистрального водовода? — спросил он. — Труб нет?

— Трубы есть, — ответил мастер. — Но там частный дом попадает под снос. Три квартиры отдать надо. Заказчику-то не хочется...

Глеб Николаевич спрятал чертежи в карман и пошел к свежей траншее. Вслед ему пристроился старый его напарник и товарищ по бригаде Батыр Валишин. Глеб Николаевич поглядел на скучное осеннее небо, выдернул ноги из вязкой глины и решительно прыгнул в холодную траншею. Нетерпеливый Батыр неотступно шел сзади и подталкивал бригадира. Тот, пробираясь по мокрому глинистому дну, спотыкался и едва не падал.

— Ты че толкаешься? — обозлился он, оборачиваясь к Батыру.

— Я не толкал, — поспешно ответил тот. — Ты сам спотыкаешься.

Низенькие и плечистые — не понять, есть ли у них не то чтобы талия, но хотя бы поясница, — они постояли друг против друга, помолчали. Глеб повернулся и зашагал дальше. И снова Батыр, не удержавшись, налетел на него сзади. На этот раз бригадир не устоял на ногах и растянулся в жидкой глине.

— Бестолочь! — сказал он отскочившему Батыру. — Жалко — нет с собой инструмента. Вот врезал бы!..

— Ходить не умеешь! — нашелся Батыр и протиснулся вперед. — Засыпаешь на ходу, старый черт...

Наконец они дошли до труб, густо облитых битумом, и принялись стыковать их на лежках.

За этим занятием и застал друзей парторг треста Аглямов.

— Здравствуйте! — крикнул он сверху и, придерживая

шляпу обеими руками, заглянул в траншею. — Глеб Николаевич, вы меня слышите?

— Слышу, — подтвердил тот и, сев на трубу, запрокинул голову.

— Вы бы поднялись наверх, — попросил парторг и опустился на корточки. — Дело есть.

Глеб посмотрел на свою вымазанную в жидкой глине спецовку и предложил:

— Вы бы, Рауф Низамович, спускались сами. Мы подсобим...

— Нет-нет, — решительно отказался парторг. — Поговорим так, на расстоянии. — Он засмеялся. — Теперь слушайте внимательно, Глеб Николаевич. Вам завтра нужно выступить по нашему Башкирскому телевидению, как передовику и заслуженному рабочему.

Глеб растерянно поднялся на ноги.

— Мне, что ли? — спросил он. — По-башкирски?

— По-русски, конечно, — успокоил парторг. — Завтра с обеда идите домой, переоденьтесь. К вечеру я пришлю за вами машину.

— О чем говорить-то? — спросил Глеб.

— О себе, бригаде, про свою работу. Какие задачи ставите перед собой в производственном и личном плане.

— Про личное тоже говорить? — совсем оробел Глеб.

— Говорите, если считаете нужным, — сказал Аглямов.

— У нас с Ньюшей все нормально, — обрадовался Глеб и спохватился: — Я не умею складно говорить. Вы б, Рауф Низамович, дали писульку...

— С бумагой не годится, — заволновался Аглямов. — Надо проще, своими словами говорить.

— Вы дайте бумагу, а я выучу ее... наизусть, — заверял снизу Глеб. — У меня крепкая память.

— Нет, так не пойдет, — замотал головой Аглямов. — Вечерком сядьте за стол, подумайте. Неужели трудно рассказать о работе, про своих товарищей? В обед, у себя в бытовке, вон как рассуждаете. Не остановишь!

— То ж в обед, — уныло сказал Глеб и, сев на трубу, потерял всякий интерес к работе.

Аглямов, еще немного поговорив, ушел, и Глеб обратился к участливо глядевшему на него Батыру:

— Ну о чем я буду говорить? Что в нас с тобой такого? Ну, приходим на работу, переодеваемся, раскладываем трубы да свариваем их, потом по ним воду пускаем. Вечером по домам — детей растим, телевизор смотрим.

— С женами ссоримся, — добавил, оживляясь, Батыр.

— Это ты брось, — усмехнулся бригадир. — Про такое разве можно говорить по телевизору? Надо про хорошее говорить, да красиво.

Глеб посидел на холодной трубе, продрог и встал на ноги.

— Какая теперь работа? — сказал он. — Пошли наверх.

* * *

Вечером Глеб ужинал торопливо и все глядел на раковину, у которой был отбит эмалированный бок.

— Ты отчего молчишь? — удивилась жена, шумно прихлебывая из чашки. — Начальство поругало?

Глеб не ответил. Молча съел он тарелку супа, выпил чаю с оладьями, вовсе не разбирая ни вкуса, ни запаха. И уж после признался:

— Завтра я, Ньюша, по телевизору выступаю. О чем вот говорить — ума не приложу.

С лица жены сразу сошло насмешливое, пренебрежительное выражение, которое она успела напустить на себя за двадцать один год их супружеской жизни. Она села рядом и озабоченно заглянула в глаза мужу.

— Не ломай, Глебушка, голову, — сказала жена. — Пусть в тресте напишут тебе бумагу, на машинке отпечатают. Отбарабанишь и — домой.

— Нельзя, — понурился Глеб. — Надо своими словами говорить.

— Другим можно, а тебе нельзя, — возмутилась Анна. — Объясни там, что образования у тебя мало, учиться помешала война, потом без родителей рос. Они поймут и разрешат по бумаге. Ты один, что ли, будешь выступать?

— Начнет управляющий, потом выступит парторг, а я, так сказать, закончу на живом примере своей бригады. Они по памяти, а я по бумаге? Нет, стыдно.

— Ну и скажи, как знаешь, — посоветовала жена, все так же озабоченно и серьезно оглядывая своего Глебушку. — Мне вон как хорошо рассказываешь про свою бригаду.

— Тебе по-всякому можно, ты — стерпишь, — вздохнул Глеб. — А там? Ведь Владимир Миронович, управляющий, знает меня еще с юности. Скажет потом: ну и чепуху ты нес, Глеб Николаевич. Я тебя, скажет, за умного, толкового работника считал. Всякое уважение ко мне потеряет...

— Знаешь что? — предложила находчивая Анна. — Сядь-ка ты в спальне, посиди, обмозгуй. Что-нибудь обя-

зательно надумаешь. А чтоб не забыть, напиши на бумаге свои мысли. Потом вместе поглядим.

Глебу понравился совет жены. Он вышел в зал, где дочь семиклассница смотрела телевизор, и попросил у нее бумагу и ручку. Дочь порылась в сумке и протянула ему чистую тетрадь и шариковую ручку.

Глеб ушел в спальню и открыл тетрадь. Лист отпугнул его своей белизной. «Даже не спросила, для чего мне бумага и ручка», — обиделся он вдруг на дочку и вспомнил, как дружно они жили до пятого класса. Дочка прибегала из школы, с нетерпением дожидалась, когда придет с работы ее папа, и показывала ему свои тетрадки. Часто они сидели вдвоем и делали уроки вместе. Иногда дочь брала на себя роль учительницы и обстоятельно разъясняла отцу все то, что слышала сама в школе. «Как брат с сестрой», — умилялась Анна, глядя на согнувшиеся над столом фигуры. Но в пятом классе дочь вдруг открыла, что папа не понимает ее уроков, теряется и сидит смущенный. Глядя на расстроенного отца, дочка утешала: «Погоди, папочка, я тебе все-все объясню», но постепенно потеряла интерес к их общим занятиям, а потом и к отцу.

Сын заканчивал энергетический техникум, у него с отцом сложились приятельские отношения — они иногда отправлялись вдвоем за город на рыбалку.

«Начну-ка я описывать бригаду с Батыра», — решил Глеб и записал в тетрадку: «Батыр Валишин. Хороший мужик, хоть и подковыристый. Самый грамотный человек в бригаде». Больше Глеб не знал, что написать о старом товарище. Может, сказать, как в прошлый год прорвало центральный водовод и город остался без воды? Как они бригадой работали всю ночь и уже на рассвете они с Батыром, лежа в воде, заварили нижний участок стыка? Утром люди встали и начали умываться, даже не зная, что ночью в их квартирах не было воды. Но ведь бригаде за эту ночь отвалили большую премию. Нет, неудобно. Скажут работяги из других бригад: за такие деньги можно было сутки в воде пролежать, а лежали они с Батыром всего часа два.

Глеб вышел в зал и поглядел, как по телевизору бойко выступает на башкирском какой-то старик.

«Ишь, как чешет, бабай-то, — остро позавидовал Глеб и вдруг ршил: — Пойду-ка к Батыру. Всегда вдвоем расхлебывались, может, и тут поможет...»

Он спустился на первый этаж, где жил Батыр, и, сжимая в левой руке тетрадку с ручкой, позвонил.

Открыл сам Батыр. Он был в старых джинсах, которые донашивал после сына, и в расстегнутой на голом теле рубашке.

— Заходи! — обрадовался Батыр. — Один сижу, тоска...

Глеб сел за стол, положил перед собой тетрадку и с надеждой поглядел на товарища.

— Готовишься? — спросил тот и наклонился ближе: — Может, того... У меня в холодильнике кое-что стоит...

— Не-е... — поспешно возразил Глеб. — В другой раз. Твой-то где?

— К тестю ушли, — лицо Батыра сделалось злым. — Вот с женой из-за него поругался. Не хочу я туда ходить. У тебя один разговор на языке: как наряд закрывают да на руки сколько перепадает. Ответишь ему как путному, а он помолчит, будто пожалеет тебя. Потом начнет ставить в пример Мурзагула, другого зятя. Тот сварщиком в каких-то мастерских работает. Там же печки для дачников мастерит. Ворюга, я говорю, твой Мурзагул. Тесть сердится: Мурзагул, мол, шабашничает после работы, в нерабочее время. А материал чей, спрашиваю, листовое железо? Электроэнергию чью изводит?

Батыр, растравляя старую рану, вскочил на ноги.

— Попрекает меня тесть, худой, мол, зять, жить не умеет. Этот Мурзагул катает на своей машине старика к его родственникам в деревню — конечно, он хороший. А я на трамвае езжу. И воровать все равно не буду — хоть на тарелке передо мной выложи.

— Рабочему человеку не пристало воровать, — рассудительно ответил Глеб, думая сейчас больше о своем завтрашнем выступлении, нежели о переживаниях Батыра. — Ты бы подсобил мне, а?

Батыр, трудно успокаиваясь, выдернул тетрадку из рук Глеба и прочел написанное.

— Про аварию пишешь, ну и что? — спросил он.

— Думаю, удобно ли, — сказал Глеб, сутулясь. — Премию-то какую получили, помнишь?

— Получили, ну и что? — снова спросил Батыр. — А когда нас с тобой с постели поднимали, мы с тобой думали о премии?

— Конечно, нет.

— Могли и не дать, — сказал Батыр. — А дали б потом отгулы — и конец разговорам. Но зачем ты про аварию речь завел? Больше не о чем говорить?

— Да так, к слову пришлось, — смутился Глеб. — Я ведь

не шибко грамотный в этих делах. Вот ты часто на собраниях говоришь — тебе и надо было бы выступить завтра.

— Говорить нынче все умеют... — вздохнул Батыр. — Зато ты в работе первый.

Батыр посидел, глядя в тусклый за окном осенний мир. Глеб с надеждой ждал.

— Давай вот так сделаем, — решил наконец Батыр. — Я тебе интервью устрою: буду спрашивать, а ты отвечай мне не как корреспонденту, а как старому товарищу. Потом поаккуратней опишем разговор в тетрадке. Договорились?

— Договорились, — обрадовался Глеб, предположив, что в разговоре с Батыром он за словом в карман не полезет.

— Итак, чья самая сильная бригада в тресте?

— Это смотря с какой стороны судить...

— Не виляй, — одернул Батыр. — Отвечай прямо.

— Моя.

— Вот так. А почему?

— Как это почему?

— Почему твоя бригада сильнее других?

— Потому что в ней работают специалисты своего дела.

— Вот именно, — подхватил Батыр. — Потому, что в моей бригаде работают такие опытные рабочие, как Батыр Валишин, по-настоящему влюбленные в свою работу.

Глеб изумился:

— Так и сказать?

— Шучу, конечно, — посмеялся Батыр. — Скажи, что влюблены в работу Мишка Тулупов и Ренат Файзуллин. Хорошие ребята. Теперь слушай дальше. Почему твоя бригада вырабатывает больше всех плану?

— Люди...

— Про них ты уже сказал.

— Не знаю, Батыр. Хоть убей...

— Да нечем тебя убивать. Инструмент на работе оставил, — сказал в сердцах Батыр. — А ты вспомни, когда еще бригаду принимал, что говорил молодым: давайте-ка, ребятки, друг у дружки специальностям учиться, чтоб если кто заболит или в отпуск уйдет, сразу заменить его.

— Овладевать смежными профессиями, — подсказал Глеб.

— Это уж потом так называли, в тресте. Теперь, ты зимой такой порядок установил: кто-то из бригады по графику приходит на час раньше и к девяти прогревает сварочные агрегаты. Ты подсчитай, какая экономия времени у бригады!

— Ты же завел такой порядок — я только поддержал его, — возмутился Глеб.

— Отдаю тебе напрокат, — великодушно предложил Батыр. — Ты ведь выступаешь, а не я. Еще скажи о знаке качества бригады. Если монтирует водопровод бригада Глеба Маврушина, с нас проверки не требуют. Сразу заполняем трубу водой и сдаем водопровод в эксплуатацию.

— Нет у нас такого знака, — поправил Глеб. — Это просто заказчики доверяют нашей бригаде.

— Ты предложи, чтобы ввели такие знаки для монтажников...

— Еще что?

— Ага, вспомнил, — сказал Батыр, оживляясь. — Скажи, есть, мол, в тресте один мужик, зарплатой заведует. Приезжал в бригаду, когда мы ударно сделали водопровод от артезианских скважин и заработали по четыреста рублей. Помнишь, как он копался в нарядах, вынюхивал, а когда понял, что туфты тут никакой нет, стал уговаривать тебя, чтобы часть зарплаты на другой месяц перенести. А то, мол, накличем беду — комиссия из главка придет.

— Я не поддался, — веско сказал Глеб.

— Правильно. Но у ребят настроение испортилось — три дня с холодком работали. Лешка говорил: хоть вкалывай, хоть не вкалывай — все равно больше восьми рублей на день не закроют.

— Ты к чему про этот случай?

— Скажи прямо, что таких хреновых мужиков, как этот из треста, поганой метлой гнать надо, чтоб не загораживали дорогу к коммунизму.

Глеб откинулся на спинку стула.

— Ну ты даешь! — покачал он головой. — Какой же это коммунизм, когда ты про заработки речь ведешь?

— Пусть эти мужики нам ребят не расхолаживают. Когда каждый из нас за троих начнет работать — коммунизм без бинокля будет видать. Заработок такому делу не помеха, а большая подмога.

— Сказать-то скажу... — Глеб задумчиво потрогал большим пальцем ушную раковину. — Только как бы про этого мужика повежливей? Хреновый, говоришь... Так, наверно, и не говорят культурные люди.

— Может, говорят промеж себя, — сказал Батыр, но колебался. — Тогда как назвать его?

— Близоруким обзову, — решил Глеб и вспомнил: — Про тебя что рассказывать?

— Скажи, что Валишин воюет со своим тестем. Идеи-ные, мол, у них разногласия. Все свободное время на эту войну, скажи, изводит. В общем-то, мол, мужик он ничего, компанейский.

— На твоего тестя слов тратить не буду, — отрезал Глеб и взялся за ручку. — Теперь давай, Батырушка, запишем наше интервью.

Глеб писал долго и старательно. Потом они обсуждали, во что завтра оденется Глеб и куда ему девать руки: перед собой держать, на коленях, или положить их на стол.

Уже провожая, в дверях, Батыр вспомнил:

— Э, брат! В холодильнике-то стоит, дожидается...

— Не-е... — опять возразил Глеб. — Нюша подумает, что я тут без дела сидел. В другой раз.

Они распрощались, и Глеб ушел к себе на пятый этаж, размышляя по дороге, не забыл ли он кого из своих ребят помянуть добрым словом в тетрадке.

ЧЕРЕЗ ВЕШНИЕ ВОДЫ

Он надел шлепанцы, одернул пиджак и, стесняясь, прошел в комнату. Федаин знал Лилю два года, но стеснение, укоренившееся в нем с первого знакомства, не проходило. Перед ней, перед соседями, мимо которых он пробежал не поднимая глаз, даже перед случайными людьми, которых можно было встретить в подъезде.

Федаин сел на диван и привычно устроился в угол, где стоял телевизор. «Прекрасное изобретение человечества, — часто думал он. — Позволяет скоротать время, но особенно незаменимо, когда встречаются два человека, которым иногда нечего сказать друг другу». Эти «иногда» у них с Лилей случались все чаще.

— У меня на работе неприятности, — сообщила Лиля, присаживаясь рядом и робко ожидая ответа.

Ее дорогой, но блеклый халат снова раздражал Федаина. «Домашний халат должен быть сочной, яркой расцветки, — подумал он. — Как бы это незаметно намекнуть ей, чтоб она купила другой? — и тут же запоздало догадался: — Надо подарить красивый халат ко дню рождения».



— Какие неприятности могут быть на твоей работе? — спросил Федаин.

— Еще какие! — сказала она. — Разве живому человеку угодишь? Вчера я испортила платье заказчице. Такая толстая, из нее можно трех таких, как я, выкроить.

— Перешей.

— Нет материала.

— Вам не привыкать к скандалам. Про вас в Москве с эстрады говорят. Райкин вас любит...

— О ком это о нас?

— Про портных-бракоделов.

— Тебе хорошо рассуждать. Ревизор... Всю жизнь в чужой работе копаешься. И про вас с эстрады говорят, что вы, слепни, мешаете лошади пахать.

— Мы не позволяем ей портить борозду.

— Умеешь вывернуться... А ты знаешь, моя заказчица жена замминистра. Вчера она вытащила записную книжку и спрашивает мою фамилию. Кашапова, говорю, будто не знаете. Вас много, отвечает она, всех не имею возможности запомнить. И я тебя, Кашапова, научу работать. Ты у меня, горячитя она, скоро будешь шить на уровне мировых стандартов. Попробуй подгони что-нибудь на ваши телеса, отвечаю я... Ты меня опять не слушаешь. Тебе не интересно?

— Очень интересно. Но зачем он, замминистра, на такой толстой женился. Извращенный вкус?

— При чем здесь вкус, — засмеялась Лиля. — Наверно, они поженились давно, когда она еще тонюсенькой была.

...Федаин искренне любил ее в нечастые минуты близости. Вместе с нежностью приходили к этой невысокой, красиво сложенной женщине глубокое, бессуетное спокойствие, чуткость и непонятная Федаину самоотверженность. Ей было хорошо с ним, и она ничего не требовала, не приставала, не укоряла. Ей было довольно того, что он сейчас, вот в эти минуты, рядом с ней.

И сегодня она, приподнявшись на локте, внимательно изучала его лицо, будто пыталась надолго запомнить. И снова ничего вопрошающего либо укоряющего не читал он в немигающих глазах Лили. Он отвернул голову.

— Федаин, посмотри на меня, — попросила она, не двигаясь. — Вот вдруг пришла мне в голову мысль: какая разница между любовницами и известного поведения женщинами?

— Ну?

— Мы не берем денег.

— Зачем ты завела этот разговор? — враждебно спросил Федаин.

— Никогда об этом не думала, — призналась она. — Сегодня почему-то... пришло в голову. Федаин, через три месяца мне будет тридцать.

— Еще через месяц мне будет тридцать пять, — сказал он.

— Тебе...

— Что ты задумала? — теперь Федаин пытался заглянуть в глаза женщине.

— Боюсь этой цифры, — она отвернулась. — Мне нипочем сорок лет или пятьдесят — лишь бы здоровье не оставляло. Но тридцать...

Федаин рывком сел и попытался свесить ноги на пол.

— погоди, — сказала она.

Федаин с беспокойством ждал ее слов.

— Мы расстанемся, — сказала она. — Завтра или послезавтра — но это же все равно будет, Федаин! У нас с тобой нет душевной близости. Ты даже не поинтересовался за эти два года, есть ли у меня родители и где они. Ты даже не ревнуешь меня. Это совсем плохо. Помнишь, ты дожидался меня на площадке, а я вернулась поздно, меня провожал мужчина навеселе? Ты подал ему руку и представился, будто это был разводящий по должности. Когда он вошел в лифт и уехал, ты не спросил меня, кто он был. Я-то придумала целую речь для оправдания!

— Но...

— Меня, признаться, тоже не сильно интересуют твои дела. Ты симпатичен, прилично держишься, ты даже немножко лучше других, жалеешь слабых людей. Этого мне на сегодня было достаточно...

Лиля замолчала, напряженно подыскивая нужные слова.

— Тридцать... — сказала она. — Ты знаешь, что женщина должна рожать до тридцати лет? Или совсем не рожать. Это лучше для нее и ребенка.

— Слышал, — неохотно отозвался Федаин.

— Хочу ребеночка, — неожиданно громко сказала она и дернула его за руку. — Хочу, слышишь? Когда я пойму, что он у меня, во мне, ты мне будешь не нужен. Тогда ты можешь убираться ко всем чертям. Да нет, я сама уеду к матери. Ты о нас знать не будешь. На жизнь себе и твоему сыну или дочери я заработаю — у меня от заказниц нет отбоя, я хорошо шью, ко мне на дом ходят, умоляют за любые деньги принять заказ. Жене замминистра я нарочно испор-

тила платье. Чтоб она не воображала. Подъехала на «Волге», целый час держала государственную машину. И потом, откуда в ней, крестьянской дочке, столько высокомерия ко мне; пусть к портнихе, но такой же женщине, как и она? Вчера она показала перед всеми, что городская культура — вот единственный дефицитный товар, который ей не добыть при всех ее связях. Завтра же отдам ей деньги за отрез, и пусть она ищет себе портниху. Шить я ей не буду! Ни за какие деньги!

Федаин лежал не шевелясь и в тревоге ждал, чем кончит Лиля. Она громко шептала, и он, не смея перебить, глядел в расширившиеся глаза.

— Однажды ты придешь ко мне, — все быстрее шептала женщина, — а дверь откроют незнакомые люди. Значит, все в порядке, я уже у своих, и у меня будет свой ребяточек. Я ж не сухостой, не пустоцвет какой-нибудь, и ко мне старость придет, на кого я буду молиться? Для чего и жила-то? Говорят, что отцы нынче не сильно нужны, все равно им некогда. А я дома буду сидеть, внимания ребеночку хватит. На дому договорюсь шить. Хорошо?

Женщина склонялась все ближе. Федаин смотрел в угол, на немой телевизор, и думал, что этот суматошный бред никогда не кончится.

— Как же я ничего не буду знать о своем сыне или дочери? — начиная возмущаться, спросил он. — Так и буду всю жизнь ломать голову, что с ними да где они.

— Зачем тебе ломать голову? — Лилия схватила его руку. — Ты ни о чем не будешь знать. У нас на работе есть одна молоденькая закройщица. Родила от женатого. В роддоме не стала даже грудь давать малышу — забирайте его в дом грудника, говорит, и ушла. Няня просила ее перед уходом покормить ребенка грудью — она отказалась. Если, рассказывает она, я бы ребенку грудь дала, мне трудно было б бросить его. И ничего, работает, поет, никаких переживаний. Тебе еще проще, ты даже не увидишь ребенка. Потом, ты мужчина...

Федаин наконец-то нашел кнопку светильника и надавил пальцем. В ярком электрическом свете он увидел растрепанную Лилю, ее большие глаза на красном, разгоряченном лице. Она часто заморгала и шмыгнула под одеяло.

Яркий свет успокоил Федаина.

— Ты больна, — сказал он с досадой. — Или мы крепко надоели друг другу. Только зачем эти странности?

Был поздний вечер, когда он вышел на улицу. Миллионный город жил, как и днем, напряженной, кипучей жизнью. За высокими окнами швейных мастерских и ателье трудились женщины, на высокой башне пожарного депо мигал огонь, внизу, в боксах, курили возле красных машин пожарники. На втором этаже углового дома, у пульта во всю стену, будто украшенного разноцветными лампочками, скучал дежурный инженер. С визгом промчалась по улице «скорая помощь», следом неспешно прокатила юркая милицейская машина. Фонарь на крыше вспыхивал белым, красным, фиолетовым светом. Федаину показалось, что это большое, недремлющее око беспокойно всматривается в ночную улицу. Из раскрытых окон ресторана выплескивался на асфальт разноголосый смех, грохот тарелок и грустное завывание саксофона.

Женщины в ярких нарядах, мужчины в темных костюмах, затянутые в джинсовую ткань девушки и подростки, снующие в толпе, — вся эта шумная, многоликая толпа катилась по асфальту мимо ярко освещенных окон ресторана и неожиданно исчезала в утробе подземного перехода. По другую сторону улицы толпа снова изливалась на асфальт и распадалась на два потока.

Федаин свернул на тихую улицу и жадно вдохнул свежий ночной воздух. Идти домой не хотелось. Да и как называть домом узкую каморку, выделенную ему в общежитии для малосемейных? Он хранил там кой-какие личные вещи, ночевал. Большую часть жизни Федаин проводил в командировках. Завтра он снова уедет в глухой уральский район. Не желал Федаин этой командировки. Но теперь, после тяжелого, малопонятного ему разговора с Лилей, завтрашний отъезд показался как нельзя более кстати.

«Или она войдет в колею, — предположил он. — Или мы перестанем быть обузой друг другу».

Федаин повеселел. В эту минуту он, стоя на улице ночного города и ласкаемый теплом от остывающих каменных стен и асфальта, не предполагал, каким испытанием для него обернется предстоящая командировка.

Он сидел в отдельном кабинете, рядом с бухгалтерией, и просматривал отчетные документы ПМК — передвижной механизированной колонны, или, как их чаще называли, «пээмка». Механизированы эти колонны были, как правило,

слабо, «передвигались» по районам республики лишь небольшие бригады рабочих во главе с мастерами.

Федаин, закончив изучать одну из папок, с треском задвинул ее в шкаф и стал смотреть в окно. Из двухэтажного кирпичного здания конторы, на верхнем этаже которой он находился, Федаин видел узкие зеленые поля, зажатые грядами холмов. На ярком майском солнце блестела речка, день ото дня набиравшая силу от потоков, что вливались в нее с гор. По улицам райцентра носились юнцы на мопедах и мотоциклах. От них с кудахтаньем разбегались и падали в кюветы, будто старые солдаты, пестрые куры. Давясь коротким, злобным кукареканьем, собирали их петухи и тщетно пытались увести в тихие, укромные дворы, но куры не хотели покидать дорогу — на поля возили семена, и с дырявых кузовов машин кое-что перепало улице.

Федаин уже месяц жил в райцентре, знал здесь каждую улочку, многих местных узнавал и здоровался. Он питался в ашхане, приютившейся у дороги возле райисполкома. Готовили здесь одно и то же: суп куриный с лапшой и куллама в глиняных горшочках, представлявшую собой крупно нарезанную баранину с репчатым луком. На третье подавался крепкий чай с двумя кусочками сахара на блюде. От однообразной пищи Федаин мучился изжогой и мечтал поскорее вернуться в город.

Усевшись за громоздкий письменный стол, он подвинул к себе пухлые папки с сотнями вшитых в них документов. Месяц упорной работы, потраченный Федаином на ревизию производственно-хозяйственной деятельности ПМК, отнял у него много сил. Начальником этой организации работал Ковтун Дмитрий Сергеевич. Кадры у него были неискушенные в финансовых делах, малообразованные, и Федаин долго распутывал запущенное финансовое хозяйство Ковтуна. К счастью, люди его были честны, и если допускали ошибки, то только по неопытности и легковерию.

Федаин радовался итогам проверки, хотя он знал в управлении коллег-ревизоров, которые считали удачным результатом своей работы такие выявленные нарушения, по которым снимали с работы руководителей ревизуемых организаций, а то и заводили на них уголовное дело. Эти ревизоры всячески выпячивали свои кончавшиеся неблагоприятным исходом ревизии и при каждом удобном случае вставляли: «Помните, как я в прошлом году Т-ва почистил? Трояк ему сунули!»

Обнаружив неблагоприятные дела отдельных должност-

ных лиц, Федаин не спешил с выводами. Он просил свое начальство продлить командировку, снова внимательно изучал документы и писал акт, пытаясь быть предельно объективным и всячески избегая всего того, что называл «дамскими эмоциями». К его актам было трудно что-либо добавить или убавить, и начальство не требовало от Федаина дополнительных заключений либо пояснений.

В узком кругу близких городских знакомых Федаина жалели и осторожно советовали подобрать работу по душе, не такую бумажную и скучную. «Работа моя — не мед, — охотно соглашался Федаин. — Надо бы, конечно, поискать работенку. Всю жизнь мотаться не будешь...»

Однако Федаин не спешил расстаться с работой. Мало кто знал, с каким интересом он влазит в безликие бумаги и что он видит за ними. Федаин листал папки и будто читал художественную книгу. Вот слабое, рахитичное предприятие. После балансовой комиссии с ее неутешительными выводами сверху присылают нового руководителя. Молодой человек очень напорист, энергичен — об этом говорят его приказы, написанные лаконично, сжато. Он снимает с работы главного инженера и переводит его начальником производственного отдела. «Прав ли он?» — думает Федаин, уже с симпатией наблюдая за новым директором. Прав! Нарекания в адрес отдела со стороны служб и вышестоящих организаций прекращаются. Бывший главный инженер с удовольствием тянет то, что ему под силу. Но молодой директор неопытен, и Федаин с огорчением наблюдает множество промахов в работе предприятия. Вот директор пытается укрепить свое положение и щедро расходует деньги на премии рабочим и конторским работникам. Но допускает большой перерасход зарплаты, с него удерживают треть месячного оклада, и молодой директор, обжегшись на молоке, дует на воду. В следующий квартал он урезает наряды, закрытые в бригадах, все сделано вроде бы правильно, и достигнута экономия фонда, но Федаин одну за другой листает клетчатые бумажки — заявления от рабочих об увольнении по собственному желанию. И когда Федаин делает анализ работы предприятия, то видит, что оно шагнуло далеко вперед, и личность директора всерьез заинтересовывает его. Один из последних документов — накладная на перевозку домашних вещей директора и приколотые тут же проездные документы жены и дочери — убеждает Федаина, что он прочел занимательную повесть со счастливым концом.

Федаин раскрыл папку и решил разгадать несложный ребус: куда подевались сорок листов шифера? Ковтун подписывает акт о списании их. С глаз долой, значит. Но куда их дели? По-ревизорски хваткий ум Федаина ищет путь, по которому утекли эти сорок листов шифера. Работники крепкой ПМК, вчерашние колхозники и рачительные хозяева, вряд ли допустят бой такого количества листов. Память подсказывает Федаину, и он лезет в папку, которую изучал неделю назад. Вот престарелая Марфуга Яппарова, которую секретарша Надя зовет тетей Марфой, пишет заявление на имя Ковтуна с просьбой отпустить сорок листов шифера. Крыша течет, починить ее некому, так как она одинокая, сыновей убило на фронте. Федаин успел хорошо узнать старуху. Она приходит в конце дня и, несмотря на возраст, моет полы и протирает влажной тряпкой столы и подоконники долго и добросовестно. В городской конторе Федаина уборщицы обычно ограничиваются тем, что выбирают бумаги из корзин и выметают сор. Мокрая уборка, по их взглядам, чрезмерная потеря личного времени и ненужная трата сил.

Выходит, сорок листов шифера ушли Марфуте Яппаровой. Добренький Ковтун подарил старухе списанный шифер. Какие они все сердобольные, думает о Ковтуне Федаин, вот только жаль, что государственный карман представляется им бездонным. Но теперь никого не накажешь. Ковтун надежно прикрылся актом.

Федаин, легко разгадав этот ребус, разочарованно захлопнул папку.

Теперь, когда напряжение трудной командировки отпустило и Федаин собирался завершить работу и ехать в город, он впервые всерьез вспомнил полузабытый разговор с Лилей.

«Вот бешеная... — забеспокоился он. — Наговорила, наплела с три короба. Ребятеночек ей понадобился! Слово какое придумала: ребятеночек! Блажь входящей в возраст женщины...»

Подумав, Федаин решил, что Лилия в общем-то слов на ветер не бросает. Эта маленькая женщина, когда захочет, может быть очень решительной. Если уж жена известного в городе замминистра для нее не больше чем пустое место...

Может быть, распроститься им? Затянулись их встречи, не радуют они обоих и мучают своей неопределенностью, зыбкостью. Пока не превратились они в муку, надо кончить их, обрубить раз и навсегда. Так будет легче ему и ей.

Но жить как дальше? Мотаться по этим селам, маленьким городам, копаться в бумагах, где многообразные, сложные отношения людей зафиксированы сухим языком документов, распутывать их и находить в этом смысл твоей единственной, нигде и ни в ком не повторимой жизни? Погоди-ка, кажется, это Лиля говорила, что человек повторяется, продляет свою жизнь в детях. Вот оно что... Пока он искал и находил в их отношениях разумное начало, здоровую, жизненную необходимость, дающую им радостное, полнокровное ощущение жизни, в это время Лиля ушла дальше, ее как женщину не могла более устраивать эта нехитрая, отработанная временем житейская схема. Неужели она раньше его, Федаина, гордящегося своим аналитическим складом ума, разгадала их отношения и поняла, что они ведут в тупик, из которого не будет выхода?

Федаин подошел к окну и воочию убедился, что река, будто на дрожжах, вспухает и вот-вот выплеснется из своих тесных берегов.

Он поглядел на робкую по-майски зелень, что покрыла холмы, сливающиеся далеко к северу в одну сплошную грядку, и отошел к столу. Работать сегодня он больше не мог.

* * *

Федаин вернулся в свой номер и, скинув туфли, растянулся на койке. Думать ни о чем не хотелось, и он закрыл глаза. «Завтра пошлю открытку Лиле, — сонно решил он. — Уже целый месяц она не знает, где я нахожусь».

Проснулся Федаин вечером. Возле койки стоял сосед, молодой инженер, и широко улыбался.

— Дрыхнем? — спросил он. — А тем временем ваши резируемые прячут концы, планируют новые махинации, а то и — не дай бог! — растаскивают народное добро.

— Мы отдыхаем, — в тон ему ответил Федаин. — Но одним глазом. Второй наш глаз неусыпно бдит. А вы, похоже, крепко поужинали?

— Уговорил меня змей этот, начальник местного отделения Сельхозтехники, зазвал к себе.

— Упущения в работе искали? — с тайной ехидцей спросил Федаин.

— Искали, — весело поддержал инженер. — Знаете, где нашли? На дне бутылки.

Федаин встал, осторожно обошел пьяного соседа и присел на подоконник. Река по-прежнему текла вровень с бе-

регами, только в одном месте вода сумела размывать берег и теперь живой, серебряной струйкой сочилась на зеленые луга.

Соседи Федаина часто менялись. В большинстве своем это были люди из города, приезжавшие с проверками в окрестные колхозы либо местные советские органы. Они не были ревизорами ни по должности, ни по призванию. В каждой вышестоящей организации существовал график плановых проверок, который надо было выполнять. Посылались в командировки чаще всего холостые мужчины, не обремененные семьями. Их отрывали от основной работы и отправляли на ревизию, давая при этом жесткий срок: три-четыре дня, иногда неделю.

Федаин отвернулся от окна.

— Какой же толк от вашей ревизии, — пожалел он инженера. — Зря потеряли время.

— Я-то при чем? — удивился тот. — Меня насильно вытолкали в эту командировку. Дали три дня срока, а работы, если всерьез проверять, недели на три. Акт бы хоть успеть составить...

— Не люблю я ваши внутриведомственные ревизии, — откровенно высказал свою старую мысль Федаин. — Они никому не нужны. Кто-то, видимо, греет на этом руки, прикрывается в нужную минуту вашим актом. А деньги и рабочие руки — транжируются.

— Это не мой вопрос, — отмахнулся инженер. — Лично я хорошо отдохнул после городской суеты, развеялся. Вы, товарищ, впустую тут киснете — вечера надо проводить со своими проверяемыми. Сообща искать, как вы сказали, упущения.

— Ваши ревизии не просто безобидная отписка, галочка в работе высокого начальства, они, кроме того, вредны для государства, — задетый Федаин вскочил на ноги. — Ваши подопечные не просто посмеются над актом, они убедятся, что учет и контроль в вашем хозяйстве отсутствуют, и со временем натворят такие безобразия, за которые им и вашему начальству придется держать ответ перед законом.

— Наивный вы человек, — пьяно усмехнулся инженер. — Посылали меня и раньше, я вечерами сидел, чтоб успеть побольше проверить. Потом объективные акты строчил. За один такой акт к директору таскали. Тот кричит на меня: ты, мол, такой-сякой, интеллигент в газетной обертке, не понимаешь, что твоя бумага в главк пойдет? Они тебе там аплодисменты устроят, на бис вызовут. Теперь ты понял

меня? — говорит. Понял, отвечаю. Кругом марш и сел за новый акт. Углы сгладил, формулировки смягчил, обтекаемое заключение придумал, и мое ревизуемое предприятие заработало, как полагается, на всю мощь. Если им и допускались отдельные срывы, неувязки, то только по причинам, вызванным объективными трудностями. Сейчас я понимаю своего директора: кому надо знать, за что колхозы платят денежки, то ли за ремонт комбайна, то ли за полуценные запчасти.

— Как? — не понял Федаин.

— Комбайн должны ремонтировать мы, специалисты, соответственно нам отпускаются запчасти. Но возиться с комбайном долго, а план по ремонту выполнять надо. Колхозу, в свою очередь, надо пустить комбайн в работу, но у него нет запчастей. Видите, как сталкиваются наши интересы? Когда мы горим с планом, колхоз приходит и забирает запчасти, оставляя нам денежки за ремонт комбайна. Если нам особенно туго, колхоз заплатит еще и за профилактический ремонт. Все в выигрыше!

— Но хлеб-то в проигрыше.

— Какой хлеб?

— Который до поздней осени убирают вашим неисправным комбайном. Хлеб осенью осыпается, пропадает, гонят.

— Этой технологии я не знаю, — нахмурился инженер, смутно сознавая, что сказал лишнее. — У меня техническое образование. Давайте-ка о другом поговорим.

Инженер полез в портфель и достал электробритву.

— Я тут с одной бабой познакомился, — похвастал он, придирчиво оглядывая себя в зеркале. — Свидание назначила. Я говорю, встретимся на вашей центральной площади, возле химчистки. Чего, отвечает она, по улицам шататься, ко мне сразу иди.

Инженер побрился, надел выдавший виды плащ, снова оглядел себя в зеркале и, подмигнув Федаину, бодро ушел коридором на улицу.

...Федаин уже спал, когда дверь резко распахнулась, и вбежавший инженер включил свет.

— Спишь! — укоризненно закричал он. — А меня чуть не убили. Дикари!

Федаин тер глаза и смотрел на сильно возбужденного инженера в расстегнутом пиджаке.

— Что с вами? — заворчал он. — Плащ где?

— Что-что! В подъезде, то есть у калитки этой бабы, си-

дела засада, человек пять или шесть. Вот он! — кричат. Трое схватили меня за руки, двое или трое встали у калитки. Засада, в общем, что надо. Ловушка! Но они меня плохо знают. Я резко присел, перекатился через голову и таранил головой тех, на калитке.

— А трое?

— Трое держали мой пустой плащ. Пусть они его до турецкой пасхи держат. Хорошо, жена надоумила старый плащ в командировку взять. Вырвался я на простор, несусь их главной улицей. Они все за мной, как полоумные. Аж в пятки цеплялись. Хуже собак!

— Преследовали?

— Ты думаешь! У гостиницы накрыли. Сначала один вцепился, потом другой. Но пиджак нельзя было оставлять. Тут документы. Я сильно заорал на них. Неужели не слышал? Вот спишь! Они, конечно, посыпались с крыльца, как овечий помет. Ну дикари!

— А ваша знакомая?

— Баба, что ли? Что ей сделается? Глядела, наверно, через окно, как ее хахаля раздевают.

Федаин посочувствовал и полез под одеяло. Инженер повесил пиджак на спинку стула и долго разглядывал себя в зеркале.

— Ни одной царапины, — сказал он, довольный осмотром, и сдернул с койки одеяло. Уже укладываясь спать, инженер вдруг приподнялся и хлопнул себя по голове.

— Ты чего? — спросил Федаин.

— Они все кричали друг другу: держи Рамазана да держи Рамазана. Но при чем тут я, Аглям? Вот я и подумал, что угодил в чужую засаду.

Инженер, возбужденный новой догадкой, сел в постели.

— Но почему Рамазан? — удивился он. — Неужели эта баба сразу двоим свидание назначила? Погоди-ка, уж не перепутал ли я дом? Они тут все на одно лицо: деревянные, одноэтажные.

Федаин засыпал, когда инженер громко засмеялся со своей койки:

— Ловко ушел я от них, а? Без единой царапины! Это, брат, везение...

* * *

— Отчего такие расстроенные? — спросил Ковтун на другой день после обеда, когда Федаин вернулся с объезда объектов.

— Есть от чего расстраиваться, — угрюмо сказал усталый Федаин и сел в кресло напротив начальника ПМК.

Дмитрий Сергеевич, невысокий, коренастый мужчина, наклонил свою крупную седеющую голову и настороженно посмотрел на ревизора. Федаин с первой встречи отметил, что Ковтун, как все много и лихорадочно работающие руководители, сильно щурил глаза. «Видимо, это защитная реакция человека, вынужденного пропускать через себя огромный объем информации, — думал Федаин. — Сотни встреч за день, сотни разговоров по телефону, сотни важных бумаг в почте, их все надо помнить и держать в голове, быть может, месяцами. Всегда ли это по силам средних умственных способностей человеку? Прищур глаз — это неприятие новой информации, стремление оттолкнуть ее, уйти от нее или хотя бы распознать второстепенное, сиюминутное, чтоб впустую не вбирать в себя и не загромождать память».

— Что же вас расстроило? — терпеливо спросил Ковтун и сильно потер лоб.

— Побывали мы с вашим работником в соседнем колхозе, — начал Федаин. — Смотрели строящийся Дом культуры. Глазам, конечно, любо — настоящий дворец будет. А пока фундаменты стоят, стены. Четвертый год стоят, Дмитрий Сергеевич. Стены обваливаются, материал растаскивают. Но меня как финансиста расстроило другое. Ваши фундаменты, стены, что еле-еле растут в здешних аулах, ваши миллионы, вложенные в коробки будущих зданий, — это затраченный труд многих сотен людей, что произвели кирпич, бетон, остродефицитный металл и доставили материал в отдаленный район республики. Теперь этот труд годами не окупается. Зачем вы так делаете?

— Что делаем? — еще больше насторожился Ковтун. Глаза его широко раскрылись — годами копившуюся усталость начальника колонны как рукой сняло.

— Раскидываетесь людьми и материалами, — Федаин попытался улыбкой снять настороженность Ковтуна. — Выполняете вы в год на два миллиона рублей строительно-монтажных работ, а я насчитал у вас неоконченных объектов аж на четыре миллиона. Если вы свою колонну кинете только на окончание разных там хвостов и недоделок, то вам потребуется целых два года!

Ковтун внимательно слушал, но не торопился отвечать.

— Отвечайте откровенно, — мягко попросил Федаин. — Пусть наш разговор будет неслужебным.

— Зачем же? — усмехнулся Ковтун. — Я вам отвечу по

службе. Ответ мой простой: это не мой вопрос. Пусть там думают, — Ковтун показал пальцем в потолок.

«Рядовой инженер заявляет, что дело, которым он занимается — не его вопрос, — вспомнил Федаин соседа по койке. — Теперь о том же самом говорит руководитель крупного хозяйства. — Федаин огорчился. — Но зачем Ковтун неоткровенен со мной? Или он, замученный текучкой, не в состоянии осмыслить по крупному счету свои хозяйственные дела?»

Ковтун с еле заметной усмешкой оглядел ревизора.

— Думаете, легко в короткий срок возводить объекты, когда каждый гвоздь надо везти из города, да еще по нашим аховым дорогам.

— Но школы вы строите очень быстро, — оживился Федаин. — В мае-июне закладываете фундамент, а первого сентября встречаете детей в дверях.

— Попробуй не встретить, — угрюмо ответил Ковтун. — Мне завтра же по шее дадут. Со школами шутить нельзя.

— Понял, — усмехнулся Федаин. — Вам нужен человек сверху, который бы почаще толкал вас в шею.

— Не одного меня, — быстро поправил Ковтун. — Еще и тех людей, которые планы спускают. — Он опять ткнул пальцем в потолок. — Они мне планировали в этом году блоки, панели поставлять, а под завод этот еще только котлован копают. Я грузоподъемные механизмы вторую пятилетку жду, но начини разбираться — заводы эти, что выпускают механизмы, на проектную мощность не могут выйти. Моя в том вина?

— Ишь, увел как! — изумился Федаин. — Еще пять минут поговорим, и до Госплана доберешься.

— Надо будет — доберусь, — сказал Ковтун, глядя в стол. — Но пока все это — не мой вопрос.

К вечеру Федаин снова зашел к начальнику и молча положил ему на стол отпечатанный акт.

— Вот и закончилась ваша командировка, — подытожил Ковтун, подвигая к себе листы.

Лицо его разгладилось: Федаин понял, в каком напряжении держала ревизия весь аппарат ПМК.

— Другой бы спросил, но я не стану, — заученно пошутил Ковтун, прочитав акт. — По-моему, справедливо написано, хотя в душе я не со всем согласен.

Он старательно подписал все шесть экземпляров акта и, будто сняв с себя напряжение, широко улыбнулся Федаину.

— Зашли бы ко мне домой, Федаин Авзалович, — при-

гласил он. — Целый месяц вы у меня в гостях, а ни разу не побывали в моем доме. Непорядок. Познакомлю с моей женой Леной, у нее отец из белорецких рабочих, еще юнцом уходил через эти края с Блюхером. Много повидал за свою жизнь человек. Младшую в семье Ленку он любил, часто рассказывал ей про свою молодость. Ну а у нее память — будь здоров! — расписывает приключения отца в стихах и красках. И сын мой на побывку приехал, офицер, в военной академии учится.

— Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Не могу.

— Да отчего не можешь? Акт подписан — чего тебе бояться?

— Не боюсь я никого, — поморщился Федаин. — Просто не люблю командировочные застолья.

— Не буду я тебя поить, кроме как квасом и чаем.

— В другой раз, Дмитрий Сергеевич.

— Ну как знаешь, железный ты человек... Больше я вам не нужен?

— Спасибо, нет. Билет на автобус я купил на завтра. Вот если б разговор заказать.

— Это пожалуйста. Сейчас я Надюше подскажу.

Ковтун попросил секретаршу заказать Уфу и, распрощавшись с Федаином, уехал в райисполком.

Федаин сел возле телефона и стал ждать. Месяц упорной работы отнял много сил. Сейчас он отдыхал, глядя на телефон.

«Что случилось с Лилей? — подумал он. — Нам было легко вдвоем. Зачем ей понадобилось усложнять отношения? Видно, пора нам расстаться, иначе мы изведем друг друга. Сейчас зазвонит телефон, и все кончится».

Резко зазвонил телефон, и Федаин поднял трубку.

— Ателье? — спросил он.

— Да-да, вам кого?

— Пригласите, пожалуйста, Кашапову Лилю.

Там подумали, ответили кому-то по другому телефону, наконец сказали:

— Она вчера уволилась. Что-нибудь передать ей? Лилия обещалась забежать завтра, сняться с профсоюзного учета.

— Завтра я буду в городе. Спасибо.

Федаин повесил трубку. Сердце колотилось так, будто он целый квартал пробежал за автобусом.

«Хорошо бы уехать сегодня, — решил он. — Вдруг успею на вечерний рейс».

— Сегодня? — удивились на автостанции, куда Федаин

позвонил с просьбой поменять билет на вечерний рейс. — Ни сегодня, ни завтра, миленький.

— Как вас понимать? — сухо спросил Федаин, с неприязнью вслушиваясь в веселый, разбитной голос женщины.

— Мост унесло, миленький. Теперь мы в окружении, как на острове. Отдыхайте, миленький.

Федаин долго сидел, будучи не в состоянии осмыслить случившееся. Но привычка работать с самыми сложными бумагами и распутывать их загадки заставила его сосредоточиться. «Вот как! — ахнул он. — Простодушный человек Федаин!» Разговор тот был проверкой, и только. Лиля уже ждала ребенка от него. Она испытывала его, заранее обеспечив ему путь для отступления. Он был далек от ее переживаний и даже в тот вечер не захотел ступить в приоткрывшийся, незнакомый ему мир близкой женщины. «Сбесилась... блажь...» — решил он тогда и этим грубо захлопнул приоткрывшуюся дверь. Как выбраться из этой западни? Если б он знал о коварстве местных рек! Он бы свернул ревизию на неделю раньше, он бы проверял, как его молодой сосед по гостинице.

В дверь заглянула старушка, маленькое личико ее расплылось в улыбке.

— Здравствуйте, Марфуга-эби¹, — приветствовал он ее по-башкирски. — Я скоро уйду.

— Сидите-сидите, — испугалась она и с почтением поглядела на толстую ревизорскую папку Федаина.

— Ты уж, сынок, нашего начальника не обижай, — попросила она и промокнула губы углом платка. — Его весь район уважает. У хороших людей — хорошие дети. Сын его командиром служит в Красной Армии, дочь в соседнем районе врачом работает. Золотой человек Дмитрий Сергеевич!

«Еще бы! — машинально подумал Федаин, вспомнив о шифере. — Вот как бы тебя выпроводить, разговорчивую».

— Крышу-то, эби, покрыла? — спросил он участливо.

— Покрыла, сынок, покрыла, — закивала старушка и боком полезла в дверь. — Хорошая теперь у меня крыша.

— Откуда шифер достала? По сколько рублей за лист отдала?

— Что, сынок? — лицо у старушки вытянулось. — Не пойму, плохо слышать стала.

— Сколько листов шиферу ушло на крышу? Не сорок? — прокричал Федаин.

Но старушка с ведром уже гремела коридором.

¹ Э би — бабушка (башк.).

В другое время Федаин долго бы смеялся, но сейчас он снова устался в окно, где под весенним солнцем, в разрывах между холмами, уже плескалось море талой воды.

«Когда речка войдет в берега? — соображал Федаин, щурясь на яркий свет. — Через неделю? А мост когда наведут? Еще неделя?»

За месяц жизни Федаин не завел здесь даже маломальского знакомства. В эти минуты он остро жалел о своей необщительности. Нужно было куда-то идти.

Через полчаса он стучался в дом Ковтуна.

* * *

Елена Максимовна неторопливо накрывала стол. Она искренне обрадовалась гостю. Видимо, она всегда радовалась новым людям, и благодарный Федаин украдкой наблюдал за этой рослой, интересной женщиной. Прядка русых волос, будто нечаянно спадавшая на высокий лоб, необычайно молодила ее, очень шла к лицу. Елена Максимовна не суежилась, ступала мягко, с какой-то еле уловимой наигранной ленцой, как женщина, хорошо знающая о том, что красива и нравится мужчинам.

Федаин, когда знакомился, чуть задержался взглядом на ее лице.

— Лена, просто Лена, — сказала она и засмеялась.

Федаин улыбнулся и неохотно выпустил горячие, сильные пальцы. Снова его укололо плохо сознаваемое им чувство какой-то боли, досады на себя, что вот рядом живут веселые, счастливые люди, а он не умеет жить, не сумел в свое время разглядеть такую вот женщину, которая бы растила ему хороших детей, оставаясь, наперекор возрасту, обаятельной и жизнерадостной.

— Федя, садитесь вот сюда, в красный угол, — Лена мягко коснулась его плеча.

Он хотел поправить ее, но, подумав, внутренне махнул рукой.

— Федя... — снова сказала ему Лена. Чуть дрогнули ее губы, и Федаин догадался, что она прекрасно знает его настоящее имя, ей хочется звать его Федей — и в этом ее мимолетный женский каприз, шалость.

Ковтун с улыбкой наблюдал за женой, как та экономными, точными движениями расставляет приборы, усаживает засмущавшегося гостя, рассказывает ему, когда тот вздрогнул от гогота гусей в сарае, что она очень любит жи-

вотных, но больше то, что они дают: молоко и шерсть, например.

Федаин смотрел на ее большие белые руки, сновавшие по столу, капризный излом губ, которые или дергались в усмешке, или приоткрывались в смехе. Но заметил он, как глаза ее, лучистые, внимательно-добрые, чуть скашивались в сторону окна и темнели в тревоге — в соседнем селе гостил у родственников сын, обещал до ночи вернуться.

— Я начинал тут с мастера, — сказал Ковтун, усаживаясь напротив гостя, и взял из корзины на полу бутылку с шипучим кумысом. — Строили мы в то время сельповские магазины, совхозные конторы с печным отоплением и удобствами, которые на дворе. Кирпич и лес возили на бричках — вспоминать даже не хочется.

Сейчас у меня крупное хозяйство. Базу свою построил, узлы, строительные конструкции здесь готовим — из города не вожу. Начал железобетонный цех строить, чтоб на месте панели для сборных домов делать. Думаешь, мне на это время дают? Деньги? Вот я и кручусь: план надо давать и дело двигать требуется, в завтра глядеть. Ты верно отметил: финансовое хозяйство у меня неважноецкое. Убухал столько денег, а отдачи нет. Но ты потерпи, дай мне закончить базу, и я верну государству деньги. Верну то, что мне по силам. И жилье микрорайонами буду возводить, как в городе, а не отдельными домами там и сям, как нынче.

— В добрый час! — похвалил Федаин. — Вот только специалисты у вас низкой квалификации. Вы их почаще посылайте на курсы, семинары, заинтересуйте, чтоб они учились заочно.

— Что верно, то верно, — вздохнул Ковтун. — Разучились, да что разучились, вовсе не умеют своей головой думать. В том я виноват. Когда дело ставил, все сам бегал, сам сочинял разные проекты, кумекал, боялся кому-то поручить, чтоб он невзначай не испортил. Вот мои люди и спуют ко мне в кабинет каждую минуту: Дмитрий Сергеевич да Дмитрий Сергеевич, а как нам это сделать? а как нам это проверить? Уеду иной раз по объектам, три-четыре дня в бригадах пробуду, или в Уфе на совещании пару дней просижу, — глянь, у меня в папке важная бумага лежит. Вызываю своих помощников: куда глядели, спрашиваю, или вовсе эту бумагу не читали? Читали, отвечают, да боялись братья, вдруг, мол, запорем такой серьезный документ. Пошехонцы, ей-богу! Ну что ж, Федаин Авзалович, будем людей учить мыслить, грамотно работать. Тебе, ко-

нечно, легко говорить — ты финансист с высшим образованием. Вот сел бы ты ко мне заместителем, мои денежные дела сразу б в гору пошли. А то банк заел. Чуть что — прекращает финансирование. У меня, сам видишь, не доходят руки до этих дел. Приезжай!

Федаин вежливо улыбнулся.

— То-то, — понял его мысли Ковтун. — Все вы любите поучать из своих столиц, а дело делать — мужика ищете. Ругаете его, колотите за несовершенство, но заменить не можете — некем! Вот ты акт написал, кучу замечаний вывалил, за этот акт в городе меня бы не погладили. Но тут я сойду. Потому что я на безрыбье!

— Замечаний я дал много, — сдержанно сказал Федаин. — Но я, Дмитрий Сергеевич, отразил и положительные результаты вашей работы. Их могло не быть, если б не ваше бескорыстное отношение к работе, даже больше — самоотверженное отношение. Я ж посмотрелся за месяц, как вы работаете и в каких условиях. Благодарите ваше могучее здоровье!

— Ох, финансист! — засмеялся Ковтун.

— Но ваше горение на работе мне не нравится, — Федаин поймал на себе быстрый, непонимающий взгляд Лены. — Вы хорошо запрягли себя, на полную нагрузку. Вашим подчиненным остается только погонять вас. Разве вы должны ездить в банк и жечь нервы из-за финансирования, в то время как ваш главбух попивает у себя кофе? Я не против кофе, пусть она его смакует, но пусть по финансовым вопросам ее голова болит, а не ваша.

Ковтун открыл новую бутылку кумыса.

— Безалкогольный напиток, — снова предупредил он. — Никто не скажет, что ревизор распивает спиртные напитки со своим проверяемым.

Федаин, улыбаясь, кивнул, но свежий кумыс ударил в голову, разбудил тревогу.

— У нас сын болел в детстве туберкулезом, — Лена встала позади мужа. — Мы его долго лечили здешним кумысом. И сами незаметно для себя приучились.

— За ваше титаническое здоровье, — Федаин шутливо чокнулся с Ковтуном. — Оно движет ваше «пээмка».

— У моего Димы давно нет даже обычного здоровья, — грустно сказала Лена и погладила ладонью голову мужа. — По ночам у него стало болеть сердце. Трепыхается, как у зайчишки...

Она, как бы в шутку, взъерошила пальцами редкие во-

лосы мужа и вдруг прижала его голову к себе и поцеловала в лоб.

И снова что-то больно укололо Федаина. В эту минуту он показался себе безнадежно лишним среди этих людей, в чем-то главном неполноценным.

— Ну что ты, Лен, — Ковтун мягко отодвинул жену от себя. — В наши дни здоровье такой же дефицит, как, например, метлахская плитка. Стоит ли об этом печалиться?

Лена отошла от мужа и села за стол, совсем близко к Федаину.

— Федя, у вас есть дети? — подперев щеку кулаком, она в упор смотрела на гостя.

— Не-ет, — растерялся Федаин. Подумав, он поднял на хозяйку глаза. — Но я жду его.

— Тогда вы еще совсем молодой, — как-то разочарованно сказала Лена.

— Я даже придумал имена: женское и мужское, — продолжал Федаин.

— Как бы я хотела пережить это снова, — громко сказала Лена. — Ожидание, первый крик, маленькое тельце на ладони. Вы счастливый человек, Федя, у вас все впереди.

— Но если родятся близнецы, два мальчика, например? — Федаин даже привстал. — Или две девочки?

— Мой Дима зачерствел на работе. Дети редко видели его. А куда деваться? Уж так повелось в роду человеческом: мужчина — опора семьи, добытчик, его место на охоте, в лесу, в поле, но только не у семейного очага.

— Я должен был предусмотреть два комплекта имен, на случай близнецов, — Федаин озадаченно глядел на супругов.

Лена повернулась к нему, быстро сказала:

— У вас нет детей, Федя, нет семьи.

— Лена...

— И боюсь, будет ли все это.

Возбуждение Федаина угасло. Он долго и внимательно смотрел на женщину.

— Человек должен быть немного эгоистом, — Лена отбросила русую прядь со лба. — Вы совсем не любите себя. Это плохо. Эгоист вынужден любить не только себя. Он любит своих детей, потому что они — его дети, он узнает в них себя, он любит свою женщину, потому что это его женщина, потому что она мать, опять же, его детей. Эгоисту нужен мир, чтоб спокойно жилось ему, его детям, его женщине и всем его близким. Вам не нужно ничего. Это страшно.

Федаин со странной улыбкой слушал хозяйку.

Ковтун осторожно разлил кумыс в фужеры Федаину и себе.

— Тебе больше нельзя, — сказал он жене.

— Я вас не хотела обидеть, — губы Лены раздвинулись в широкой улыбке. — Вы мне чем-то понравились. А уж если мне кто-то понравится, я выскажусь ему откровенно.

— Ее оплеухи я выношу четверть века, — вставил Ковтун. — Уж так сильно я ей нравлюсь.

— Любите себя, молодой человек, — Лена поймала сумрачный взгляд Федаина. — Тогда вам легче будет полюбить остальных.

— Я постараюсь, — ответил Федаин, трудно осмысливая разговор с женщиной. — Я буду стараться.

Он поднялся. Ковтун набросил на плечи кожаную куртку и вышел в переднюю.

Лена прошла к Федаину через всю большую комнату, от окна до двери. Теперь он видел, что походка ее отяжелела.

— Вам трудно жить, Федаин? — дрогнули в усмешке губы Лены.

— Ухожу из этого дома и не понимаю, за что полюбил вас, за что успел возненавидеть, — серьезно ответил Федаин. — Будьте здоровы, Елена Максимовна.

Она коротко встряхнула ему руку.

В дальнем углу темного двора Ковтун курил папиросу. Искры веером сыпались на остывшую землю.

Федаин прислонился плечом к дверному косяку и жадно вдохнул холодный воздух.

«Кто она и зачем она? — изумленно пожал он плечами. — Где и какими мыслями напиталась, чтоб неожиданно метко заглянуть в человека, ударить его больно, безжалостно, так больно, чтоб он зашелся криком и узнал в себе человека?»

Федаин глядел в холодный, густой мрак, начинавшийся от самых ног и протянувшийся через эти холмы и поля, залитые вешними водами, до крохотных звезд на небе. Он думал о Елене Максимовне, о тех бесчисленных поколениях, что выпестовали ее характер, гибкий ум и весь этот тонкий механизм, называемый интуицией. Федаин еще раз поразился внешней изменчивости русских женщин, сопряженной с богатым внутренним миром. Большая собранность в тяжелые часы и годы жизни, беззаботный смех, беспечность и неизбывная печаль, чрезмерное любопытство и внезапно находящая замкнутость. Настойчиво от-

стаивать свое, пусть крохи, и разом отдать все ради того, что вызовет в ней сострадание и жалость, уметь любить и необычайно сильно ненавидеть, ценить жизнь и легко, подчас безрассудно уходить из нее.

«Откуда столько граней характера в одном человеке? — думал Федаин, вспоминая сильную, уверенную Елену Максимовну. — В какие времена и кем закладывались будущие черты незаурядности? Импульсивное, страстное развитие нации, распрямлявшейся в борьбе с несметными ордами, собственным рабством, темнотой, и тащившей к дальнему свету всех, кто вовлекался в мощное течение ее жизни? Сила, проницательность, доброта победителя и душевное здоровье крупнца за крупницей накапливались прошлыми поколениями, чтоб собраться в характере этой красивой женщины?»

Федаин, подняв лицо к небу, думал о вечности, о тех людях, что будут жить после него в необозримо далеком будущем. Какие мысли и мечты его, Федаина, Ковтуна и Елены Максимовны уйдут в это будущее? Что заинтересовало бы грядущих историков в их жизни, если б она каким-то образом донеслась до них?

...Кто-то вошел в калитку, приблизился, твердо ступая. Тускло блеснули погоны.

— Иди, Игорек, в дом, — голос Ковтуна дрогнул. — Мама очень беспокоится.

— Иду, папа, иду, — офицер прошел мимо Федаина и хлопнул дверью.

Ковтун бросил папиросу под ноги и подошел к Федаину.

— Моя Лена категорична в своих суждениях, — Ковтун взял под руку гостя. — Категоричные люди не бывают правы.

— Дмитрий Сергеевич, — сказал Федаин. — У меня одна к вам просьба — переправьте меня завтра через реку.

— Если послезавтра?

— Будет поздно.

— Сердечные дела?

— Да.

Ковтун полез было за папиросами, но передумал.

— В этих делах всегда не хватает дня или ночи, а то и одной-единственной минуты. — Ковтун, втянувший голову в плечи, напомнил Федаину ночную птицу на пне. — Допустим, опоздал на поезд, и он увез твою долю на край света. Беги, кричи — ничем не поможешь. Быть бы тебе

счастливым человеком, однако нет — минутки не хватило.

— Тут не в одном времени дело. Что-то не по себе мне, Дмитрий Сергеевич. Душно! Мог бы — пешком бы сейчас ушел через эту воду.

Ковтун не перебивал.

— Душно! — повторил Федаин. — Эта вода, что мост свернула, будто в меня вливается.

— Ты, парень, еще и обидел кого?

— Не казни меня, Дмитрий Сергеевич. Переправь через море.

— Что ж... — Дмитрий Сергеевич снова полез в карман. — Завтра утром ты будешь на том берегу. Там тебя встретят — позвоню соседу. Плыть опасно в эту пору, так что сына попрошу. Не из уважения к гостю, а потому, что ты за весь месяц хоть раз человеческой стороной ко мне повернулся. Ну, иди, отдыхай.

* * *

Утром они плыли в густом тумане к невидимому берегу. Туман местами распадался на отдельные белые глыбы, и они высокими островками сидели в воде. Сзади, со стороны села, пробивалось солнце.

На веслах сидел Ковтун-младший в телогрейке и резиновых сапогах, нахохленный и неразговорчивый, как и его отец. На корме свисал в воду лодочный мотор. Ковтун из предосторожности не запускал его.

Лодка входила в туман носом, и он, обтекая борта, сливался позади в белую плотную завесу.

Федаин, кутаясь в плащ, сидел на корме и держал руку на холодном железе мотора. Его продолжало волновать странное участие в нем Елены Максимовны, и обозлившее его, и расстроившее, и заставившее крепко задуматься.

Прислушиваясь к пронзительному скрипу уключин, Федаин вспомнил тот вечер, когда Лилю провожал подвыпивший мужчина, один из немногих ее знакомых. Он был моложе и выше его, Федаина. Они хорошо смотрелись вдвоем. И Федаин почувствовал себя одиноким и ненужным. Мужчина с каким-то робким почтением, даже надеждой смотрел на Лилю, внимательно слушал ее щебетанье. «Старый холостяк», — сказала о нем пренебрежительно Лилия. Это было несправедливо, и еще тогда Федаин по-

нял, что, возможно, он зря мешает Лиле устроиться в жизни. Без него она была бы счастливой.

Ту встречу он не забыл. Ревнуют, когда боятся потерять. Что он мог потерять тогда? Но почему он боится потерять сегодня? Что изменилось за этот месяц?

Федаин, устав от собственных вопросов, нетерпеливо плыл к невидимому берегу, близость которого ощущалась все явственнее: на крутом обрыве жгли костер крикливые ребяташки.

НАС ДВОЕ

— Мне не нравится твой Робка, — сказал отец дочери за ужином. Он держал в руках чашку с горячим чаем и смотрел перед собой.

— Он очень внимателен ко мне, — быстро возразила она.

— Мне не нравится, когда он кладет свою лапу тебе на шею.

— Это модно, папа. Теперь все так гуляют, даже в кино.

— Я видел его недавно с балкона, — отец уткнулся в чашку. — Он бил маленького мальчика. Он так увлекся, что не мог остановиться. Чтобы мальчик не убежал, он держал его за воротник рубашки и часто пинал ногой. Мальчик все же сумел вырваться, но Робка догнал его и снова пнул.

— Наверно, мальчик что-нибудь натворил? — Гульшат растерялась.

— Конечно, какая-то причина была. Перед сильным человеком очень легко провиниться.

— Ты, папа, сгущаешь краски, — дочери хотелось переменить разговор.

— Я не умею прощать в людях две черты: подлость и жестокость. Я не могу видеть его, — с тоской сказал отец.

* * *

На другой день отец попросил Гульшат собираться в дорогу — он хотел навестить престарелых родителей жены. Разговор этот он заводил уже несколько лет, но каждый раз мешали какие-нибудь неотложные дела.

— Через неделю в школу, — предупредила Гульшат. Ехать ей не хотелось.

Но отец был настроен решительно, и, чтоб не расстраивать его, Гульшат согласилась.

Весь день они тряслись в автобусе, пока доехали до небольшого аула, затерянного в лесах на севере республики. Усталая Гульшат поздоровалась за руку со стариками, выпила наскоро стакан чаю и повалилась на широкую кровать за печкой.

Отец долго говорил за чаем со своими тестем и тещей. «О чем можно говорить с такими старыми людьми? — думала Гульшат, поудобней устраиваясь в постели. — Всю жизнь прожили в глухомани, не прочли за эти годы ни одной книги. Да и памяти у них, скорее всего, никакой нет. Не хотела бы я дожить до таких лет».

— Ты б женился, сынок, — говорила старуха. — Мы не обидимся. Трудно Гульшат без матери.

— Без мачехи? — тихо спросил отец. — Нет, пусть она живет вольно, как птичка.

— Якши¹, — одобрил старик и шумно отхлебнул из блюдечка.

— Как же мужчине обходиться одному в доме? — сердито сказала бабушка. — За мужчиной нужен уход.

— Мы уж, сынок, крепкого в доме не держим, не обижайся, — вставил дедушка и снова шумно отхлебнул. — От крепкого чаю хмелеем.

— Этим делом не балуюсь, — сурово сказал отец.

— Якши, — обрадовался дедушка и опрокинул на пол тустак² с чаем.

— Чтоб паралич тебя ударил, — рассердилась бабушка и пошла на кухню за тряпкой.

— Учительствуешь? — спросил дедушка.

— Помаленьку, — ответил отец. — Преподаю детям историю.

— Откуда ты знаешь, что было тыщу лет назад?

— Я знаю, что было две тысячи лет назад.

— Откуда?

— В бумагах записано.

— А если в тех бумагах наврали?

— Записывали надежные люди, проверенные, — отец засмеялся.

¹ Якши — хорошо (башк.).

² Тустак — чашка без ручки (башк.).

— Раз надежные — то ладно. — Дед, помедлив, спохватился: — Да как вы их проверили, через две тыщи лет?

— Прибором, — отец снова засмеялся.

«Серьезнее отца нет человека, — засыпая, подумала Гульшат. — Но почему-то сводит все к шутке, когда заговоришь о его работе. Отчего бы?»

Утром Гульшат, к большому сожалению бабушки, оказалась пить парное молоко.

— Городские дети... — вздохнула она. — Ничего не признают из настоящего. Впрысни им в это молоко какой-нибудь городской отвар — с удовольствием попьют.

До обеда они занялись скучнейшим, по мнению Гульшат, делом — обходили родственников матери. Везде пили чай, много говорили, расспрашивали. Последней они провели очень старую прабабушку. По сравнению с ней бабушка Гульшат, ее дочь, выглядела молодой и красивой. Гульшат во все глаза разглядывала родственницу из прошлого века. Прабабушка аккуратно ела и пила, сама заправляла себе постель, подметала в комнате. И даже кое-что могла рассказать о своей жизни. Год своего рождения она не знала, зато помнила, как вернувшийся с войны отец ее рассказывал о турках и болгарях. Во времена япон-хугыш¹ у нее было пятеро сыновей и одна дочь.

— Сколько у вас было детей? — спросила заинтересованная Гульшат.

— Не помню, — равнодушно ответила старуха. — Кто их считал? Выжило двенадцать. Померли не то десять, не то больше — не помню, кызым².

Они вернулись домой и пообедали. Отец снова говорил с бабушкой и дедушкой. Терпения его хватило надолго — пока размороженный чаем и обильной беседой с ученым зятем дед не стукнулся головой о доски стола.

— Пошли, — сказал отец, и Гульшат, отшвырнув яркий номер «Юности», соскочила с кровати, с готовностью надела туфли и красный плащ.

Они шли поросшей травой улицей, здоровались с просто, но чисто и опрятно одетыми старыми людьми, и Гульшат показалось, что этот глухой, заброшенный среди дремучих лесов аул, покинутый его молодыми жителями, только приснился ей, померещился вместе с этими стариками, что помнят, как их отцы и деды воевали с турками и японцами. Вот сейчас проснется она, потянется к торше-

¹ Япон-хугыш — японская война (башк.).

² Кызым — дочка (башк.).

ру, стряхнет с себя сон и побежит умыться в уютную, отделанную голубой плиткой ванную.

Но сон не проходил, аул со своими старыми, побуревшими от времени и непогоды крышами стоял непоколебимо, будто раздвигая одряхлевшими плечами наступавшие кругом леса. Часто отбегали от гусиных выводков гусаки, злобно тянули шеи и набрасывались на Гульшат, пытаясь ухватить за полу плаща. Она, едва перебарывая в себе желание схватить за руку отца, поднимала с земли прут и отгоняла гусаков. Отец, не вмешиваясь, молча наблюдал. Но когда из какого-то двора, вслед за хозяйкой, вылез грузный, матерый бык, он дрогнул.

— Сними-ка, дочка, свой плащ, — попросил отец, показывая глазами на животное. — Этот синьор может рассердиться.

Гульшат проворно сняла плащ и свернула его подкладкой наружу. Старушка кивнула им и уселась на лавочку, чтоб лучше разглядеть чужих людей, бык покрутил головой, засопел и ушел во двор.

— Вымирает аул, — сказал отец. — Те, что покрепче и помоложе, переселяются на центральную усадьбу колхоза, ближе к дорогам и культуре. Старые не хотят трогаться с места.

— Их не могут заставить, что ли? — спросила дочь.

— Заставить? Человек разве не имеет право умереть там, где он родился и вырос? Эти старики вынесли на своих крестьянских спинах войны, разруху, невзгоды — всю нелегкую историю нашего государства. Они добровольно отдают сегодняшний день своим детям. Но сами хотят совсем немногого — прожить последние дни на земле, вскормившей их.

Серые крыши, поросшая травой и щедро удобренная пометом домашней птицы улица остались позади, и они узкой тропой вошли в лес. Березы вскоре сменились кленом, липой и вязом, пошли буреломы, в лесу стало сумрачно и темно. Притаившийся, настороженный лес испугал Гульшат, она поравнялась с отцом и шла не отставая.

— Удивительный тут лес, — сказал отец. — Сколько его ни рубят местные, быстро восстанавливается. Конечно, если рубить не все подряд. В войну лес аж к крайним домам подходил. Волки, говорят, неделями никого из аула не выпускали, пока двое-трое мужиков с ружьями из района не приедут. Как-то наша мама рассказывала мне, что в одну из военных весен женщины осмелились пойти в район, хотели

шерсть и кое-что из продуктов выменять на соль. Наша мама тогда еще маленькой девочкой была; вот как ты сейчас, шла и держалась за бабушку, ту самую, которая нам про япон-хугыш рассказывала. В район прошли удачно, но на обратном пути за ними стая голодных волков увязалась. Осмелели звери, все ближе подступают. Чуют женщины, не добраться им к родным домам, деткам своим, сбились в кучу, плачут и конца своего ждут. Здесь прабабушка твоя характер показала. Схватила с земли палку, на ружье похожую, и приложила к плечу, будто стрелять собралась. Волки сразу отпрянули. Шагайте по одной, но не бегите, кричит бабка. Женщины гуськом пошли к аулу через этот лес. Бабка возьмет за руку нашу маму, догонит женщин и к волкам обернется, палку к плечу поднимет. Так волки и шли за ними по пятам до крайней избы...

Отец замолчал, тяжело о чем-то задумавшись, и Гульшат привычным своим чутьем поняла, что он сейчас недоумевает, почему мама жила так мало, отчего не передались ей по наследству здоровье и долголетие ее предков.

— Про твою прабабку я не зря вспомнил, — сказал отец, когда они вышли на светлую полянку, от которой еле приметная тропка спускалась к речке. — Жесткий характер был у нее и бабушки. И наша мама была строга, упряма, в чем-то, как она считала, самом главном, была до безрассудства неуступчивой. Первые годы мы часто ссорились, потом она подмывала меня с моим мягким характером, и я только поддакивал ей и во всем соглашался. До нынешнего года мне казалось, что ты уродилась в меня, покладистая была, добрая. Но этой весной в тебе проснулась материнская линия. Неуступчивость, раздражительность, резкость в суждениях, грубость... — отец осекся и поспешно поправился: — Я хотел сказать... упрямство.

Гульшат отстала и пошла сзади. Она сжала губы — отец никогда не обижал ее. Ей захотелось бежать куда глаза глядят.

Отец, стараясь замять свою неловкость, громко заговорил о другом. У речки он замолчал.

Здесь было тихо, будто кто-то подошел к телевизору и выключил звук. Бесшумно раскачивались верхушки ветел, бесшумно бежала вода в русле речки, в узком поле, далеко слева, бесшумно бегал трактор, сталкивая солому в одну большую желтую кучу.

Они спустились крутым берегом, сели на плащ отца и стали смотреть на темную воду. Речка в этом месте делала

крутой поворот и, сверкнув светлыми струями, ныряла в гущу леса.

— Твои уроки не любят, папа, — сказала Гульшат, отодвигаясь от отца.

— Кто сказал? — вздрогнул тот.

— Робка.

— Мне не надо было идти в пединститут, — сказал отец. — Но я люблю историю. Возможно, я плохой педагог... Из учеников слишком мало интересуют мой предмет. В наш космический век больше увлекаются точными науками. Но как можно пренебрегать историей, ведь она — дневник нашей жизни!

— Что интересного, например, в твоей любимой истории древнего мира? — спросила Гульшат отчужденно. — Только воюют. Сегодня защищаются, завтра сами разбойничают в чужих землях. И всегда находят себе оправдание. Красивые легенды слагают, мифы. Если они и занимаются мирным трудом, то лишь для того, чтоб лучше подготовиться к новой войне.

— А искусство Древней Греции, Рима? — удивился отец.

— Искусство прославляло тех, кто больше отличился в военной драке, изображало нагих женщин, чтоб вдохновить будущих «героев». Потом, искусством занимались чудаки, физически непригодные к военной службе, и преимущественно в периоды, когда некуда было девать награбленное.

— Ни от одной из моих учениц я никогда такого не слышал, — снова удивился отец. — Ты просто хочешь досадить мне. Чем я тебе не угодил?

Дочь промолчала.

— Почему-то я всегда боялся этой густой травы, — после долгого молчания сказал отец, глядя на противоположный зеленый берег. — Я впервые побывал здесь еще студентом, наша мама уже работала медсестрой, и мы наконец-то выбрались к ее родителям. Мы ходили сюда каждый день. Мама будто родилась в воде — она плавала в зарослях, ныряла, не боясь запутаться, доставала со дна ракушки, какие-то водоросли. Я всегда боялся за нее. — Отец огляделся и добавил со скукою: — Не люблю я эти места. Мне по душе родина моих родителей. Там горы, хвойные леса. Заберешься на самую высокую вершину — сердцу в груди тесно, будто взлетел над землей и оглядел ее всю.

— Отец... — медленно разжимая губы, сказала Гульшат.

Она впервые назвала его отцом, и он замолчал, съежил-

ся, как, наверное, в те времена, когда с ним властно заговаривала «наша мама».

— Отец, мне трудно быть негрубой, когда я одна, я уже с весны живу одна. Так можно одичать, папа. Где ты пропадаешь?

Отец помолчал.

— Отвечать обязательно? — спросил он.

— Обязательно, — сказала она. — Иначе для чего ты меня привез? Восторгаться отмирающей стариной?

— Я встречаюсь с женщиной.

— С тобой не соскучишься, — поразилась дочь. — Почему не знакомишь меня с ней?

— Тебя это могло ранить.

— Ранить!.. Меня трудно, папа, ранить. Даже когда ты изобразил Робку садистом, это меня не особенно ранило, потому что я в силах перевоспитать его, сделать добрее, лучше, как говорит наша классная руководительница.

— Между нами стоит мама... — осторожно напомнил отец.

— Ну хорошо, — нетерпеливо сказала дочь. — Почему вы не вместе?

— Мы решили соединить наши судьбы, когда я устрою тебя в жизни.

— Они решили соединить свои судьбы... — передразнила дочь. — Из тебя, папа, никогда не выветрится твой любимый Тургенев. Но ты опять не посоветовался со мной. Если я не захочу устраиваться в жизни, тогда как?

— Я не уйду от тебя.

— Дуралей! Извини, отец, но другого слова я не подберу. Жизнь-то одна. Твоя подружка понимает это?

— Гульшат, она гораздо лучше, чем ты думаешь о ней.

— Хорошо бы... Теперь хоть скажи, где ты встречаешься со своей женщиной?

— ...

— В подъезде?

— Ну зачем ты так?

— Вы просто дружите или, пардон, уже живете?

Отец покраснел

— За мою товарищескую откровенность ты платишь жестокостью, — сказал он и поднял на дочь глаза.

— Папа, мне некому высказаться, — возразила она. — Ты у меня один. Я тебя в последние месяцы вижу только перед сном и на переменах.

— Это так, но все же есть рамки...

— Про какие рамки ты говоришь, папа? Где рамки у этой реки, каждую минуту она разная. Почему ты молчал все лето? Ты потихонечку от меня сошелся с этой... не знаю, как ее назвать, эту женщину. Видишь, я уже не люблю ее, как ты не любишь моего Робку. Да, папа, я придумала, как звать ее. Я буду звать ее: мадам!

Гульшат захохотала. Отец повернулся к ней, чтобы сказать что-нибудь резкое, обидное, но дочь, повалившись лицом в траву, плакала, плечи ее судорожно тряслись. Отец смотрел на нее с жалостью: ему показалось, что дочь на глазах уменьшается, ее уже можно поднять, успокоить и, уснувшую, унести на руках домой. С запоздалым сожалением он укорил себя, что завел серьезный разговор с шестнадцатилетней дочкой. Еще он увидел дорогое, но устарелого фасона платье на дочери, его ученицы давно уже не носили таких платьев, оно было куплено весной, на вырост, и дочь — это он разглядел как-то вдруг, сейчас, — сама, немело, подкоротила обнову на руках.

Он отвернулся к реке и старался сосредоточиться взглядом на густой траве, что росла со дна от берега чуть не до середины речки.

— Папа, — сказала дочь, не вставая. — Нам было хорошо вдвоем. Я не хочу, чтоб нас было трое. Не хочу...

— Я бы хотел, чтоб нас было четверо.

— Робка такой же мне товарищ, как Таня, Айсылу, Света. Они придут и уйдут.

— Хорошо, дочка. Нас будет двое. Я ничего не решил, я только хотел посоветоваться с тобой, как с близким человеком.

Он ощутил на ладони ее мокрое лицо.

— Нам пора идти, — сказал он, вставая, и бережно поднял дочь за плечи.

Они взошли на берег, отец обернулся и долгим взглядом обвел речку, противоположный берег, леса и узкое поле, где трактор проворно сбивал желтую кучу соломы в аккуратную скирду.

На полянке отец сам взял руку Гульшат в свою и заговорил горячо и быстро:

— Люди и в старые времена чувствовали так же тонко, как и мы. И воевали они не из одной алчности или кровожадности, а в силу обстоятельств, которые были выше их. Они своей кровью, страданиями возносили человеческое общество к нашему дню. Они хотели и умели создавать великие вещи. Они любили все прекрасное на земле, свой мир

и солнце не меньше, чем мы... И в древние времена умел любить человек. Еще как умел!

Отец замолчал. Успокоившись, заговорил тихо, будто себе:

— В конце седьмого века жил в Херсоне свергнутый и изгнанный с престола византийский император Юстиниан Второй. Он был молод, любил жизнь и остро тосковал по родине и покинутым друзьям. Вечерами он бродил по берегу моря, глядел на возвращавшиеся рыбацьи лодки и вспоминал о земле, что лежала за синим горизонтом. Изредка в город заходили купеческие суда, с них спускались нарядные византийцы в дорогих одеждах. Юстиниан заговаривал с ними, жадно ловил новости. Как-то украдкой ему передали записку, в ней константинопольский друг ободрял бывшего императора и писал, что сторонников у него много и надо терпеливо ждать, готовить удачу. Юстиниан воспрял духом и, повеселевший, умирнял нетерпеливое сердце, с презрением проходя мимо глумившихся над ним херсонцев. «Что ты глядишь в море? — спросил его однажды один из местных жителей. — Лучше бы женился, развел виноградник и давил в свое удовольствие вино. А, ваше императорское величество? — Юстиниан, опустив глаза, слушал подвыпившего херсонца, у которого от сытной жизни лоснились щеки. — И невесту мы бы тебе подыскиали царских кровей. У нашего соседа, могущественного властителя хазар Ибузира Глявана есть хорошенькая сестренка, царевна. Тоже глядит в море, ждет чего-то. Вот и поглядывали бы вдвоем, ха-ха!» Юстиниан плотнее завернулся в плащ, в бессильной злобе сжимая рукоять короткого меча, и молча прошел мимо тучного остряка. «А то женился б на хазарке! — кричал ему вслед херсонец. — И тебе, и нам бы поменьше беспокойства. Глаза-то проглядишь!..»

Но нарядные византийцы, сходявшие с кораблей, уже с таким почтением кланялись Юстиниану, что херсонцы встревожились. «Нам смуты не надо! — сказали они. — Приплывет сюда византийский цезарь, приведет флот и войско, беды не миновать. Отправим-ка лучше ему Юстиниана, пусть они в Константинополе меж собой еще раз поговорят, может, поладят, может, подерутся — это их дело. Мы встречать не будем». Верный человек предупредил Юстиниана, и он ночью бежал в хазарскую крепость. Каган любезно встретил изгнанника. Скоро Юстиниан увидел царевну. Не красота хазарки поразила его — красавиц много видел он и на своей родине. Он увидел на ее лице доброту и сострада-

ние, извечно присущие женщинам, когда они встречаются на своем пути гонимых и преследуемых людей. Изгнанник был к тому же молод и хорошо сложен. Он говорил мягко и красиво и ходил быстрым, упругим шагом. Вокруг царевны мельтешили молодые сородичи кагана, грубые, резкие люди, изъяснявшиеся больше жестами, ненасытные в утехах и неприлично много поглощающие пищу и вино на семейных трапезах. Царевна бледнела, когда на нее смотрел молодой византиец, и боялась теперь только одного: вдруг этот молчаливый, все время о чем-то думающий человек так же внезапно исчезнет, как и появился.

Каган хитро усмехнулся, выслушав влюбленную сестру. «Он мне сказал то же самое, — властитель задумался. — Но что скажут там, за морем? Не хватало мне еще поссориться с Византией, когда мои руки связаны арабами. Ну что ж... Ты согласна, как того требуют законы византийцев, принять христианство?» — «Согласна, брат», — ответила царевна. И скоро она, откинув свое языческое имя, уже Феодорой уехала с мужем в крепость Фанагорию. Счастливые молодожены поселились на берегу моря, но Юстиниан вскоре снова с надеждой и тоской стал глядеть в сторону родины, туда, где вечерами уходило в море солнце. Нарядные византийцы плыли к нему и без утайки встречались в доме зятя хазарского властелина. Византийский цезарь встревожился не на шутку и попросил кагана выдать ему Юстиниана живым или мертвым. «У нас один враг, — сказал он через своих послов, — это воинственные мусульмане, что бесчисленно идут из своих пустынь. Их тела и души закалены постом и молитвами, они сметают и жгут все на своем пути, они хотят пройти мечом до Урала и студеных, северных морей. Они уничтожат меня и тебя, от народов наших не останется ничего, кроме могил и глиняных черепков. Так неужели мы поссоримся и ослабим наш союз из-за одного византийца, что сеет смуту в моем государстве?» Каган не ответил послам, он уединился и думал в своем дворце, даже красивых полонянок, что прислали ему ханы с Кавказа, он не принял. Наконец послал он в Фанагорию своего человека и правителя Боспора со стражей, приказав им убить византийца. Феодора разгадала коварный замысел брата. «Беги, мой муж! — сказала она Юстиниану. — Я буду ждать тебя, покуда в небе горят звезды, покуда я смогу дышать. Беги!..»

Юстиниан, сдерживая гнев и отчаянье, уплыл ночью в море на рыбацкой лодке. Он оглядывался на темный таман-

ский берег, ловил глазами звезду, что светит ярче всех и которой поклоняются влюбленные, и знал, что в эту минуту на нее смотрит и его юная жена. Семь долгих лет ярко горела звезда любви для Юстиниана и Феодоры, ни на миг не разлучая их, но и не соединяя. Семь долгих лет море разделяло их, и Юстиниан, борясь за свой утраченный престол, искал не только власть, но и свою царевну. Победителем въехал Юстиниан в родной Константинополь и при ликующих криках друзей и единомышленников уселся на вновь обретенный трон. Уладив срочные дела государства, Юстиниан собрался ехать за своей женой. Помня вероломство кагана, он снарядил большой флот и поплыл через море. Каган, пышно встретив его, напомнил: «Не я ли приветил тебя, чужестранец, семь лет назад, одного, беззащитного. Зачем ты пугаешь меня своим флотом? Твоя Феодора стала плоха зрением: днем глядит за море, ночами что-то выискивает на небе. Моя сестра подарила мне племянника, а тебе сына. Звать его Тиверием. Бери их, цезарь, увози к себе домой. И помни: совсем неумоготу стало от мусульман на твоих и моих границах».

Юстиниан отплыл в тот же день в море со своей семьей. Маленький сын стоял на корабле между мамой и могущественным отцом и смотрел на приближавшуюся новую родину. «Я б тебя ждала, даже если б погасла наша звезда, — шепотом призналась Феодора. — А ты?» Византиец обернул к жене усталое, изможденное лицо и ответил: «Так много было вокруг врагов, которые гонялись за моей жизнью, как голодные собаки, что мои друзья не устают удивляться, откуда я черпал свои силы, из какого тайного колодца... Если б даже погасли все звезды, арабы завоевали мир и прогнали людей к студеным морям, и тогда бы я пересек море вплавь и нашел тебя...»

Этой истории скоро будет тысяча триста лет, но она волнует меня так, будто случилась в прошлом году, — сказал отец доверительно.

Темнота обступила их так плотно, что Гульшат не различала в лесу отдельных деревьев. Она взялась за руку отца, который безошибочно угадывал невидимую тропку. Тот замолчал, будто в классе, ожидая вопросов. Но Гульшат затихла.

Они легли спать рано и встали на рассвете. Утром отец с дочерью попрощались с родственниками и уехали на попутной машине из этого глухого лесного угла. Гульшат расставалась с родиной матери легко, без сожаления, отец же молчал и смотрел на узкую избитую дорогу без выражения на лице. На мостике через речку он ожил, всматриваясь в бстонные плиты, наверно ища и не находя следов старого свайного моста, каким он помнил его много лет назад.

Отец выглядел постаревшим, будто пробыл в этих лесных краях лет пять, не меньше. Больше он ни о чем серьезном с Гульшат не говорил.

Увидев белую двенадцатэтажную башню своего дома, выходявшего задней стеной в парк, Гульшат обрадовалась и побежала вперед. Отец видел, как к ней выбежал из подъезда Робка, в очень тесных джинсах и короткой рубашке, и властно положил руку ей на плечи. Гульшат резко отбросила руку и сказала парнишке что-то хлесткое, злое. Робка, будто обжегшись, отшатнулся, долго смотрел ей вслед и, сникнув, поплелся мимо дома в парк.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Заур осторожно вел машину по мокрой от прошедшего дождя грунтовой дороге. Справа ее прижимал высокий хребет, который отсюда, снизу, казался высоченным и будто упирался верхушками лиственниц в чистое небо. Слева шумела горная речка, вздувшаяся от щедрых потоков, стекавших в нее отовсюду. Солнце ушло за хребет, наверху костром полыхала каменная громада одинокой скалы. Внизу, на берегу реки, было тихо и пасмурно.

Поселок открылся внезапно: он раскинулся белыми шиферными крышами в узкой ложбине, здесь круто обрывался лесной хребет, чтобы снова уйти к небу по другую сторону распадка.

Заур выбрался на щебеночную дорогу, проехал мимо магазина, конторы дорожного управления и повернул к белому коттеджу.

Он открыл ворота и въехал в поросший травой двор. На

крыльцо выскочила девочка в красном трико. Она закрыла ворота, подбежала к машине и заглянула в кабину.

Заур смотрел на пустое крыльцо.

— Мама очень ждет вас, — сообщила девочка. — Вы почему так поздно?

— Дорога после дождя раскисла. — Заур благодарно улыбнулся.

— Если вы разрешите, я оставлю свою лошадку ночевать в вашем дворе, — привычно шутил Заур, украдкой поглядывая на окна.

— Одинокому путнику у нас всегда найдется местечко, — поддержала шутку девочка. — Даже вашей лошадке.

Заур вылез из машины и огляделся. Двор, берег реки и склоны хребта густо поросли сочной зеленой травой. После знойного, пыльного города Зауру было странно здесь. «Если б у меня был настоящий конь, верный, чуткий, — с сожалением помечтал он, — сейчас бы кинул в траву седло и на всю ночь отпустил коня в эти зеленые просторы».

Он ступил на крылечко, неуверенно перешагнул порог и прошел в кухню. У раковины стояла высокая женщина и чистила картошку. Заур видел пышные черные волосы и по-спортивному развернутые плечи.

— Опять приехал? — спросила она, не оборачиваясь.

— Опять, — сказал он, подойдя близко к ней, и осторожно обнял ее плечи.

— Я думала, ты уже не приедешь, — женщина все еще не оборачивалась.

— Дорогу развезло, — пожаловался он. — Кое-где приходилось ехать с открытой дверцей.

— Это зачем?

— На случай, если машина сползет в реку. Под водой дверцу не откроешь.

— Сидел бы в своем аквариуме и ждал утра.

— Моим легким не хватит кислорода. Меня вот что рассердило: в вашем поселке находится дорожное управление, но дорогу от шоссе делать не хотят. Ты б подсказала — все же начальник планового отдела.

— Мы строим дороги к элеваторам, соединяем центральные усадьбы колхозов. А эти, как их... любовники подождут.

— Ты хочешь, чтоб я уехал? — враждебно спросил Заур.

— Не хочу, — сказала она быстро и повернулась. В руках она держала картофелину и нож.

Он дотронулся пальцами до высокой шеи, огладил удлиненное лицо с коротким, вздернутым носом и вспомнил, будто обжегся, вопль матери: «Что ты нашел в ней, сынок!»

Он опустил голову.

— Ну вот, обиделся? — испугалась она.

* * *

Утром они сели в лодку и поплыли вниз. За поселком река круто поворачивала вправо. На перекате Заур проворно работал веслами, направляя лодку меж выступавших из воды валунов.

Сазид сидела на корме и молча оглядывала крутые берега. Она избегала встречаться взглядом с Зауром. Он давно заметил, что при дочке Сазид держалась с ним подчеркнуто сдержанно и хмуро. Зато он хорошо помнил, какими сильными и гибкими становились ее руки наедине с ним...

Клара с нетерпением дождалась, когда река снова войдет в свое широкое, глубокое русло и лодка почти встанет в спокойной воде.

— Давайте я буду грести, — попросила она, вставая со скамейки. — А вы будете рассказывать.

Заур сел на ее место и заглянул в черные, широко раскрытые глаза девочки.

— Про границу... — попросила она.

— В нашем дворе жило много собак, — начал с удовольствием Заур и поглядел на корму. Сазид ответила ему быстрым, ласковым взглядом. — Местные власти не обращали на них никакого внимания, собаки, понятное дело, платили им тем же. Никаких пособий или продовольственных карточек эти дворняги не получали, а кушать им хотелось. Кроме того, каждая из них мечтала, чтобы у нее был хозяин, которого бы она охраняла. Видимо, на одном из своих собраний они поделили хозяев между собой. Я достался большой рыжей собаке, которую за длинные мохнатые уши я прозвал Лопухом. Эта собака провожала меня до работы и бежала обратно к дому. Если кто-то входил в подъезд, Лопух шел следом, чтобы схватить незнакомца, если он будет ломиться в мою квартиру. Вечером он встречал меня, провожал до дверей и сидел у порога всю ночь. Я, как всякий порядочный человек, вынужден был поставить на питание непрошеного сторожа. Однажды я пригласил его в свою квартиру, но Лопух заходить отказался. Он был воспитанным псом. На нашей площадке у всех трех квартир сидели собаки и ры-

чали, если кто-то из них переходил черту. Если по дороге на работу ко мне пыталась подойти чужая собака, Лопух кидался на нее как полоумный.

— Это правда? — деловито спросила Клара.

— Правда. Когда я погрузил чемоданы в автобус и поехал в аэропорт, Лопух бежал за машиной, покуда у него хватило сил. Я пожалел, что не отправил вещи пораньше, тогда бы он решил, будто я уехал на работу.

— Нет, вы про людей расскажите, — потребовала Клара, опуская весла. — Про маленьких и больших.

— Еще у меня была подружка, маленькая девочка с черными глазами. Дети часто проникали к нам на стройку через забор. Однажды ко мне подошла девочка лет шести и стала дергать меня за штанину. Я наклонился к ней, улыбаюсь. А она лепечет: «Сэр...» и протягивает лапку. Я полез в карман, нашарил тяжелую серебряную монету и отдал. Девочка сунула денежку за щеку и убежала. Я так и думал, что она купит себе сласти на местном базаре. «О, нет! — сказал мне чернобородый слесарь из моей бригады. Он год учился у нас в Союзе и довольно хорошо говорил по-русски. — Она ничего не купит. Она отдаст деньги матери». Потом ко мне подошли мальчишки, стали просить: «Сэр, мани...» Я раздал всю мелочь.

Через несколько дней чернобородый сказал мне: «Мастер, это бесполезно. Их очень много...» Я перестал брать на работу мелочь, но для девочки с большими глазами я все два года делал исключение. Я и теперь часто думаю о ней. Наверняка она приходит на стройку и ищет своего «сэра» в просторных брезентовых штанах. Я хотел передать шефство над ней своему преемнику, но как растолковать новичку из Союза столь деликатное дело? В общем, я так и не решился.

С чернобородым я крепко подружился. Бригадир у них считается шефом, то есть начальником, ходит в чистой одежде, при галстукке, ему даже полагается чикидар, вроде ординарца, который кипятит чай и бегаёт за сигаретами. Захочется ему отдохнуть, чикидар тут как тут — подставляет парусиновый стульчик. Мне смешно было глядеть на их обычаи. Я сразу переоделся в рабочую одежду и от своей бригады ни на шаг. Чернобородому все это понравилось, но он предупредил, что рабочие в бригаде перестанут меня уважать. Однако чернобородый тут промахнулся — работы там, как и везде, не по одежде человека судят, а по его работе. Но и у меня одна осечка вышла, — Заур теперь го-

ворил, глядя на корму. — Я сразу начал внедрять все наши достижения, например, укрупненную сборку металлоконструкций. Если колонну собираем, то всю работу я делаю на земле. Потом эту махину ставим краном на фундамент, и никакого беганья по лесам, никаких несчастных случаев. Весь монтаж делается, конечно, много быстрее. Хорошо вроде? Оказалось, нехорошо. Рабочие мне осторожно подсказывают: вот мы вдвоем быстрее объект строим, значит, нам скорее выдадут расчет. А куда нам потом деваться? Кто семьи будет кормить, или вы хотите, чтоб наши дети собирали мелочь?

Я растерялся. Что делать, не знаю. Меня всю жизнь учили, что надо строить много и быстро, сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. А тут ерунда какая-то. Стараешься для них же, а им это, оказывается, ни к чему, только простой народ подводишь. Думал я, но ни до чего не додумался. Решился и зашел домой к нашему главному специалисту, умный такой мужик, из Баку. Рассказал ему обо всем. Как быть дальше, товарищ Азимов? — спрашиваю. Помолчал он, седые виски потер. Потом ушел на кухню, чаю вскипятил. Пьем чай, молчим. «У тебя поэтапный график монтажа имеется?» — спрашивает наконец Азимов. «Не имею, но меня знакомили, — отвечаю. — Сроки наизусть знаю». — «Придерживайся этого графика неукоснительно, — говорит Азимов. — Особенно по части сроков. Вы меня поняли, товарищ Муфтиев? Если не поняли, то приходите через полгода». Через полгода я и не подумал наносить визит своему шефу — сам многое понял. Азимов как-то объезжал комплекс, повстречал меня, отвел ото всех в сторону и спрашивает с хитрецей: «Мистер Муфтиев, график соблюдаете?» Я ему четко рапортую, тоже на местный манер: «Ол-райт, шеф!»

Когда чернобородый узнал, что я, рабочий, запросто ходил в гости к самому главному шефу, он выкатил на меня глаза и только головой покачал. «В вашей стране рабочие никого не боятся. Они разговаривают со своими шефами просто, будто товарищи. Я это видел. Но ходить в гости к самому главному шефу, почти министру... Я это не понимаю. А ваши женщины! Они так много знают и вовсе не боятся своих мужей. Видно, оттого, что они наравне с мужьями несут домой зарплату...»

Но еще больше чернобородого удивляло другое. «У вас любят детей! — с восторгом говорил он. — Они живут как маленькие шефы. Ваши писатели специально для них пишут

книги. Дети у вас не мрут от болезней, и если даже такое случится, никто не скажет: слава аллаху, что он избавил нас от лишнего рта».

Чернобородый хорошо говорил о моей родине, и я охотно обучал его сварке и резке металлов, учил собирать конструкции по чертежам.

Скоро моего чернобородого не стало на объекте. Мне рассказали, что он, выучившись у русского специалиста, стал величаться мастером и уехал по контракту в богатую нефтью страну. Там ему будут платить в пять раз больше. Мне же дали другого помощника, он умел очень мало, но самое главное, не знал русского языка, и я заскучал.

Клара задумчиво гребла, направляя лодку к отлогому берегу, за которым лежало узкое поле с островками высокой крапивы.

Заур смотрел в большие черные глаза Клары и вспоминал ту девочку, что, опуская голову, всовывала монету за щеку и ныряла в дыру в заборе. Еще один случай врезался в его память, но вспоминал о нем Заур со стыдом. В один из выходных дней он выбрался на первую свою заграничную рыбалку. Он прошел мимо буйвола, что лежал в воде, спасаясь от мух, и сонно следил за берегом. Казалось, из воды торчат рога и меж них плавают пара круглых глаз. Заур кинул рюкзачок на землю, снял туфли и с наслаждением ступил в воду. На пригорке, будто из-под земли, выросли ребятишки, на младших не было даже набедренных повязок. Они внимательно наблюдали за чужаком. Заур по опыту уральских рыбалок решил прикормить рыб и высыпал в воду из полиэтиленового мешка сухие куски хлеба. Мальчишки сорвались с пригорка и один за другим кинулись в канал. Заур растерянно смотрел, как мальчишки выбирают на берег и поедают хлеб. Видимо, они решили, что иностранец забавляется с ними. Заур вытащил из рюкзака припасенный ужин, поделился с ребятами, но рыбачить ему расхотелось.

Заур вечерами ходил в библиотеку и читал книги об этой азиатской стране. Многое он понял сам, о многом узнал из бесед с чернобородым и советскими коллегами...

...Они оставили лодку внизу и поднялись на высокий, поросший сочной травой берег. Редкими островками вздымалась вверх густая жгучая крапива. Влево и вправо вдоль воды разбегались двумя правильными рядами высокие бледно-зеленые тополя.

Заур собрал сухие ветки и начал раскладывать костер.

Сазиды с дочкой ушли к ближней горе. Вернулись они не скоро — Заур успел вскипятить чай в ведерке. Обе несли в руках букеты душицы и зверобоя. Лицо Сазиды было усталое, но счастливое. Она улыбнулась Зауру из-за плеча дочери.

Клара опустила на колени и, улыбаясь, разложила на куртке букет свой и матери. Заур взглянул в оживленное лицо, вспомнил сетования Сазиды: «Живем в селе, а ничего не видим. Дочка трав не различает. Вдвоем же не уйдешь в горы...» «И дочерям, видать, отец нужен не меньше, чем мать», — подумал он.

Клара пить чай отказалась и ушла побродить по лугу. Она медленно удалялась и вскоре пропала в высоких травах.

Сазиды провожала взглядом фигурку девочки долго, пока могла видеть ее.

— А ведь здесь ее родина, — сказала она, поворачиваясь к Зауру и поправляя на коленях платье.

— Где это здесь? — оглянулся вокруг себя Заур, пытаясь хоть по каким-то признакам обнаружить следы жилья.

— На этом лугу стояла наша деревня, — Сазиды пристала. — Назывались мы отделением совхоза. Весной и осенью мы не могли выбраться в район и сидели тут, как в норе. Дети не ходили в школу. Места тут, сам видишь, чудесные, но глухие. И люди побежали в большие села. Когда Клара осиротела, мы с ней двинулись в Ак-Тау. Заур, ты никогда не спрашиваешь про мою жизнь, про Клару. Неинтересно?

— Если хочешь — рассказывай. Не хочешь — я никогда не спрошу.

— Думаешь, Клару нагуляла?

— Да наверное. Не сама же она пришла...

— И у меня, Заур, была своя жизнь. Не такая, как эта поляна теперь, пустая да крапивой поросшая. Я приехала сюда после окончания финансового техникума и почти сразу, уже осенью, замуж выскочила. Если б он был урод, или пил, или гулял — мне бы больше повезло. Мой муж оказался по-настоящему жестоким человеком. Он никого не трогал, но деревня его боялась. И ростом-то муж был невысокий... Он меня ни разу не ударил за все пять лет, говорил со мной тихим голосом, но у меня сжималось сердце, когда я смотрела в его глаза, поджатые губы, они у него тоненькие были, в ниточку. Но он редко показывал

свой характер, старался сдерживаться. Только я все равно чувствовала, что он злой, жестокий человек. Наверное, потому у нас долго не было ребенка. Когда наконец Клара появилась, я боялась одного — чтоб девочке не передался отцовский характер.

Однажды я гуляла за деревней, у той вон горы. Клара спала в коляске. И вот с горы спустились двое подвыпивших мужчин — потом я узнала, что это были рабочие соседнего леспромхоза. Видать, они шли в нашу деревню за водкой. Они стали приставать ко мне. Я за коляску и к деревне. Мужчины идут за мной и говорят непристойности. Впереди, между мной и деревней, небольшой кустарник. Хоть бы миновать его, думаю. А мужчины по пятам идут. Чем кусты ближе, тем нахальнее. Когда я с кустарником поравнялась и уж не знала, чем все это кончится, из кустов выскочил мой муж. Он шел напрямик, чтоб меня встретить. Увидел он моих обидчиков и сразу кинулся на того, что повыше ростом и крепче, сбил с ног, потом второго мужчину ударил кулаком в голову. Тот упал, ногами дрыгает, вскочил было на ноги, а тут муж снова его кулаком в голову, он и пустился бежать, товарища бросил. Мужу, видно, того и надо было. Вернулся он к высокому и начал с ним биться. Высокий вначале не испугался — муж-то мой на голову ниже его. Но потом понял, что драка нешуточная, стал больше о себе думать, голову локтями прикрывал. Из гордости он не побежал за товарищем, а потом уже не смог. Муж бил его руками. Когда уставали руки, пинал ногами. Я откатила коляску подальше, вернулась и стала просить мужа, чтоб он отпустил этого несчастного мужика. Муж отодвинул меня левой рукой, сам глаз не спускает с высокого, тот, может, решил, что мучения его кончились, и отнял локти от лица. Муж ударил его кулаком в переносицу. Высокий упал, кровь у него горлом пошла. А муж поднимает его и снова бьет, опять в голову. Я от страха и слез все силы потеряла, не могу мужа оттащить. Высокий на меня смотрит, глазами молит, а в них — тоска смертная. Не помню, сколько муж бил его. Наконец муж отвернулся от высокого и пошел со мной к коляске. Меня всю трясет. «Если его не пожалел, то меня-то за что мучил, заставил смотреть на это убийство?» — спрашиваю его сквозь слезы.

Уже вечером, успокоившись, спросила я мужа: «Зачем ты его так? По-зверски зачем?» — «Потому что подонок он, — муж отвечает. — Приставать в поле вдвоем к без-

защитной бабе, да еще с грудным ребенком, могут только подонки». — «А закон для чего? — спрашиваю. — Их нет, а закон должен наказывать». — «Закон? — смеется муж. — У нас мягкие законы. Если б они с тобой что-нибудь содеяли, дали б им за злодейство пять—восемь лет. Такое наказание подонков не пугает. А вот я мозги высокому вышиб, так теперь ни одна леспромхозовская пьянь близко к нашей деревне не подойдет». — «А если этот высокий умрет от побоев?» — «Пусть, — отвечает муж. — Одной бешеной собакой будет меньше».

Когда Клара появилась, я меньше стала бояться за себя, боялась больше за семью. Чуяла, не кончится наша жизнь добром. «Сгубит тебя твое зло», — набравшись смелости, говорила я иной раз мужу. Он смеется, а губы все равно в ниточку.

Ну вот, семь лет назад встретил он в горах медведицу с медвежонком. Как был, с одним топором, погнался за ними. Медвежонка догнал, связал веревкой и домой притащил. Дважды по дороге от медведицы топором отмахивался. Притащил он медвежонка домой, довольный, за стол сел. Я упрашивать мужа: отпусти зверя в лес, медведица ведь видела, куда ее дитя привели. И соседи говорили мне, что худо это кончится. Никого не послушал муженек, увез и сдал медвежонка в охотничье хозяйство. На другую ночь медведица задрала нашу корову. Я боялась выпускать Клару во двор. И сама только днем из дому выходила. Муж сильно рассердился за корову, взял топор и пошел разыскивать медведицу. Конечно, не нашел. На второй день снова ходил, и снова без толку. Я перестала его уговаривать. «Что хочешь, то и делай, — сказала я ему. — Ты никогда не считаешься со мной. Я нужна тебе как баба и прислужница — и только. Тебе не нужен друг в жизни, потому как ты сам медведь-шатун». Жалела потом я об этих словах. В тот же вечер он возвращался с реки, топор оставил в лодке, и медведица подкараулила его. Нашли моего мужа растерзанного, без головы. Сколько ни искали по кустам да в траве, так и не нашли голову. Хоронить было стыдно...

— Горевала? — спросил Заур.

— Горевала, конечно. Все-таки отец моей дочке. А с другой стороны, пришло ко мне какое-то облегчение. Будто задышала полной грудью. Осенью продала дом, хозяйство и уехала в Ак-Тау. Была бы одна — уехала бы в город. А с Кларой не хочу мыкаться по чужим квартирам.

— Шепчетесь? — спросила Клара, вынырнув из травы. — А я змею видела, но вовсе не испугалась. Заур, ты обещал свезти нас на Каменный остров.

— Клара, не называй Заура на «ты». Я ведь тебе говорила, — Сазиды холодно оглядела дочь. — И второе: он тебе дядя Заур.

— Хорошо, мамочка, — быстро согласилась Клара. — Но и ты называй его на «вы». А насчет дяди... Какой он мне дядя, если у нас разница в десять с небольшим лет?

Сазиды растерялась и подняла глаза на Заура.

— Поплыли к острову, — повелительно скомандовал тот, поднимаясь. — Растрещались, сороки!.. Чтоб через пять минут сидели в лодке.

* * *

Он уезжал в воскресенье после обеда. Сазиды проводила его до развилки, где у реки сходились обе дороги из поселка.

— Как быстро пролетели эти два дня! — сказала она, выбираясь из машины. — Теперь опять гляди на дорогу... Когда приедешь, Заур?

— Опять, наверное, в пятницу вечером. Если ничего не случится.

— В этот раз обязательно приезжай, — попросила Сазиды, касаясь плечом Заура. — Мы с Кларой кое-что приготовим к твоему юбилею. Четверть века все-таки...

— Ах, черт! — удивился Заур. — Вовсе забыл про свой день рождения. Обязательно приеду. Если не получится в пятницу, то проведу вас в субботу. В воскресенье придется с утра уехать — мать с отцом тоже захотят поздравить.

— А если они тебя не отпустят?

— Как это можно не отпустить взрослого человека? — улыбнулся Заур. — Сяду и полечу к тебе.

Он привлек ее к себе. Сазиды выставила локти.

— Твоя мама обязательно что-нибудь придумает, чтоб не отпустить тебя, — предупредила она с тревогой.

— Если что-то случится, я приеду в следующую пятницу, — он крепко держал ее за талию. — Не понимаю, чего ты боишься.

— Все против нас, — Сазиды убрала локти и приникла к Зауру. — Если даже мои соседи осуждают меня, что говорить о твоей маме. Ну разве я виновата, что родилась

раньше тебя? И зачем мы встретились тогда в аэропорту? Во всем виновата твоя доброта — если б ты не кинулся помогать нам с Кларой переносить чемоданы, я б спокойно жила в своем Ак-Тау, а ты б по выходным дням не гонял машину за двести километров.

— Аэропорт ни при чем, — мягко ответил Заур. — Там было много нагруженных женщин, однако я не к ним кинулся, а только к тебе.

— Люди зря на меня сердятся, — не слушала Сазид. — Я хочу так мало: лишь изредка видаться с тобой. Когда человек несчастлив, все его жалеют, хотят как-то помочь. Это не от добра, Заур. Просто всем приятно знать, что рядом живет человек, которому много хуже, чем им. Вся их жалость, доброта — это отрывка их эгоизма. Зато посмотри — мне хорошо, а их корезит: почему это к вдове с ребенком приезжает молодой человек, разве мало на свете девушек? Чем больше живешь, тем меньше любишь людей. Человек — самое эгоистичное, недоброе существо на земле.

— Не все такие, Сазид. Не поддавайся настроению. — Заур поцеловал женщину в мокрые щеки и легонько толкнул: — Иди.

Она послушно пошла к дому через луг. Заур смотрел, как нехотя удаляется женщина, ссутулив тонкие, минутами назад прямые плечи, и еле удержался, чтоб не вернуть ее.

Возле своего коттеджа женщина обернулась и, не вскидывая руки, стала смотреть через луг в сторону машины.

Заур помахал рукой, но женщина не шевельнулась.

Он сел в машину и поехал вдоль реки. «Так ждешь выходных дней, — думал он, осторожно объезжая выбоины на дороге. — Но почему с каждым разом все тяжелее уезжать от Сазиды? И почему он не умеет жить, как другие, сегодняшним днем, не заглядывая в день завтрашний? Если забегать вперед, то там ничего хорошего меня не ждет».

В мае он привозил Сазиду с дочкой к своим родителям. Все вышло не так, как мечталось. «Заур, — заплакала мать. — Ты рос глупым, доверчивым ребенком. Ты всех жалел, кроме себя. Оглянись кругом — разве нет в нашем городе красивых девушек? Я могу простить ей дочь, но мои глаза никогда не простят ей двенадцать лет разницы. Если ты не понимаешь этого, то она, женщина, должна знать. Она даже не красавица, твоя Сазид — обыкновенная баба, уставшая от жизни. Мне кажется, ей все безразлично, даже ты. Ты же, сынок, из хорошей, уважаемой в городе семьи,

твой отец — заслуженный строитель. Сам ты съездил за границу, хорошо себя показал, у тебя машина, кооперативная квартира, как только ты женишься, мы отдадим тебе дачу — зачем она нам, старикам?»

Заур потерянно слушал мать.

— Ты посмотри на своего отца, — безжалостно продолжала она. — Он без меня как без няньки. А я моложе его на четыре года. Что с ним будет дальше? Если я вдруг уйду раньше его — он зачахнет через три дня. Мужчина не может жить один. Вот и смотри: тебе будет сорок восемь, а ей все шестьдесят. Ты будешь ей нянькой. Понимаешь, сын?

Заур в тот же день увез Сазиду с дочкой в Ак-Тау. Вернулся он на следующий день и сразу же заперся с отцом в его кабинете.

— Я не хочу осуждать тебя, — откровенно признался отец. — Это твое, только твое личное дело. Но меня сильно смущают эти двенадцать лет. Да-а, очень сильно...

— Я не хочу загадывать вперед, когда ей будет сто лет, а мне всего восемьдесят восемь, — начал Заур. — Жизнь не поделишь на клетки, как расписание пригородных электричек. Я знаю иное: ни с одной другой женщиной у меня не будет счастья.

— Хорошо, — задумчиво, как бы соглашаясь, сказал отец и несколько раз провел ладошкой по сухой, лысой голове. — Ты красиво говоришь про свое счастье. Я о другом, сын, хочу поговорить. Вчера, после твоего отъезда, у мамы был сердечный приступ. Вызвали «скорую», обошлось без больницы. Но я боюсь, что твоя женитьба на этой немолодой женщине, я говорю к тому, если ты надумаешь жениться на ней... нашей мамы не станет...

У отца запрыгали губы, и Заур, готовый к по-мужски жесткому разговору с отцом, растерялся.

Он уехал к себе. Впервые испытанная им жалость к отцу расстроила его.

Заур пошел к друзьям. Но они, выслушав, прятали глаза, говорили нечто неопределенное. Один из друзей выдал совет жениться на ровне, а жить, мол, там, в горах, душой.

— А телом где? — мрачно спросил Заур.

— Каким телом? — не понял друг.

— Телом, говорю, где жить? В городе?

— А, телом... Хорошо бы, конечно, тоже в горах. Извини, Заур, запутался. Нас ведь, сам помнишь, не учили в школе решать такие задачи.

И зачем было идти к друзьям? Они не знают Сазиду.

В то же время, если б к нему год назад пришли с этой «задачей», и он бы растерялся, а про себя покачал головой: чудак, мол, ты, друг ненаглядный.

Заур выбрался на шоссе и помчался к городу, твердо решив про себя не расстраивать родителей разговорами о женитьбе на Сазиде. Он будет ездить к ней до тех пор, пока дышит.

* * *

В пятницу утром Заур пришел на работу очень рано, в праздничном настроении. Сразу после работы он рассчитывал забрать машину, которая стояла в гараже отца, и ехать в Ак-Тау.

Заур вышел на крыльцо бытовки и глубоко вдохнул чистый, отстоявшийся за ночь, воздух. Молчали краны, трактора и лебедки. Их массивные железные туловища легко отдавали утреннему солнцу ночную прохладу.

Через полчаса площадка взорвется шумом заработавших механизмов, скроется в пыли и облаках выхлопных газов, и Заур до вечера будет мечтать о глотке свежего, чистого воздуха.

Нефтеперегонная колонна, вытянувшись во всю длину и мощь, пересекала площадку, едва не упираясь головкой в заводскую ограду. Основание ее было подтянуто к фундаменту, ошестинившемуся анкерными болтами.

Заур оглядел колонну со всеми ее площадками для обслуживающего персонала, с наверху задвижками и клапанами, предвкушая минуту, когда эта стальная машина, понуждаемая подъемными мачтами, лебедками и кранами, выпрямится во весь свой рост и сядет на анкерные болты. Про себя он сравнивал этот момент со спуском корабля на воду. Вот только жаль, что не принято праздновать подъем колонны. Ребята, конечно, отметят это крупное для бригады событие, но официально это важное событие — подъем такой машины, которую изготовили, привезли по воде и собрали на площадке сотни рабочих самых разных специальностей, — почему-то торжественно не отмечается.

Со стороны действующих цехов завода выскочил «газик» главного инженера управления Фаизова.

— Добрый день, Заур Акрамович, — Фаизов одобрительно оглядел бригадира и протянул ему руку. — Рано встаешь — молодец. Как настроение?

— Бодрое, — серьезно ответил Заур. — Хочу порадовать родное управление и трест еще одной трудовой победой: поднять сегодня эту красавицу. На целую неделю раньше срока! Так что, Нур Фаритович, слово свое мы сдержали.

— Хвалю! — вяло улыбнулся Фаизов. — Но сегодня, дорогой, неувязка вышла. Я у тебя автокран заберу на денек.

— Привет! — ахнул Заур. — А мы куда?

— Готовьте к подъему следующую колонну. Или займитесь уборкой рабочей площадки. Вон сколько металла раскидали...

— А мы потеряем еще сутки? Какой же это скоростной подъем, Нур Фаритович?

— Ничего не поделаешь. Кран нужен на водозаборе. Там бригада третий день простаивает.

— Нур Фаритович, дайте поднять колонну сегодня. Помогите бригаде хоть один рекорд в жизни поставить.

— С этими вашими рекордами... — Фаизов оглядел Заура из-под седых бровей. — Избаловал вас Будылин. Лучшую технику — Муфтиеву, хороших сварщиков — ему же, оборудование идет в первую очередь — опять тебе. При таких идеальных условиях все могут бить рекорды. А ты вот без крана подними эту дуру. Тогда все поверят в твой рекорд.

— Хорошо, я попытаюсь.

— Ты и в самом деле попытаешься, — встревожился Фаизов. — Не вздумай ловить меня на слове.

— Нет, я сделаю по-другому, — вслух решил Заур. — Не отдам кран.

— Я с тобой не шутки шучу, — Фаизов, нагнув голову, смотрел на Заура.

— Не отдам.

— Накажу.

— Это ваше дело.

— Больно ты самостоятельный, — огорчился Фаизов. — Ничего и никого не боишься. Машину привез, квартиру купил, материально обеспечен. Прижать тебя нечем. Тылы крепкие...

— Верно, Нур Фаритович. У меня тут один стимул — производственное честолюбие.

— Потому и хочешь во что бы то ни стало поднять сегодня колонну? Пыль в глаза пустить? Устроить большую показуху? За счет других бригад?

— За свой счет, Нур Фаритович. Если вы не можете обеспечить техникой другие бригады — то при чем тут я?

Почему я должен болеть душой за бригаду, которая простаивает на водозаборе? По чьей-то вине? А выручать вас или ваших работников, которые на водозабор кран не дали вовремя, я не желаю. Кстати, вчера автокран мне не был нужен, все об этом знали, так почему не использовали его на водозаборе? Кто это проспал? Передайте ему от меня — пусть он спит и сегодня.

— Ты пацаном пришел к нам из профтехучилища, быстрый такой был, проворный. Тебя вовсе не было слышно, — как бы удивляясь, вспомнил Фаизов. — Теперь говорить складно научился. Особенно как за рубеж съездил...

— Я не говорю все эти годы учился, а работать, — ответил Заур с досадой и добавил тише: — Зря вы, Нур Фаритович, говорите, будто я показушник. На собраниях вы, как все, хлоп-хлоп в ладоши, когда мы с бригадой сроки берем да обязательства. А на деле ходите и высмеиваете меня и бригаду перед всеми. Да, мы любим почет, уважение, но мы их честно зарабатываем. А насчет идеальных условий, которые вы будто создаете моей бригаде — так вы их должны создавать всем бригадам. Это ваша работа, Нур Фаритович. Если вам не нравится бригада, наша показуха, скажите об этом на собрании, в открытую, но не издевайтесь над нами по бытовкам.

Фаизов смешался. Избегая смотреть на Заура, пробормотал:

— Я разве говорю, что против передовых методов монтажа? Раз вы оказались на острие этого дела — держайте, я вам не мешаю.

— Тогда зачем технику отбираете?

— Надо выручать товарищей.

— Но если я начну всех выручать, то какой из меня передовик? И почему я должен выручать вас лично?

— Меня?

— Да, вас. Вы персонально отвечаете за ввод водозабора. Сорвете срок — вас крепко накажут. И вы едете ко мне, сегодня кран берете, завтра пару сварщиков, послезавтра трубы. А как водозабор обеспечить, чтоб я не пострадал — об этом думать не хочется. Зачем ломать голову — пусть Муфтиев тут корячится без крана, пыль в глаза людям пускает, но зато он орден получит...

— Злой ты, — Фаизов в этот раз выдержал взгляд Заура. — Но кран я у тебя заберу. Пока я руковожу производством.

— Берите, — махнул рукой Заур. — Затыкайте мной свои

прорехи. Вечером я соберу бригаду и откажусь от бригадирства. Протокол собрания вышлю вам и Будылину.

Фаизов со скукой выслушал бригадира и, толкнув локтем, прошел мимо него к собиравшимся у подножья колонны рабочим. «Главный инженер... — устало вздохнул Заур. — Привык по старинке да в уме: одного сюда, другого туда, третьего — не помню куда. Хоть бы записную книжку завел, учитывал, по каким объектам люди и техника раскиданы. Кранов-то достаточно, а то б из-за чего они простаивали?»

Он заглянул в бытовку, но там уже никого не было. Заур надел каску, одернул куртку и, оглядев себя в зеркале, пошел на площадку. «Придется вечером собирать бригаду, — запоздало пожалел он. — Раз обещал Фаизову...»

Отовсюду на Заура глядели рассредоточившиеся по площадке рабочие его бригады и приданные механизаторы. На этажерках ближнего цеха толпились любопытные: подъем громадных ректификационных колонн для заводчан всегда был событием.

Заур подошел к автокрану с опущенной стрелой.

— Ну? — спросил он машиниста.

Тот непонимающе пожал плечами.

— Фаизов что сказал?

— Фаизов? Фаизов ко мне не подходил.

Поднимавшееся солнце обожгло Заура, вмиг с него слетели вялость и безразличие.

— Поехали, ребята! — закричал он и полез на пригорок, чтоб его хорошо видели изготовившиеся к тяжелой, кропотливой работе люди.

* * *

Вечером Заура ожидала неприятная новость. Мать, радостно улыбаясь, сообщила:

— Заур, завтра у нас будут гости.

— Какие гости? — растерялся он, нащупывая в кармане ключи от гаража. — С какой стати?

— Как с какой стати? Завтра у тебя маленький юбилей. Забыл?

Мать внимательно всмотрелась в расстроенное лицо сына.

— Гостей будет не много, — попыталась успокоить она. — Посиди немного с нами. В последние годы мы так редко тебя видим.

Заур, подавляя в себе разом вспыхнувшую неприязнь к матери, промолчал и остался ночевать у родителей. Но про себя он решил ехать в Ак-Тау завтра вечером, после именин.

...Гостей и в самом деле собралось не много: несколько родственников, двое друзей отца и пожилая женщина, подруга матери.

Возле Заура, справа, никто не садился. Мать несколько раз подходила к подруге, легонько касалась руками ее плеч, и они обе дружно смотрели на часы. Заур насторожился.

Когда через полчаса в квартиру вбежала молоденькая, симпатичная девушка, Заур вовсе пал духом. «Вот оно что!» — понял он и замкнулся.

— Земфира, — кивнула она Зауру и принялась закусывать.

Но время шло, и девушка вовсе не замечала соседа. Она брала в тонкие пальцы фужер с вином, делала маленький глоток и глазами искала на столе что-нибудь «вкусненькое».

— А вы почему не пьете? — спросила она наконец. — Язвенник?

— Да нет, — поморщился Заур. — Собираюсь вечером ехать.

— К женщине? — Земфира повернулась к Зауру и засмеялась. — Веселая у вас жизнь. А я вот госэкзамен по английскому языку не сдала. Теперь все лето буду зубрить. Маман в отчаянье. Хоть бы замуж ты выскочила, причитают. А кто меня возьмет? Сейчас молодые люди женятся или на уродливых, или на девицах «с пунктиком», а то и просто бегут к старым женщинам.

— К старым? — оживился Заур. — Какой возраст вы имеете в виду?

— Где-то под сорок, — засмеялась Земфира. — Ваша маман уже говорила со мной, расписывала вашу жизнь. Такое про вас наплела, ну хоть сейчас картину пиши. Скучный, видать, вы человек. Кроме того, язвенник.

— Откуда вы взяли про мою язву? — озлился Заур. — Никогда ничем не болел!

— Отчего же не пьете? — пожала плечами девушка.

— Да оттого, что можно потерять водительские права. А они у меня одни.

Заур все же взял рюмку и выпил.

— Ну-ну, — сказала Земфира и неожиданно перешла на «ты»: — Твоя женщина интересна?

— Да, — сказал Заур и только сейчас заметил, что они остались в комнате одни. Старики вышли подышать свежим воздухом в лоджию.

— И в сорок лет можно оставаться интересной? — с сомнением спросила Земфира.

— Ей тридцать семь, — досадую, поправил Заур и подвинул тарелочку. — Вы бы кушали...

— Спасибо, — с достоинством ответила Земфира и запустила вилку в салат. — Мне тоже нравится один из наших преподавателей. Ему тридцать пять. Но он такой интересный, не то что мальчишки в нашей группе. У них все разговоры про кино и магнитофоны. Зимой, как дураки, бегут во Дворец спорта хоккей смотреть.

— С преподавателем... встречаетесь?

— Какое там! Его встречает жена с двумя детьми. Я вижу его на лекциях. Сажусь за первый стол и преданно гляжу.

— А он?

— Он старательно отводит глаза. Что ему остается делать?

Земфира засмеялась.

— Твоя маман зря старалась, — сказала она, наливая себе в стакан минеральной воды. — Ты мне не понравился. Я представляла, что увижу солидного, степенного мужчину с грустными, глубоко посаженными глазами. Говорит он, думала я, низким, приятным голосом. А ты...

— Ну? — Заур с трудом скрывал раздражение.

— А ты чуть постарше наших ребят. Глаза бегают, дергаешься, на часы смотришь. И вообще, воображала какой-то... Если послушать твою маман...

— Давай не будем трогать родителей, — попросил Заур. — Как тронешь — так получишь щелчок. Поняла?

— Никакой в человеке солидности! — качнула головой Земфира. — Бодренький юноша!.. Как с тобой справляется твоя тетя?

— Если еще раз вспомнишь «тетю», получишь затрепину, — мрачно пообещал Заур.

В комнату вошла мать Заура, быстро оглядела нахотенного сына, беспечную Земфиру и побежала на кухню.

— Помогите старой женщине, — посоветовал Заур девушке и пошел в лоджию к гостям.

Он собирался уходить домой, когда мать попросила:

— Сынок, проводи Земфиру к подруге.

По ее невеселому виду Заур мстительно определил, что

мать уже не питает надежд. Он в который раз за вечер посмотрел на часы и подумал, что Сазиды с Кларой второй день терпеливо ждут, когда от реки прикатит его машина. «Зачем выпил? — укорил он себя. — Теперь снова жди следующей пятницы».

Они вышли из подъезда. Заур легонько придерживал девушку за локоть. У дома подруги он собирался холодно проститься, как вдруг Земфира, стесняясь, попросила: «А можно в следующую субботу покататься на твоей машине? Меня еще никто не катал...»

Девушка, час назад показавшаяся Зауру нахальным, задиристым существом, улыбалась мило и просто, и от смущения и боязни услышать отказ у нее горело лицо. Заур неожиданно для себя согласился. Девушка повернулась и стремительно убежала в подъезд.

* * *

Стрелка спидометра дрожала на цифре «100», но горный хребет, пересекавший далеко впереди автостраду Куйбышев — Челябинск, почти не приближался. Но зато по удлинявшимся теням от телеграфных столбов Заур видел, как за спиной быстро уходит в равнины солнце. Он надеялся до сумерек добраться до хребта и свернуть на грунтовую дорогу, ведущую в Ак-Тау.

Уже месяц, как Зауру исполнилось двадцать пять лет. Чуть больше месяца не видел он Сазиду с Кларой. Первую субботу он подарил родителям, вторую — Земфире, этому юному, немного взбалмошному существу. Третью и четвертую субботу — снова ей. Нежное щебетанье студентки усыпило память о женщине, которая ждала его в горах. Прохлада приближающейся осени отрезвила его или та же память подсказала ласкательные слова и прозвища, которые говорят одной-единственной женщине?

Он смотрел на пустую дорогу, послушно убегающую под колеса автомобиля, и недоумевал, насколько беззаботно и бездумно прожил этот месяц. Ему хорошо было с Земфирой. Наверное, оттого, что он впервые почувствовал себя старшим, впервые на него полагались как на мужчину и опору в жизни. Так выходит, права мать?

Наконец-то горы придвинулись ближе, и он увидел, как у подножья хребта сгущается белый туман, набухает и ползет вверх по склонам.

Из кустарника выскочили на дорогу двое мужчин в ко-

жанных куртках и замахали руками. Заур резко затормозил. Один из мужчин, высокий и тонкий, как горбыль, взялся за дверцу. Второй, пониже, ссутулил массивные, округлые плечи и подошел с другой стороны машины к Зауру.

Ни о чем не спрашивая, они залезли в машину и резко хлопнули дверцами.

— Поехали, — властно сказал тонкий и ударил пальцами сверху вниз по плечу Заура.

Бесцеремонность мужчин не понравилась Зауру.

— Боюсь, что мне с вами не по пути, — сказал он, сдерживая себя.

— Джека, слышишь? — засмеялся сзади невысокий и похлопал себя по крепким обветренным скулам.

— Слышу, Рафа, — кивнул тонкий и вытянул ноги. — Нам, парень, с тобой по пути. Пока у тебя бензину хватит. Заур неохотно тронул машину. Предчувствуя недоброе, он напряженно думал, как повести себя на развилке.

Но его опередил Джека.

— Сворачивай налево, — ровным голосом приказал он. — И дуй вдоль реки до самого Ак-Тау. Если не знаешь дорогу — подскажем.

Заур остановился у развилки. Дорога впереди и позади была пустынна.

— Мне надо прямо, — сказал он. — Будьте здоровы.

— Я тебе еще раз говорю: съезжай с шоссе и дуй в Ак-Тау, — Джека развалился на сиденье и даже головы не повернул в сторону Заура. Он смотрел перед собой.

— Если тебе надо в Ак-Тау, то и дуй на своих двоих, — в тон ему ответил Заур и выключил двигатель.

В наступившей тишине Заур слышал, как по асфальту ветер гонит сухие листочки.

— Рафа, — тихо сказал Джека. — Подскажи этому козлу, пусть он срочно пилит в Ак-Тау.

Тут же Заур почувствовал, как ему в спину уперли что-то тупое и холодное. Он осторожно повернул голову и разглядел пистолет в руке Рафы.

«Влип! — понял Заур. — Подсадил к себе бандюг. Сколько мне ребята говорили, чтоб не подбирал по дороге неизвестных мужиков».

Заур сглотнул противную слюну, непослушными пальцами повернул ключ зажигания и съехал с шоссе.

— С этого бы и начинал, — так же ровно сказал Джека. — Только, парень, без шуток. Мы юмора не понимаем. Чуть что — получишь пулю.

Заур промолчал. Он ехал нарочно медленно, чтоб успеть хоть как-то прийти в себя. Напрягая память, он стал припоминать дорогу к Ак-Тау, старался вспомнить каждый поворот ее и ухабину. Слева в наступившей темноте бежала река, справа отвесно поднимался к звездам черный хребет.

«Имитировать поломку у Холодного ключа, открыть капот и нырнуть в кустарник? А «жигуленка» оставить бандитам? Видимо, они неважно знают машину, иначе зачем бы им я. Но они все равно будут в поселке раньше и успеют сделать свое черное дело. Этот вариант не годится. А если кинуть машину с обрыва в реку? Тогда надо незаметно приоткрыть дверь. Но Рафа наверняка успеет выстрелить. И этот вариант не годится. По крайней мере, надо оставить его на крайний случай».

Он незаметно потянул скобу двери.

— Рафа... — Джека скосил глаза на водителя. — Не спи...

Заур, не поднимая руки, опустил стекло пониже и сплюнул.

Что за пистолет у Рафы? — думал он. Системы Макарова — это он успел разглядеть. Наверняка снаряжен полным магазином из восьми патронов. В армии он стрелял из него. Рафа, судя по его уверенной, каменной морде, тертый вор, и если что приключится, не будет перезаряжать пистолет — патрон уже сидит в стволе. Но пистолет должен быть взведен на предохранитель — Заур еще нужен этим бандитам. Получается, что он имеет долю секунды, пока Рафа большим пальцем поднимет предохранитель.

Заур начал успокаиваться и уверенно повел машину.

— Чтоб без шуток, — предупредил Джека и pokrutil цыплячьей шеей.

— Какие тут шутки, — осклабился Заур, — когда тебе в задницу наган упирают.

Джека впервые улыбнулся.

— Грамотей! — хмыкнул он. — Пистолет не отличаешь от револьвера.

— Где уж нам! — отозвался Заур. — Лаптями ши хлебаем.

Он нагнулся и включил магнитофон. Поль Мориа сбил настороженность с Джеки. Лица Рафы Заур не видел.

— Лаптями ши хлебаем? — едко спросил Джека. — Машину с японским магнитофоном на чей капитал завел? Папашин? Или приворовываешь помаленьку?

— Купил на трудовые доходы, — Заур пытался поймать в зеркальце каменную морду Рафы. — А вы, ребята, если не секрет, с каким делом в Ак-Тау едете? — как можно непри-
нужденнее спросил он.

— Банк хотим взять. — Джека подобрал ноги и повернулся к Зауру: — Хочешь в компанию?

— Разве в Ак-Тау есть банк? — удивился Заур.

— Ты бы поменьше расспрашивал, — посоветовал сзади Рафа. — Для твоей пользы говорю, козел.

— Козел да козел! — обиделся Заур, быстро соображая про себя: «Вот оно как! Хотят леспромхозовскую кассу ограбить. Знают, что сегодня у лесорубов получка. Но откуда они знают, что директор не разрешает выдавать деньги в пятницу, чтоб не сорвать рабочий день в субботу? Тысяч двадцать в кассе наберется...»

— Сейчас поселок будет, — Заур сбросил газ. — Какой дорогой поедem, шеф?

Рафа сзади шевельнулся, наклонил голову вперед. И тут же Заур резко ударил его локтем в лицо, выдернул пистолет и направил в грудь Джеке. Тот, с перекосившимся от страха лицом, смотрел в глазок ствола. Заур нащупал пальцем спусковой крючок, но в самый последний момент он увел ствол вбок и позади головы Джеки брызнуло стекло.

Секундой позже Заур получил сзади тяжелый удар по голове.

...— Козел вонючий! — громко шептал Рафа и тряс за плечи Заура. — Чуть не уколошил обоих.

Джека еще не отошел от пережитого страха. Он молча смотрел сверху и время от времени несильно пинал ногой Заура.

Голова разламывалась от боли, Заур попытался приподняться, чтоб опрокинуться на спину, но не смог.

— Ладно, кончай его, Джека, — сказал Рафа и разо-
гнулся. Левой рукой он зажимал глаз. — Доберемся сами.

— Если мотор закапризничает? — запротестовал Джека. — Пусть тащит нас до конторы и обратно на шоссе-
йку. Там...

— Дай сюда пушку! — потребовал Рафа и протянул руку. — Я сам его долбану.

— Сам!.. — передразнил Джека и отвел руку с писто-
летом. — Надо было крепче держать. Иди-ка, спустись к воде, умой рожу. Да перевяжи глаз какой-нибудь тряпкой.

Рафа, злобствуя, наступил ботинком на лицо Заура, да
ванул и пошел к реке.

Джека подождал и спросил, наклоняясь:

— Ты меня слышишь?

Заур молчал.

— Дело буду говорить, парень. Если жить хочешь — слушай. Рафа теперь мне не компания. Уделал ты его чисто. С его одним глазом нас на первом углу заловят. Слушай дальше. Утром будем делить казну. Пополам. Не захочешь работать со мной дальше — дело твое. Только поможешь мне в аэропорт выбраться и билет мне купишь на свое имя.

— Рафу куда денешь? — Заур сумел опрокинуться на спину и встретился глазами с Джекой.

— Это моя забота.

— Со мной тоже что случится — и это... твоя забота?

— Посмотрим. Может, тебе повезет больше.

«Лишь бы не мучили, — подумал Заур. — Сразу бы, в одну секунду...»

— Ну? — спросил Джека.

— Сейчас, — сказал Заур. — Только один вопрос, шеф. Как звали твою маму?

Джека изумился и, подумав, сказал:

— Ты чекнутый, парень. Ну, ладно, Валентиной звали.

Заур собрал все силы и длинно матерно выругал Джеку и его Валентину.

Джека долго молчал.

— Я бы тебя убил, дерьмо, сейчас же, запинал бы, — сказал он. — Но раз ты этого хочешь сам, то не получишь. Утречком...

Снизу крикнул Рафа:

— Сними с меня майку и перевяжи голову. Этот гад выбил мне глаз.

Джека ушел вниз, и Заур остался один. Он попытался уползти в кусты, но едва уперся руками в землю, чтоб подтянуть ноги, как чуть не потерял сознание. Он опрокинулся в граву и увидел над собой темное небо, будто утыканное светлыми точечками звезд. «Завтра я уже не увижу это небо», — подумал он и вдруг остро понял, что ему осталось жить всего несколько часов. «Не может быть, — ужаснулся он. — Как это так — вдруг меня не станет! Нет, я буду жить, я еще увижу Сазиду, Клару, мать с отцом. Нельзя же схватить первого попавшегося человека и убить его. Я их не трогал. За что же они меня?»

Он послушал, как внизу возятся двое мужчин, как мате-

рится сквозь зубы Рафа, и ненависть к этим людям отрезвила его. «Они все могут, — понял он. — Я помешал им быстро и спокойно доехать до поселка — значит, я им враг, и они убьют меня утром на шоссе и вместе с машиной выбросят где-нибудь в овраге. Но они не понимают или не хотят понять, что кто-то другой помешает им быстро добраться в аэропорт и они увязнут в своих грязных делах, прежде чем доберутся до безопасного места. А если они уйдут и будут на эти деньги сладко жрать и пить по южным ресторанам, а потом сядут и придумают новый план, и загубят новых людей, чтоб снова гулять на дармовые деньги?»

Ненависть к тем двоим, внизу, душила Заура.

«Посмотрим, доберетесь ли вы до шоссе, — подумал он. — Мы умрем вместе, и мой «жигуленок» поможет мне».

Теперь уже хладнокровно Заур вспомнил родителей. Они скоро умрут и унесут с собой память о сыне. Земфира заплачет и быстро забудет его. Юность и здоровое тело помогут ей в этом. Но будет долго помнить и убиваться по нем Сазида, она любит его, и в любви ее есть что-то материнское. И еще долго будет помнить его Клара, жалостливая девочка с большими черными глазами. И тот ребенок, в чужой стране, что наверняка по сей день ходит на стройку и терпеливо ищет своего дядю среди деловых, шумных мужчин.

Он снова вспомнил Земфиру. Зачем мать толкнула ее к нему? Через месяц она будет чирикать кому-то другому свои песенки о неинтересных сокурсниках, о том, как ей нравятся солидные мужчины, о своем неблагодарном возрасте. Она из тех людей, которые живут сегодняшним днем, не загадывая на будущее, но и не оглядываясь на прошлое. Сазида не выпустит его из своей памяти, пока будет жива сама. Если б эти подонки дали ему проститься с ней и Кларой...

Когда бандиты подошли к Зауру, он поднялся и сам полез в кабину. Джека сел сзади, а Рафа, неопрятно перевязанный грязной майкой, сел рядом.

— Какой-то сопляк покалечил меня! — снова взорвался Рафа. — Трогай, падаль!

— Еще раз зевнешь, я тебе второй глаз выставлю, — пообещал Заур и отодвинул рукой бандита.

— Очухался! — Рафа оглянулся на товарища. — А ты говорил — он до поселка не дотянет.

— Живучий, дерьмо! — Джека больно ткнул Заура pistolетом. — Нажимай на свои железки!

Заур включил зажигание.

— А ты, хлыст, недолго будешь топтать нашу землю, — сказал он, не оборачиваясь. — Затянется узелком твоя веревочка. Ненадолго ты меня переживешь.

— Может, сейчас кончим его? — спросил Джека у Рафы. — Чего он развонялся?

— Потерпи, — промычал Рафа. — Двигать надо, скоро светать начнет.

Заур, чувствуя за спиной неусыпное внимание Джеки, тронул машину. Река ушла влево.

«Этот вариант отпал, — подумал он. — Что ж, будем ждать...»

Он взял вправо, по кружной дороге через пригорок, чтоб выиграть десяток секунд.

— Сторожа... сразу. Чтoб никакого шума, — сказал сзади Джека. — И так наследили. А я этого покараулю. И чтoб мигом на шоссейку. Утром тут такая облава будет... Успеем на ташкентский рейс — значит, вылезли.

«Ничего не скрывают. Это конец... Хороших гостей я везу в Ак-Тау. — Заур вспомнил теплую рукоять pistolета. — Слюнтяй. Не смог убить бандита. Они хорошо смогут — приучены. А меня учили добру и вырастили тряпку и сопляка».

Заур въехал на пригорок. План составилcя четко. Надо только хорошо разогнать машину.

Сзади шевельнулся Джека.

— Слышь, козел? — сказал он в ухо. — Если что, весь магазин всажу.

Заур промолчал. Он разогнал машину и внимательно ждал, когда внизу, метров за двести до конторы, вынырнет из темноты железобетонная опора ЛЭП.

— Ты чего гонишь? — спросил Джека. — Контора вот она, впереди.

— За нами идет машина, — быстро сказал Заур, и когда Джека дернул головой назад, он распахнул дверцу и направил машину правым боком в опору ЛЭП.

Пронзительно заорал Рафа, которого почти сплющило между корпусом и сиденьем, Джека налез всем телом между Зауром и тем, что оставалось от Рафы.

Заур вывалился из машины, побежал было и упал от острой боли в ногах. Из машины полыхнуло пламя. Заур пополз за дорогу. Лихорадочно считал выстрелы. «Пять,

шесть... Неужели пронесло? Вот вам, подонки, и Ташкент!» Седьмого выстрела он не слышал. Показалось на миг, будто кто-то ударил его в бок железной палкой.

* * *

Комната насторожила его. Заур осторожно повел глазами и понял, что лежит в доме Сазиды. Ему стало легче. Надо немного дождаться, и она подойдет, положит ладони на его горячий лоб и быстро поцелует в щеку. Он прикрыл глаза и стал терпеливо ждать.

Но вместо Сазиды подошел пожилой мужчина, наклонился и, встретившись с твердым, осмысленным взглядом Заура, сказал суховато:

— Я — следователь. Медсестра ушла за шприцем. Раны у вас неопасные. Задело голень правой ноги и ударило пулей в ребро. Видимо, рикошетом от асфальта.

Следователю не терпелось перейти к главному.

— Ваши показания очень важны, — заговорил он, раскрывая блокнот. — Как получилось, что уголовники использовали вашу машину?

— У них бы спросили, — посоветовал Заур и прислушался, не войдет ли Сазидка.

— У одного разбита вдребезги голова, — следователь развел руками. — Второй бегаёт в лесу, пугает милиционеров наганом. Уж я так просил ребят брать его живым.

— Один вопрос!.. — перебил Заур. — Где хозяйка?

— Дом пустой, — ответил следователь. — Оттого вас сюда и притащили. Хозяйка выехала вместе с дочерью две недели назад. Вы же к ней ехали?

Следователь внимательно смотрел на Заура. Тот кивнул и попросил:

— Она должна была оставить записку мне. Если не трудно, спросите соседей.

— Уже обошел, — заверил следователь. — Пока вы тут валялись, я поговорил со всеми. Никакой записки она не оставила. Но... но дочка, говорят, передала перед отъездом листок бумаги своей подружке.

— Где этот листок?

Следователь снова развел руками.

— Мать подружки забрала листок и теперь твердит, что потеряла его. Она говорит, что там ничего не было, только какой-то адрес.



«И соседи против нас, — понял Заур. — И они, как моя мать, не хотят, чтоб мы были вместе. Но почему Сазиды бросила меня тут одного?»

Следователь спрашивал издали, вежливо и осторожно, и по всем его вопросам, по внимательному пожилому лицу было понятно, что в жизни он видел многое, самое неожиданное, и его ничем не удивишь. Следователь записывал, потом, будто забывшись, спрашивал о том же самом, что и минуту назад, только заходил с другой стороны. Заур оскорбляла его подозрительность, и он скоро понял, что следователь допускает и такой вариант, будто Заур чуть ли не подрядился везти бандитов в Ак-Тау. А что ранили — так, может, чего в дороге не поделили.

Чтобы не раздражаться больше и не раздражать следователя, Заур прикрыл глаза, и следователь с сожалением захлопнул блокнот.

«Как хорошо бы найти записку Клары, — подумал он, оставшись один. — Но эта женщина, соседка Сазиды, никогда не даст ему ее новый адрес. Она считает их союз противоестественным, ненормальным и будет уважать себя всю жизнь за проявленную твердость».

Заур терпеливо дождался, пока медсестра сделает ему укол, сменит повязки, и снова стал думать. Его ужаснуло, что он все время думает о Сазиде и ни разу не вспомнил о матери с отцом. «Я схожу с ума, — решил он. — Мне бы радоваться, что избежал верной смерти, а не думать о листке с адресом. Да... Теперь никто не сможет помешать мне искать Сазиду. Хорошо, когда вдруг появляется в твоей жизни цель и смысл».

Он закрыл глаза, чтобы вовсе не думать. Медсестра тихонько вышла из комнаты. По улице прошла ликующая толпа — видимо, тащили из леса упавшегося Джеку. «Потоптал зеленую траву — и хватит», — равнодушно подытожил Заур.

Укол ли подействовал, но боль отпустила, и Заур глубоко вздохнул. Уснул он с ясной уверенностью, что прошлая ночь отделила его раз и навсегда от той, суетной и дерганой, жизни и впереди наконец-то загорелся зеленый свет.

ПОЧЕМУ ТРОФИМОВ?

— Я бы убил его, — мечтал Бурцев, поглядывая на тяжелую махину трубогибочного стана. — Да не сразу, а по-маленьку, чтоб понял Алексей, каково мне кривых его труб дожидаться.

Длинное, худое лицо начальника участка исказилось болью — Даутов испугался, что он заплачет.

— Что ему, Алексею, мои переживания? — Бурцев повернулся лицом к пустым вагончикам городка и потряс ладонью. — Подумаешь, ребята наши сидят перед оврагом, жарятся на солнце и ждут кривые трубы. Алексею до меня и до них дела нет. Его благородие дрыхнут! Так?

Бурцев поглядел на молодого мастера, и тот поспешно кивнул.

— Илья Павлович, — предложил мастер. — Может, нам самим попробовать? Что тут хитрого? Принцип работы стана мы знаем.

— Мы, инженеры, много знаем, — быстро подхватил Бурцев. — Чему только нас в институтах не учили! А вот сделать какую-нибудь ерунду своими руками не можем, тут нам мастерового подавай. Уж мы ему все расскажем, растолкуем, лишь бы этот мужик глотал да переваривал наши указания, но, главное, шевелил бы руками.

Неожиданно Бурцев махнул машинисту трубоукладчика, и тот дернул рычагами, подал трубу на ролики стана.

— Где наша не пропадала! — ободрил себя Бурцев и встал к пульту.

Трубогибочный стан, нагруженный сверху метрового диаметра трубой, напомнил Даутову гигантскую пушку. Бурцев подумал о том же.

— Из такого вот размера пушки, читал я, стреляли немцы по Парижу еще в первую мировую войну. «Бертой» ее звали. А мы назовем нашу пушку «Алексеем», в честь Трофимова.

Бурцев, засмеявшись, начал командовать. Трубу понемногу подавали вперед, затем включали мощные домкраты, и они выжимали, плавно изгибали ее, и труба снова продвигалась немного к выходу из стана.

— Смелость города берет! — сказал Бурцев и просветлел лицом.

Теперь стан напоминал не пушку, а скорее огромную тушу носорога. Оставалось двинуть трубу разок-другой, и можно было б снимать готовое кривое изделие, как вдруг труба обмякла в стальных тисках.

— Смяло! Мать вашу... — тихо сказал Бурцев и сел на землю.

Один из слесарей нагнулся и дал начальнику папиросу. Бурцев жадно закурил, стряхивая горячий пепел на куртку и брюки.

Накурившись, он встал и дал знак рабочим закладывать в стан новую трубу.

— Будем выполнять план по сдаче металлолома, — мрачно пошутил он и закричал на слесарей: — Чего разевались? К теще на блины приехали?

Он подозвал Даутова.

— Учись, Шавали, на моих ошибках, — сказал он великодушно. — Трубу-то я, считай, прогнал через стан, да вот в конце малость пережал. Отсюда вывод: лучше в конце недогнуть. Учти на будущее.

— Учту, — пообещал Даутов.

Но вторую трубу смяло, едва подключили домкраты.

Бурцев вяло ругнулся, колени его подогнулись, и он мешком сел на землю. Ему, как и в прошлый раз, поднесли папиросу.

— Вот что, — придумал Бурцев, до одури наглотавшись табачного дыма. — Зовите механика. Почему он в своем складе прохлаждается?

Когда подошел механик, низенький мужчина в очень просторных брюках, Бурцев докуривал вторую папиросу.

— Алексею ты в табель восьмерки ставишь? — спросил Бурцев. — Ну?

— Ставлю, — скромно ответил механик и заложил руки за спину.

— А он спит, — Бурцев широко улыбнулся. — Спит! Так вот, дорогой человек, нагни-ка мне до вечера десяток кри-вых.

Бурцев говорил так, будто просил о пустяковом одолжении.

— Как я их нагну? — механик озадаченно сплюнул, но рук за спиной не расцепил.

— Как хочешь, — безучастно обронил Бурцев. — Хочешь, на стане, не хочешь — гни через коленку.

Механик прошел к стану и зло закричал на машиниста. Тот с любопытством глядел из кабины.

Через десяток минут стан выплюнул изувеченную трубу. Бурцев повеселел.

— Иди, занимайся своим делом, — сказал он механику, и тот, снова сцепив за спиной руки, ушел на склад.

— Но ведь он неплохо гнул эти трубы, — Бурцев поглядел на мастера и назидательно поднял палец.

— Что же? — спросил тот. — Разучился?

— А то! — Бурцев подбежал к трубе и пнул ее в черный бок. — Погляди, какая она тонкая! Оттого ее и мнет. Толстую-то не больно сомнешь.

— Но Трофимов-то любую трубу гнет! — вспомнил Даутов.

— Гнет... — вздохнул Бурцев. — Чутье у него к металлу. Ему хоть челябинскую трубу, хоть какую импортную подай — он их понимает. В любом деле, брат ты мой, талант должен присутствовать.

Машинист заглушил трубоукладчик, сел на гусеницу, свесив ноги в кирзовых сапогах, и с плохо скрытой насмешкой на лице стал наблюдать за начальством.

— Пожалуй, схожу в последний раз к Трофимову, или я его доконаю, или он меня, — Бурцев застегнул широкую, со многими карманами куртку и пошел к вагончикам.

— Пустое дело затеял Илья Палыч, — высказался сверху машинист. — Сожжет себе последние нервы...

В вагончике, куда зашел Бурцев, поначалу было тихо. Затем послышался зычный голос начальника, ему слабо ответил Трофимов, и скоро был слышен один Бурцев.

— Вот орет! — восхитился машинист. — Как стекла терпят?

Шум стих. Из вагончика вылетел Бурцев. Руку он держал на левой половине груди.

— Хамло! — сказал он на бегу. — Голова, видите ли, у него болит. Вот пропустить бы его сейчас через стан, да в бараний рог... Эх!

Он подошел к Даутову.

— Ладно, на сегодня обойдемся без него. Я еду к ребятам, пусть перепрыгивают овраг да идут дальше, полем. Кто бы знал, как мне не хочется оставлять позади себя такой хвост!

— Не срывайте бригаду, — попросил Даутов. — Пусть они подождут. Попробую я уговорить Трофимова. Если уломаю, то отправлю вам пару кривых сразу после обеда.

Бурцев безнадежно махнул рукой, ссутулил широкие костистые плечи и ушел к своему «газику».

— Агитировать пойдете? — осуждающе спросил машинист и сполз с гусеницы, едва не порвав штаны. — Не дело вы затеяли. Хотя начальству виднее... А я покуда в тенечке полежу. Алеша любит, когда его просят. Может, и уважит вас. Я бы лично, дай мне в зубы хорошую должность, в шею бы его гнал!

В вагончике было прохладно. Трофимов лежал на кровати и смотрел перед собой. Короткие волосатые ноги его торчали из-под грязной простыни.

— Здравствуйте, Алексей! — громко поздоровался Даутов. — Илья Павлович сказал, будто нездоровится вам.

— Он мне другое говорил, — Трофимов скосил глаза на мастера. — Насовал матюков и в дверь. А я лежу теперь, переживаю. Он думает про меня, что я чурбак с глазами, колода дубовая. Он, значит, болеет за дело, у него сердце, а у меня его будто нет! Я хоть и оступись, но человек!

— Илью Павловича понять надо, — заступился Даутов. — Колпаков второй день перед оврагом топчется. Ходу мы его бригаде не даем из-за этих кривых.

— А-а!.. — Трофимов, потеряв интерес к мастеру, отвернулся к стене. — Не люблю Колпакова — до денег больно жадный. Десять тысяч на книжке! Как ему не совестно? Куда одному человеку стоко денег?

— Алексей, пойдем хоть пяток кривых нагнем, — Даутов просительно тронул слесаря за плечо. — Вам это ничего не стоит.

— Не могу, — сказал Трофимов. — Встать не могу. Голову будто железом начинили. Даже встать боюсь — вдруг кровь в мозг ударит.

— Что же нам с Бурцевым теперь делать? — Даутов сел на кровать и растерянно поглядел, как Алексей невозмутимо шевелит пальцами ног. — Может, тебя на раскладушке положить возле стана? Советы будешь давать.

— Ох-хо-хо, — зашелся в кашле Трофимов. — Ребята постом проходу не дадут, засмеют. Скажут, кривой профессор. Или ишо похлеще. Нет, мастер, не пойду.

Трофимов судорожно вздохнул и снова отвернулся к стене. Даутов, поглядев на его крупную сутулую спину, вышел из вагончика.

— Николай! — окликнул он водителя бензовоза. — Давай-ка сгоняем на трассу.

— Счас! — с готовностью ответил Николай, однако полез в кабину неохотно. — В чью бригаду?

— К Колпакову, — Даутов сел рядом с шофером.

Они долго колесили сухими проселочными дорогами, пока не добрались до широкого, глубокого оврага. На крутом склоне его стояли два трубоукладчика, сварочный агрегат и бульдозер. Голые по пояс рабочие лежали в траве.

Даутов подошел к широкоплечему, угрюмому на вид мужчине и отозвал в сторону. То был Колпаков.

— Что ж, попробуем, — сказал бригадир, выслушав мастера, и сел в кабину.

Приезд Колпакова неприятно озадачил Трофимова.

— Чего? — спросил он, с трудом подымая голову и оглядывая ненавистного ему бригадира.

— А ничего! — ответил тот в тон Трофимову. — Валяешься тут, как барыня, опух от безделья. А что колхозники нас костерят — тебе дела нет. Ты знаешь, мы через овраг все дороги пораскопали, им не по чему стало на элеватор хлеб возить.

Трофимов молчал, и Колпаков безнадежно махнул рукой.

— Разве проймешь этого чугунного мужика? — спросил он мастера.

— Иди-ка ты отсюда... — тихо сказал Трофимов. — Ступай, ладно?

— Я-то пойду, — ответил Колпаков. — Но что мне ребятам говорить? Они ведь считают тебя порядочным человеком... Алексей, мол, старый наш товарищ, не подведет нас...

— Уходи... — снова попросил Трофимов.

Колпаков улыбнулся мастеру и вышел из вагончика.

— Уехал, что ли? — спросил Трофимов и слабо шевельнул рукой.

— Уехал, — кивнул Даутов. — Ребятам начнет про тебя рассказывать. Барыня, мол, и все такое прочее...

— Он расскажет, — злобно промычал Трофимов и вдруг легко встал.

— Пошли, — сказал он и, босой, первым двинулся к выходу.

Машинист вылез из-под навеса, изумленно оглядел Трофимова и вспрыгнул на гусеницу трубоукладчика.

До обеда они согнули четыре трубы, которые Даутов тут же отправил на трассу, и после обеда еще шесть. Даутов стоял за спиной Алексея и внимательно присматривался к его работе, но ничего особенного не заметил. Те же самые операции производил утром Бурцев.

— Почему у вас не сминает трубы? — спросил Даутов.

— Дык... — смешался Трофимов и поправил сползшие

брюки. — Тут никакого секрета нет. Я вовремя отключаю домкраты.

— Как вы узнаете это «вовремя»? — настаивал Даутов. Трофимов задумался.

— Не знаю, — откровенно признался он. — Как-то чую, что труба удерживается от излома из последних силенок — тут я раз! — и нажимаю кнопку.

Объяснение не удовлетворило мастера. «Скрывает, — решил он. — Незаменимым специалистом хочет быть».

Поздно вечером Бурцев примчался с трассы. Он отыскал мастера в столовой и крепко обнял его.

— Спасибо, Шавали. Проскочили мы овраг. Как ты уломал этого пьяницу?

Бурцеву принесли его любимый бифштекс, бутылку холодного молока и два стакана кофе.

Выпив без передышки молоко прямо из горлышка, Бурцев схватил нож, вилку и принялся за бифштекс.

— Проехал я сегодня по трассе аж до Тамбова, — сказал он, прожевывая мясо. — Сердце в пятки ушло. Овраг на овраге! Это сколько же кривых нам надо! У Питерки на председателя колхоза наскочил. Привез он своих людей, газорезку и к трубе подступает. Убирай трубу, кричит, мне зерно возить надо. Не то, мол, сам разрежу и выкину. Вскипел я, чуть по председательской физиономии не смазал, ладно, Анищенко удержал. Давай, говорит, Илья Павлович, подгоним бульдозер да засыпем трубу землей, и пусть они по этому мосту ездят. Нет, Шавали, умные, хорошие у нас рабочие. Сколько они мне идей подкинули за эти годы!

Закончив ужинать, Бурцев поостыл и уже скучающе глядел в окна.

— Шавали Гумерович, — сказал он тоном приказа. — Я освобождаю тебя от всех обязанностей. С Колпаковым буду работать сам. Твоя задача — кривые. Сядь верхом на своего Трофимова и не слазь, пока мы не закроем все овраги. Два трубовоза передаю в твое распоряжение, чтоб они курсировали между станом и трассой. Понял?

Утром Даутов побежал к Трофимову, который сидел на кровати и задумчиво скреб подбородок.

— Иду-иду, — заворчал он и неловко спрятал под одеяло затрепанную, без корешка, книгу.

Весь день он работал молча и угрюмо. Даутов, сколько ни приглядывался, так и не нашел причины столь точной и безошибочной работы Трофимова. Тот с какой-то внима-

тельной жалостью наблюдал за многотонной мощности домкратами, выгибающими трубу. Только раз он ответил на быстрый взгляд мастера:

— Хоть и железо, а будто живое. И силы боится, и холода. Даже устаток имеет свой. Попробуй нагрузи его чрез меру, будет крепиться, однако с годами ослабнет характером и рухнет.

Больше десяти кривых Трофимов давать отказался.

— У меня дело есть, — заявил он.

— Пойдет и десять, — радовался вечером Бурцев. — Не слезай с него, Шавали. Недельки три-четыре продержи-тесь — мы на все овраги завезем кривые. Я вам обоим премию выхлопочу в размере оклада. Понял?

Даутов как-то заметил, что Трофимов похудел, сошел с лица и не ходит на обед.

— Почему не обедаете? — строго спросил он.

Трофимов засмеялся.

— Интересно народ устроен. Я давно заметил такой факт: если просишь на вино — дают деньги, просишь на хлеб — вот тебе! Получку-то я бывшей семье отправил. Старший брат недавно написал мне... Навестил он мою жену, бывшую, как я сказал, и сыновей моих. Старший сын в институт поступил, младший в восьмой класс пойдет. Жена, мол, болеет, мало работает. И от меня алименты не шибко большие — я ведь не Колпаков, не убиваюсь за деньги. Нужду, пишет брат, твоя семья терпит. И то. Старший ведь жених уже. Костюм надо, куртку модную, туфли, а зимой сколько одежды надо! Ну я и отослал всю получку жене. Все равно пропил бы.

— Жизни-то у вас с семьей не стало... из-за пьянки? — поинтересовался Даутов.

— Не-е, — твердо ответил Трофимов. — В семье я как раз не пил. У нас другое вышло...

— Сколько вам надо? — сухо спросил Даутов.

— Двадцать два дня до получки, — прикинул Трофимов. — Хоть бы по рублю на день, чтоб не помереть.

— Вот вам тридцать рублей, — Даутов отсчитал деньги. — Только не помирайте.

— Теперь я оклемаюсь, — пообещал Трофимов. — Я согласный по двенадцать кривых давать.

— Теперь он даст! — предсказал вечером Бурцев. — Еще как даст! Ох, не к добру ты одолжил ему деньги.

— Так на хлеб же! — оправдывался Даутов.

— Если б на хлеб... — Бурцев опустил голову. — Как те-

перь мне быть? Пару дней без кривых продержимся, а дальше?

Многоопытный начальник участка оказался прав. Утром следующего дня Алексей не вышел на работу. Даутов бросился к нему домой.

— Загулял Алешка! — сказали рабочие, его соседи по вагончику. — Сегодня он вовсе не ночевал с нами.

Только на другой день, к обеду, Даутов отыскал Алексея в буфете местного вокзальчика. Глаза его были пусты и холодны. Настроен он был агрессивно.

— Думаешь, Трофимов последний человек? — спросил он, пытаясь держаться прямо и независимо. — Отдам я тебе деньги, отдам.

— Почему вы спаиваете рабочих людей, да еще днем? — Даутов с неприязнью поглядел на ярко раскрашенную буфетчицу.

Невозможно было понять возраст этой женщины: то ли двадцать пять, то ли все пятьдесят, живая кожа лица была погребена под несколькими слоями косметики.

— У них своя голова на плечах, — дернула носом буфетчица. — Указчик мне нашелся!

— Доберусь я до вас, — пообещал Даутов женщине и увел Алексея за руку, как малого ребенка.

— Отдам я тебе деньги, — снова запыл тот в вагончике и повалился на кровать.

— Ради бога! — поморщился Даутов. — Можете совсем не отдавать. Только выходите на работу.

Утром Трофимов не пришел, и Даутов, проводив глазами крепких, дружных ребят из бригады Колпакова, отъезжающих в автобусе на трассу, направился в вагончик.

Дверь была раскрыта настежь. Алексей лежал и уныло смотрел перед собой.

— Опять голова железная? — спросил Даутов.

— Опять, — неохотно откликнулся Трофимов и скосил глаза на мастера.

— Может, к Колпакову съездить? — пошутил Даутов.

— Не надо, — попросил Алексей испуганно. — Чтоб я его рожу лишний раз видел?

Он встал и пошел к стану. Движения его были вялые, вымученные. Видимо, он сильно ослаб.

Первую же кривую он смял.

— Вот ведь... — Трофимов озадаченно скреб подбородок. — Видишь, мастер, как на меня накатило — ум, считай, отшибло.

Вторая и третья кривые получились как надо, и Трофимов успокоился.

В полдень Даутов повел слесаря в столовую и накормил его плотным обедом.

— Посидим в тенечке? — попросил Трофимов, когда они вернулись к стану.

Он сильно потел. Худое лицо его было нездорово.

— На сегодня, может, хватит? — пожалел слесаря Даутов.

— Три-четыре кривые выдадим, — запротестовал Трофимов. — Меня не жалеете, я — двужилый.

Он сел поудобнее и внимательно поглядел на мастера.

— Помните, я о деле говорил, еще до запоя?

— Еще бы не помнить...

— Книжку я читал про Тараса Бульбу. Я книг-то сроду не читал, кроме как в школе. Да и ту бросил в седьмом классе. Рано я пошел работать и вот с железом воюю лет, наверное, двадцать пять. Папаша мой был бедовый, вроде меня самого. Ну да ладно... Книжка мне попалась нечаянно, потрепанная, без корок. Начал читать от тоски, просто так, а бросить не могу. Вроде про меня написано. Ребят спрашиваю. Читали они когда-то, но не помнят. Кто-то отрывок вспомнил, учили в школе: «И зверь любит свое дитя...» И вы не читали?

— Читал, — ответил Даутов, удивленный необычным поворотом разговора. — Отрывок этот до сих пор наизусть помню — у меня хорошая память на книги.

— Ну? — заволновался Трофимов. — Тогда ответьте мне на такой вопрос. Как же Тарас обоих сыновей на войну увел? Хоть бы одного пожалел — мать-то кругом одна осталась. Беденькая! Что с ней сделалось, когда ей про смерть мужа и детей сказали? Не перенесла, наверное...

Трофимов подобрал под себя поги и устался перед собой.

— Неужто из-за красивой бабы можно от своих уйти? — спросил он и недоуменно поднял плечи. — А что, может быть. Разве из-за красивых баб мало мужиков пропало?

Но тут же несогласно вскинул голову.

— Как же можно с саблей на своих бросаться, рубить их? Родную кровь лить? От нее даже сильно пьяные трезвеют. Ведь видел кровь, а не остановился, бил и бил своих... Как можно?

— Книжку всю прочли? — осторожно спросил Даутов.

— Всю, — кивнул Трофимов. — Опять читать начал. Мне не все ясно про Тараса. Я даже к Илье Павловичу подошел, спросил про книгу: есть, мол, там непонятные места. Раз начальник, то должен все знать. Илья Павлович расспросил меня, выслушал, а потом говорит: ты бы, Алеша, меньше пил, а то скоро со своей критикой до Льва Толстого доберешься.

Трофимов негромко посмеялся и вспомнил:

— Я так решил своим умом: Тарас не зря искал в траве трубку. Не шибко она была ему нужна. По мне, не хотел он жить. Думаете, легко своими руками убить младшего сына, своими глазами увидеть смерть старшего? Это как можно вытерпеть сердцем? Он и не вытерпел. Пролил сколько надо вражьей крови и успокоился отцовской душой.

— Ну?

— Решил старик уходить к сынам. Зачем жить одному на свете без родных, без близких?

— А старуха, жена его?

— Мне кажется, не сильно он ее уважал. Может, и не так я говорю. Там не написано. Хорошо, пусть уважал. Но и тогда ему страшно было б ехать к ней — надо отвечать за сынов, он увез их на погибель, оторвал от матери, спокойной жизни. Отвечать перед матерью за деток ее, конечно, страшно. Наверно, Тарас убоился своей жены и не поехал к ней.

Утром Трофимов сидел возле стана и с нетерпением дождался мастера.

— Немного перекурим перед работой? — попросил он и заглянул в глаза Даутову. — Сейчас ребята говорят мне: куда побежал, твой Шавали сам за тобой зайдет.

Он закашлялся.

— Ночью опять про Тараса думал, — сказал он. — Отец ведь он. Как пережил он смерть сыновей, с горя можно и умом тронуться... Вы как полагаете, верил он в бога?

Даутов подумал.

— Глубоко в душе, надо полагать, верил, — колебавшись, ответил он.

— Тогда ему легко помирать было, — обрадовался Трофимов. — Он думал, что увидит потом детей своих и жену и все им объяснит. Таким помирать хорошо. Вот нам, неверующим, хуже...

Он было встал, чтоб пойти к стану, но внезапная догадка заставила его кинуть рукавицы на землю.

— Тарас искал смерть свою! — Трофимов расширивши-

мися глазами уставился на мастера. — Но опять же, почему он не захотел умирать в бою? Мог? Конечно, мог! Не захотел. Куда как спокойно — подставил лоб под пулю и беги на тот свет, к сынам. Нет, Тарас не такой человек. Он захотел смерти, достойной его. Ему было мало пролить вражью кровь, он еще и унижить их захотел. Не зря говорят: на миру и смерть красна. Помните, как измывались, жгли его ляхи, а он смеялся им в лицо и все кричал сотоварищам своим: «Поберегитесь, ребята!» До последнего вздоха про лодки им подсказывал...

Лицо Трофимова неожиданно покраснело, и он большим согнутым пальцем осторожно промокнул уголки глаз, встал и ушел к стану.

В обед Даутов повел слесаря в столовую, и они, покушав, около часа отдыхали под навесом.

— Вы уж меня извините, — Трофимов, улыбнувшись, легонько коснулся рукава мастера. — У вас, башкир, не было в старину таких вот людей, как Тарас Бульба?

— Были, — ответил Даутов. — Я думаю, что были. Но у нас не было своего Гоголя.

— Выходит, некому было записать в книгу? — посочувствовал Трофимов.

— Некому, — помолчав, ответил Даутов. — Но народ, как мог, передавал вести о хороших людях от старых к молодым. Песни и были о них дошли до нас.

К концу лета они нагнули кривых вставок на всю трассу. Трофимов отсылал деньги семье, ходил понурый, неразговорчивый, но трезвый. К Даутову он больше не приставал с расспросами.

Осенью Даутов уехал на Печору, туда, где разворачивалось строительство огромного газопровода «Сияние Севера». Он работал много и старательно, и через десяток лет ему доверили руководить монтажным управлением. Вспоминал он свои первые шаги мастером на Тамбовщине все реже. Однажды на крупном совещании, проводимом заместителем министра, ему устроили разнос. Даутов, не спавший толком последние два месяца, хотел возмутиться черной неблагодарностью человека, упрекавшего его в бездеятельности, он было уже приподнялся, но остановила всегдашняя сдержанность. Даутов сел, с каменным лицом выслушал еще несколько хлестких замечаний в свой адрес и, неожиданно для всех, повалился на пол. Прямо с совещания его увезли в больницу. Отлежавшись с месяц, Даутов поехал в южный санаторий, где встретился с Бурцевым.

— Шавали? — закричал от радости Илья Павлович. — Столько лет колесим по трассам, а встретиться ни разу не пришлось. Поздравляю с орденом, читал Указ. Сердце, говоришь, подвело? Не горюй, брат. Лично я перенес два инфаркта. Раз на Тамбовщине, через год после твоего отъезда, второй раз, когда работал уже главным инженером треста. Я так, Шавали, думаю, пора нам, руководителям, запасное сердце выдавать. Хоть до пенсии будем доживать...

Они сидели на берегу моря и, растроганные встречей, смотрели в ласковую синь воды.

— Как ты на Печору уехал, у нас беда приключилась, — вспомнил Бурцев и кинул в море камешек. — Наши ребята пошли вечером на станцию. Кого-то провожали в отпуск. Трофимов с ними увязался. Последнее время боялся он оставаться один. До поезда оставалось немного времени, и они вышли на перрон. Тут как раз подходил грузовой состав. Вдруг на пути выскочил мальчонка, прямо перед электровозом. Мамаша дергается к сыну, а сил ступить нет. Состав-то совсем рядом, да еще гудит не переставая. Сам я смерть Трофимова не видел, но рассказывали ребята, что кинулся он на рельсы перед самым электровозом. Мамаша не решилась, а он сообразил. Мальчонку Трофимов успел с пути выкинуть, а сам под колесами остался.

— Дела... Трезвый он был?

— Трезвый. Он еще при тебе завязал с этим делом.

— Семья его узнала про смерть?

— Сообщили телеграммой, но никто — ни жена, ни сыновья не приехали. Видно, он в свое время крепко обидел их. Эта самая семья, которым он мальчонку спас, и схоронила его. За могилкой, говорят, до сих пор ухаживают.

Даутов глядел в море и вспоминал полузабытого Трофимова.

— Интересно получается, — вслух удивился Бурцев. — Своих детей побросал, а чужого спас. А?

— Вы бы бросились за мальчонкой? — Даутов повернулся к своему бывшему начальнику и напряженно ожидал ответа.

— Нет, — твердо ответил Илья Павлович. — Неужели я своих детей покину, чтоб кому-то было хорошо? Потом, жизнь у меня одна. А ты смог бы?

— У меня тоже есть дети, — Даутов спрятал глаза. — Мне их жалко. И у меня жизнь одна-единственная. Но почему смог Трофимов?

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

— Ну и дошел ты здесь, на своих курсах, — искренне удивился механик Игорь Шерстобитов, атлетически сложенный парень. Он стоял возле машины и внимательно разглядывал осунувшееся лицо старого товарища. — Науками замучили? — сочувственно спросил Игорь и похлопал пятерней по худой шее Искандера. — Или... по танцам бегал?

— Читал много, — признался Искандер. — При курсах хорошая библиотека работает. А выплусь дома, в городке.

— Так-так, — сказал Игорь и окинул быстрым веселым взглядом проходившую мимо симпатичную девушку. Та оглянулась. Игорь засмеялся и сел на подножку машины. — Вот что, Искандер... Я приехал с заданием Зуфара Набиевича: во что бы то ни стало увезти тебя домой. Даже выкрасть.

— Но мне еще целую неделю учиться, — возразил Искандер.

— Этот вопрос Зуфар Набиевич утрясет через трест. Понял? А теперь дуй за чемоданом.

Искандер пожал плечами и ушел в общежитие. Вскоре он вернулся с чемоданом и связкой книг под мышкой.

Игорь осторожно вел машину по городским улицам.

— Отвык я от этой толчеи, — пожаловался он, не сводя глаз с дороги. — Как бы в аварию не угодить.

Проехав контрольно-пропускной пункт, Игорь повеселел.

— Зуфар Набиевич тоже, вроде тебя, худой стал, — Игорь поднял глаза на зеркальце и встретился взглядом с Искандером. — Хочет скорее из степи уйти — осенью затопит ее, на телеге не проедешь, не то что на трубовозе. Про тебя спокойно вспомнить не может. Как это, говорит, я, старый дурень, отпустил парня на курсы в такое горячее время. Ребята сварили десять километров труб, и сейчас весь участок нефтепровода валяется на бровке. Траншея осыпается, землеройщики грозят большим штрафом. А как мы трубы опустим, если стыки не просвечены?

— Разве мне не дали замену?

— Прислали одного парня, но он не то чтобы с приветом, а какой-то, знаешь, чудаковатый. Первую неделю все привыкал, не работал. На второй неделе вдруг получил

письмо от невесты. Та пишет: приезжай, друг ненаглядный, мне скучно и я сильно волнуюсь. Наш ненаглядный в тот же день умотал. Стали звонить в трест, просить надежного человека, но Зуфару Набиевичу говорят: терпите, мол, дожидайтесь своего, у нас лишних радиографов нет.

— Работы достанется, — подытожил Искандер рассказ товарища. — Новостей других нет?

— Нет, — мотнул головой Игорь, но тут же вспомнил: — Практикантку недавно прислали, из института. Красивая девчонка, но больно уж неразговорчивая, лишний раз не улыбнется. Скоро сам увидишь...

* * *

На следующий день Искандеру дали шофера с машиной, студентку и строгий наказ свернуть за неделю всю накопившуюся работу.

Девушку звали Тамарой. Она быстро и, как показалось Искандеру, придирчиво оглядела своего начальника. Искандер пожалел, что поленился утром погладить свои мятые брюки.

Шофер, немолодой мрачноватый мужчина, которого рабочие звали не Федором, а Федорой, ожидал возле машины. Искандер сел в кабину у окна, Тамара втиснулась между ним и шофером.

Они отъехали от городка к овражку, где в глубокой яме хранилась радиоактивная ампула в тяжелой свинцовой оболочке. Тамара со значением посмотрела на лист железа, на котором самим Искандером были нарисованы белой краской череп и скрещенные кости, и помогла вытащить ампулу. Этот тяжеленный груз они затолкали с помощью Федора в кузов, девушка отряхнула синие, плотно облегавшие ноги джинсы, и машина покатила на трассу.

Дорога петляла по сухой, выжженной июльским солнцем равнине. Кое-где змейками перебегали дорогу неглубокие овражки. Искандер смотрел на рыжие трубы сваренного нефтепровода, что переползал равнину с востока на запад, изредка останавливал машину и подходил к бровке. Местами в траншею рушились со стенок сухие куски глины. «Дно надо чистить, — подумал Искандер. — Не дай бог, если вдруг пройдет ливень».

— Работы очень много, — сообщил он в кабине Тамаре. — Придется работать весь световой день.

Девушка молча кивнула, не отрывая глаз от однообраз-



ной дороги. «В самом деле молчунья», — вспомнил Искандер Игоря.

Он хотел было попросить Федора притормозить у перехода через очередной овражек, как нечаянно увидел, что шофер незаметно скашивает глаза и заглядывает девушке за ворот блузки. Искандеру стало противно. Он попросил Федора остановиться.

Когда стали снова рассаживаться, Искандер полез в кабину первым и сел возле Федора. Он поймал быстрый благодарный взгляд девушки.

Машина встала у глубокой балки. Крутые ее откосы поросли густой зеленой травой, узкое, извилистое дно усеяно было валунами, что приносятся весенними потоками с гор.

За балкой нефтепровод нырнул в землю. Еще дальше, на краю равнины, где берут начало обширные леса, стоит маленький аул Шаги-Султаново. Искандер слышал от старожилов аула о недоброй славе балки. Во время гражданской войны колчаковцы, отступая, расстреляли здесь пленных красноармейцев. Старухи и малые дети боятся забредать в эти места. Суеверные жители Шаги-Султанова утверждают, будто души загубленных бродят в балке и кричат в непогоду длинным, пронзительным криком разгулявшегося ветра.

Искандер с Тамарой вытащили ампулу и понесли к трубам, спускавшимся по откосу на дно балки. Искандер показал девушке, как укладывать пакеты с пленкой вокруг сваренных труб.

— Теперь смотрите — я выдвигаю радиоактивный заряд для просветки шва, — предупредил он и, направив аппарат коническим зевом на пленки, повернул рычажок. — Бегом!

Искандер схватил девушку за руку, и они далеко отбежали от трубы.

— Радиация очень сильная, — предостерег он. — Будь осторожнее.

Посмотрев на часы, Искандер побежал к трубе и задвинул рычажок.

Тамара собрала пленки, нашла наплавленное на трубе клеймо сварщика и аккуратно записала в журнал.

— Пленки отнесите в кабину, — попросил Искандер. «Как же спустить ампулу на дно балки? — прикинул он, поглядывая на крутой откос. — Может, Федор знает, как проехать на дно?»

Он вернулся к машине. Федор, широко улыбаясь, заигрывал с девушкой. Тамара вежливо отвечала, но когда

Федор, будто бы играючись, обхватил ее за спину и притянул к себе, она резко отстранилась и ударила шофера по руке.

— Чего? — улыбка сошла с лица Федора.

— Ничего, — ответила Тамара, неохотно разжимая губы.

— Пошутить нельзя, — сказал шофер и с сожалением оглядел маленькую, крепкую грудь девушки. — Скажи, Искандер, какая недотрога?

Тамара холодно взглянула на шофера и посоветовала:

— По утрам бриться надо. — И добавила с насмешкой: — ...дядя Федя.

Тот обиделся и полез в кабину. Искандер с Тамарой вернулись к ампуле, подхватили ее и потащили вниз.

— Вот змей, — сказал Искандер о Федоре. — Раньше помогал, теперь из кабины не вылезает.

— Это он из-за меня, — огорчилась Тамара. — Вы не беспокойтесь, я вам во всем буду помогать. Я сильная...

Она опустила ампулу на землю и улыбнулась Искандеру.

— В прошлом году нас посылали в колхоз, так я одна таскала мешки с картошкой, — похвасталась Тамара.

Она оглянулась и крикнула навверх звонким, срывающимся голосом:

— Дядя Федя! Помогли бы хоть, а?.. Не слышит, черт глухой...

Искандер посмотрел на юное насмешливое лицо Тамары и подумал: «Совсем еще девчонка...»

Возвращались домой после обеда. Тамара сидела у окна и с прежним выражением холодной скуки смотрела на рыжие трубы и плоскую, неинтересную степь.

«Что она видит сейчас впереди? — подумал Искандер, взглядывая сбоку на чистый профиль девушки. Он вспомнил город, только недавно покинутый им. — Широкие проспекты, театр? А может, воздушные замки, дворцы? Или просто-напросто милое лицо товарища по курсу? А тут рядом небритый, нечистый в мыслях Федор, молчун радиограф, который если и говорит, то только о своей работе...»

Искандеру стало жаль девушку.

— У нас тут невесело, особенно с непривычки. Идти некуда, — сказал он. — У меня есть книги, возьмите почитать.

— Спасибо, — удивилась она. — Вот это кстати. У меня совсем нечего читать.

Федор подъехал к столовой и остановил машину у самого крыльца.

После обеда они закрылись в лаборатории.

— Совсем как фотографы, — усмехнулась Тамара в темноте.

Невидимая, она стояла за спиной Искандера и расспрашивала, что он делает.

Потом при свете Искандер разглядывал проявленные пленки. Тамара снова стояла за его спиной и, касаясь грудью Искандера, заглядывала в снимки сварных стыков.

— Погляди-ка, Тамара, вот сюда, — Искандер оживился и показал на светлую черточку, пересекавшую снимок. — Видишь? Непровар корня шва. При первой же сильной нагрузке шов в этом месте может порвать. Чей это стык?

Тамара заглянула в журнал.

— Фарит Искужин, — сказала она. — Сварщик шестого разряда.

— Докатился, — вздохнул Искандер. — Первоклассный сварщик был, а теперь варит все хуже и хуже.

Уже вечером они вышли из лаборатории.

— Я в столовую, — сказал Искандер. — А вы?

— Я не хочу ужинать. — Тамара повернула к своему вагончику. — До свидания, до завтра!

После ужина Искандер лежал на раскладушке и слушал, как за окном затихает городок. Игорь громко распекал кого-то из шоферов, не поставившего трубовоз на место.

— Федора! — насмешливо кричал хриплый бас, в котором Искандер узнал сварщика Фарита Искужина. — Много ты сегодня наездил? Мои стыки не забраковал?

— У Искандера новый браковщик объявился, — угрюмо ответил Федор. — Я про студенточку говорю. Глазастая, смазливая девка — у Искандера на ходу слюнки текут.

«Какой дрянной человек живет на свете, — возмутился Искандер, но встать и выйти на крыльцо у него не хватило сил — так намотался за день. — Да и что спросишь с этого никчемного человека?»

В дверь постучали. Искандер вскочил на ноги. В комнату несмело вошла Тамара. Она была в простеньком платице и тапочках на босу ногу.

— Я только на минутку, — извиняющимся голосом сказала она и присела на стул. — Вы мне обещали книгу.

— Пожалуйста, — сказал Искандер и кивнул на полку. — Выбирайте любую.

Тамара подошла к полке и провела длинными пальцами по корешкам книг.

— Мне вдруг стало тоскливо, — призналась она и повернулась к Искандеру. — Ночами тут какая-то непривычная тишина. В степи кричат птицы, которых я не знаю ни по виду, ни по голосу. Вчера в дверь просунулась то ли мышь, то ли суслик — снова незнакомая личность. — Она усмехнулась. — Живем на земле и не знаем своих меньших братьев.

— Вы родились в городе? — спросил Искандер.

— В городе, — ответила Тамара. — И жила всю жизнь в городе. — Она подняла на Искандера большие немигающие глаза. — О чем вы думаете здесь, в этой глуши, среди этих оврагов? Вот сейчас, например, перед моим приходом?

— Я просто лежал и ни о чем не думал, — соврал Искандер. — Устал, видно.

— А я шла к вам и думала, какой смысл жить в этих безлюдных краях. Даже иной раз кажется, что эта равнина нигде и никогда не кончается, что кругом одни овраги, трубы и дяди Феди.

— Это вы зря, — сказал Искандер. — И здесь жизнь кипит, только надо приглядеться и самому делать что-нибудь полезное. Вот поживете месяц и — привыкнете.

Тамара с недоверием выслушала Искандера и ушла. Он стоял на крыльце и провожал девушку взглядом. Тамара легко бежала через городок к своему вагончику.

Искандер посмотрел на ночное небо, равнину, в которой будто плыл притихший городок, и, вслушиваясь в стук захлопнувшейся за девушкой двери, подумал: «И в самом деле, будто мы с Тамарой одни на свете».

* * *

Утром Федор сказался больным и не вышел на работу. — Пусть лежит, — сказал Искандер Зуфару Набиевичу. — Сам поведу машину.

— Справишься? — спросил тот и недоверчиво оглядел тонкую фигуру Тамары.

— Справимся, — ответила за Искандера Тамара и вспрыгнула на подножку машины.

Искандер взялся было за дверцу, как начальник участка небрежно, будто только что вспомнив, бросил ему:

— Подожди, Искандер. Ты чего забраковал стыки Искужина?

— Он не проваривает корень шва, — Искандер с треском распахнул дверцу. — Пленки в лаборатории, можете взглянуть.

— Да чего их глядеть, — отмахнулся Зуфар Набиевич. — Ты сам посмотри внимательно, может, ошибся. Ты не чужой человек на участке и понимаешь, каково ребятам возвращаться обратно к балке, переделывать нефтепровод. Я тебя очень прошу: изучи заново пленки и, если возможно, пересмотри заключение.

Искандер, не поднимая головы, промолчал.

— Что он вам говорил? — с тревогой в глазах спросила Тамара, когда они отъехали от городка. — Ругает за вчерашнюю работу?

— Вот именно, за вчерашнюю, — сказал Искандер. — Приказывать мне он не имеет права, поэтому он... просит... Конечно, не с руки ребятам возвращаться и переделывать старую работу.

— Может, пропустим стыки Фарита? — спросила Тамара.

«Пропустим...» — усмехнулся про себя Искандер.

— Стыки Фарита, как говорится, на грани. Можно и пропустить, если закрыть глаза. Но вдруг один из его стыков рванет через год-два? — Искандер угрюмо смотрел вперед, на пыльную дорогу. — Людей в этой балке нет, жертв, допустим, не будет. Но нефти пропадет на миллионы рублей, потом — а это главное — встанут без сырья заводы. Нефтепровод быстро не починишь.

— Что же будем делать? — спросила Тамара.

— Не знаю, — Искандер пожал плечами. — Стоит ли рисковать ради одного Фарита, ради Зуфара Набиевича, которому надо уложиться в сроки?

Искандер обеспокоенно взглянул на девушку.

— Сегодня нам, Тамара, достанется. И зачем тебя впутали в это неженское дело? Надломишься...

— А ты не бойсь, — вдруг перешла на «ты» Тамара. — Ты совсем не знаешь меня. Так зачем лезешь с прогнозами?

Они молча доехали до нужного пикета, вытащили из кузова ампулу и понесли ее к трубам. Далеко впереди них, за Шаги-Султановской балкой, стоял бульдозер, чуть ниже, у самого откоса, стоял второй. Видимо, их пригнали ночью. Возле машин стояли механизаторы. Они ждали команды к засыпке.

— Земляк, ты почему меня позоришь? — спросил после обеда большой, сутулый Фарит Искужин у Искандера. — Мои стыки никогда не браковали.

— Фарит, ты не проварил корень шва, — мягко начал Искандер. — Ты лучше меня знаешь, к чему это может привести.

— Дорогой мой, — сказал Фарит и легонько толкнул в плечо Искандера. — У тебя не хватит пальцев на руках и ногах; чтобы сосчитать, сколько я сработал трубопроводов. И все они безотказно действуют.

— Может быть, — сказал Искандер. — Но за этот твой нефтепровод я не могу поручиться.

— Вот как? — хмуро спросил Фарит. — А ты поработай с мое. Ты в жизни не лежал под трубой, в воде, в болотной грязи. Корень шва ... Вот полежи под трубой, тогда поймешь, где корень.

— Ты знаешь свое дело, а я — свое, ты мои дела не суди. — Искандер еле сдерживался.

— Я имею два ордена за работу, а ты, пацан, что имеешь? — грубо спросил Фарит.

— Лучше бы ты их не имел! — закричал Искандер в лицо Фариту. — Без них ты лучше варил. Хоть ты и старше меня, но я при всех прямо скажу — зазнайка ты! Молодые ребята тебя давно обогнали, хоть они и без наград.

— Что ты говоришь, собака? — Фарит вплотную подошел к Искандеру.

— Тихо-тихо... — остановил расходившегося сварщика Зуфар Набиевич. — Ты зачем с радиографом ссоришься? Он отвечает за свою работу. Случись потом авария — его под землей разыщут. Понял? Ссориться нам не надо.

— Придраться можно к любому сварщику, — Фарит сильно сутулился и поглядывал на Искандера маленькими злыми глазками. — Чистых стыков никогда не бывает, даже при автоматической сварке.

— Успокоился? — спросил Искандер. — Принеси-ка, Тамара, его пленки.

Тамара побежала в лабораторию. Фарит и Зуфар Набиевич насторожились. Подошли еще несколько сварщиков.

— Вот его стыки, — запыхавшаяся Тамара протянула Искандеру пленки. Тот развернул одну из них и показал Фариту.

— Ну и что? — спросил тот, недоверчиво глядя в снимок.

— Вот это видишь? — спросил Искандер. Но Фарит и склонившиеся над снимком сварщики и сами видели предательскую белую полосу.

— И хуже стыки проходили, — не сдавался Фарит.

— У меня не проходили, — Искандер повернулся к начальнику: — Отстраните его от работы до повторной сдачи на разряд.

— Что?.. — спросил Фарит и изумленно оглядел собравшихся. — Ты, парень, хорошо подумал? Я двадцать лет на трассе, у меня...

Зуфар Набиевич молча оттер плечом Фарита и, взяв Искандера за локоть, повел в контору.

— Мы хотим поговорить наедине, — сказал он с улыбкой Тамаре, направившейся вслед за Искандером.

— Пусть идет, — спохватился Искандер. — Она моя помощница, у меня от нее нет секретов.

— Ну хорошо, — поморщился Зуфар Набиевич и закрыл дверь. — Поговорим о деле. Я иду тебе навстречу — сегодня же перевожу Искужина на подсобные работы. У него головокружение от успехов, пусть немного протрезвеет, потом заварит пробный стык. Но... — Зуфар Набиевич впился взглядом в лицо Искандеру. — Ты эту балочку пропусти. Не тяни меня за хвост. Местность безлюдная, поблизости ни шоссе, ни железных дорог. И требования к сварке, сам знаешь, в таком случае помягче.

— А потери нефти? А если заводы встанут без сырья? — смело вмешалась в разговор Тамара.

Зуфар Набиевич резко повернулся к ней.

— Выйдите отсюда, девушка, — сказал он. — Или вас надо как-то по-другому просить?

— Тамара, оставь нас, — попросил Искандер.

Тамара неохотно подошла к двери, пыталась встретиться взглядом с Искандером, но тот смотрел в сторону.

Хлопнула дверь.

— С характером, — усмехнулся Зуфар Набиевич. — Только зачем она в производственные дела лезет?

— Как же ей не лезть? — удивился Искандер. — Она будущий инженер.

— Вот и хорошо, — не слушал Зуфар Набиевич. Его иссеченное преждевременными морщинами лицо разгладилось. — Поговорили о балочке, и — хватит. Теперь, кстати, о твоей просьбе. Ты у меня два года без отпуска. Как за-

кончим нефтепровод, я подпишу твое заявление. — Искандер открыл было рот, но Зуфар Набиевич быстро продолжал: — Я на днях договорился в тресте, съездишь по путевке на ВДНХ в Москву. Погляди на отечественные достижения в сварке, поучись, потом нам расскажешь. А теперь езжай на трассу, работы у тебя много.

Искандер растерянно взялся за ручку двери, как вдруг в контору влетела Тамара. Искандера поразило ее раскрасневшееся, гневное лицо.

— Я все слышала, — торжественно объявила она Зуфари Набиевичу и, повернувшись к Искандеру, с укором взглянула ему в глаза: — Неужели ты не понял, что тебя подмазывают отпуском и путевкой на ВДНХ? И ты так легко попался на эту удочку? Тебе, как маленькому мальчику, дядя сует конфету и ждет от тебя спасибо... Так скажи свое мужское слово, Искандер!

— Я от своих слов не отказывался, — мрачно сказал Искандер и, взглянув на обрадованное лицо Тамары, вышел.

— Нет... вы какая-то ненормальная... — Зуфар Набиевич медленно приходил в себя. — Откуда вы взялись на мою голову? Если б вы были нормальным человеком и отдавали себе отчет, что вы делаете, я б сегодня же отправил вас обратно в институт.

— Искандер молод, ему жить да жить, — быстро заговорила Тамара. — Зачем вы заставляете его обманывать, идти против своей совести?

Зуфар Набиевич нахмурился и хотел, видимо, сказать что-то резкое, но поглядел на юное решительное лицо девушки и сдержался.

— Вы приехали к нам работать или митинговать? — спросил он и показал глазами на ожидавшуюся машину Искандера.

Тамара повернулась и выбежала из конторы.

* * *

Вечером Тамара снова сидела у Искандера. Она была построена воинственно.

— Зуфар Набиевич перевел Искужина на прихватку, — сообщила она. — Фарит страшно злой: он к нам ни разу за весь день не подошел.

— Обижается... — сказал Искандер, расстраиваясь. — Бедой для нас оборачивается эта балка. У землеройщиков

бульдозеры простаивают. Изоляционная колонна сидит без работы. Зуфар Набиевич ничего не предпринимает, и получается, будто дело стоит не из-за брака, а по моей вине. Искужин говорит ребятам: Искандер — капризный человек, никогда не знаешь, с какой ноги он встанет завтра утром.

— Другие же этого не говорят? — спросила Тамара.

— Пока не говорят, но потом скажут. — Искандер встал и включил электрочайник. — Если бы я мог чем-то помочь ребятам... В последнее время я стал задумываться, не уйти ли мне с этой работы.

— Вот Зуфар Набиевич обрадовался бы, — усмехнулась Тамара. — Он нашел бы другого радиографа, смирного, складистого.

— И это верно, — Искандер поставил на стол чашки и сахарницу. — Ты зачем подслушивала у двери? — вспомнил он и засмеялся.

— Я не подслушивала, — вспыхнула Тамара. — Просто стояла на крыльце и все слышала. Он такой опытный, хитрый, этот Зуфар Набиевич, я ж по его глазам вижу. Думаю, уговорит он Искандера. А потом тебя бы всю жизнь совесть мучила. Ведь так?

— Глупенькая ты, — снова засмеялся Искандер. — Пей чай, пока не остыл.

Они пили чай и беспечно болтали, как школьники. Прощаясь, он сказал Тамаре:

— Знаешь, пока сидели с тобой, мне пришла одна мысль. Нет, сейчас не буду рассказывать. Завтра...

Он надел туфли и пошел к механику Игорю Шерстобитову.

— Игорь, спишь? — тихо спросил он и постучал в стекло. В вагончике кто-то заворочался, встал и пошел к двери.

* * *

Через два дня на дне Шаги-Султановской балки собрались Зуфар Набиевич, Игорь, Искандер, несколько рабочих и Тамара. День был пасмурный, ветреный, в разрывах между туч иногда появлялся желтый диск солнца. Тамара зябла и заслонялась от ветра воротником куртки.

Искужин стоял в стороне и с недоверием разглядывал шланговый противогаз, привезенный Игорем.

Двое рабочих быстро собрали газорезку и, встав по обе стороны трубы, включили горелки. Искандер надел поверх брюк брезентовые штаны, Тамара помогла ему влезть в жесткую рабочую куртку.

— Давай я полезу первым, — в который раз начал Искужин. — Моя работа...

— Успеешь, — отрезал Искандер. — Помоги-ка размотать веревку.

Искужин бросился к бухте, вытащил конец и завязал его свободным узлом на поясе Искандера.

Рабочие разрезали злополучный участок нефтепровода и ломами растащили трубы в разные стороны.

— Если два раза дерну за веревку, то... — Искандер значительно посмотрел на Зуфара Набиевича — ...вытягивайте.

Искандер намотал на руку кабель с электрододержателем и полез в трубу. Вскоре сварочный агрегат, будто проснувшись, заработал громче и учащенней.

— Варит... — сказала Тамара и заглянула в трубу. В крошечной тьме, далеко отсюда, ярко полыхала огнем электрическая дуга. Из трубы медленно пополз дымок. Зуфар Набиевич внимательно наблюдал за веревкой, выходящей из чрева трубы.

Дым пополз гуще. Агрегат работал на предельных оборотах.

Минут через пятнадцать из трубы, обессиленный и мокрый, вылез Искандер.

— Пекло... — сказал он и повалился в траву. — Работать можно, только надо почаще меняться.

Искужин натянул на голову противогаз, расправил шланги и нырнул в трубу. Одетые в брезентовку, ждали своей очереди сварщики Миша Громов и маленький, очень подвижный Виктор Трясогузов.

Работали до ночи. Тамара ходила в сумерках вдоль трубы и с интересом наблюдала, как круглым красным пятном светится труба в месте сварки. Искужин накинул ей на плечи свою широкую брезентовку, Тамара пряталась в ней от ветра и, согреваясь, думала, что вот и развязался участок с этой злосчастной балкой.

Домой ехали в автобусе. Зуфар Набиевич сидел позади шофера и молчал. По его старому лицу непонятно было, считает ли он сегодняшний день удачным или просто-напросто полагает, что еще одной суетой в жизни меньше.

Фарит Искужин обернулся к Искандеру, но, увидев, что у него на плече спит Тамара, вздохнул от сожаления. Ему хотелось поговорить.

— Эх, земляк, — сказал он, отворачиваясь. — Чего в нашей жизни не бывает, чего не случается. Искужин еще покажет себя в работе... Еще как покажет!

В последний раз Искандер вез на своей машине Тамару. Она сидела, вжавшись в угол кабины, и смотрела вперед, выше дороги.

Было прохладно. Вечером прошел холодный сентябрьский ливень и сбил с дороги толстый слой пыли. По дну овражков бежали ручейки — в горах наступал сезон затяжных дождей.

Искандер и Тамара молчали. Все было сказано вечером. Тамара сообщила, что утром уезжает. Искандер хоть и догадывался об этом, но все же новость больно задела его. Тамара взглянула на его изменившееся лицо, обняла за плечи и, плача, стала целовать в губы. Искандер понял, что худшее впереди.

Теперь он знал, что у Тамары есть парень, он учится в том же институте, курсом старше.

«Я проклинала свою практику, она мне казалась такой скучной, — говорила она, не отпуская его плеч. — Люди здесь похожи друг на друга, думалось мне, как похожи эти рыжие трубы, отношения их просты и неинтересны. Но потом началось с этой балкой... Я решила, что все против тебя: и начальник, и рабочие, и даже их жены, и что все они хотят обмануть тебя, подвести к беде. Когда Зуфар Набиевич выгнал меня из кабинета, а потом обозвал ненормальной, то есть душой, — я обрадовалась. Выходит, я что-то значу, со мной считаются.

И вот я незаметно привязалась к делу, к городку и, конечно, к тебе...»

Искандер внезапно замкнулся и молчал весь вечер. Глухое равнодушие к себе, к тому, что он незаметно для себя растил в душе, не отпускало и теперь. Он смутно чувствовал, что когда-нибудь, а может, всю жизнь, будет горько жалеть, что вот так просто, молча и безропотно, отдал любимую девушку другому. А тот, другой, любит ли ее так, как успел полюбить он?

Они остановились у Шаги-Султановской балки. Давно утихли страсти вокруг этого безымянного участка нефтепровода. Укутанные в изоляцию трубы лежали под землей, и по ним уже шла туго спрессованная нефть. Рабочие улыбаются, вспоминая этот горячий сезон. Часто напоминают они друг другу, как в дыму и чаду доваривали изнутри трубы. И сам Фарит Искужин усмехается и говорит в смущении: «Чего, земляки, не бывает в нашей жизни...»

Искандер посмотрел сбоку на тонкий, чистый профиль лица Тамары, подумал: «Вот сейчас взять это родное лицо в руки и сказать обо всем. Сказать, что это она дала ему силы, и он никому не позволил сломать себя в этой истории с Шаги-Султановской балкой. И как ему будет неуютно и трудно жить дальше без нее...»

Он сделал было движение к девушке. Тамара, улыбаясь, повернула к нему голову, подождала, но он снова замкнулся.

— Что ж, поехали... — вздохнула она и, оглядев в последний раз балку, попрощалась с ней, как с живым человеком: сняла с головы косынку и помахала ею с подножки машины.

ИСПОВЕДЬ СЕМЬИ ПУШКАРЕВЫХ

Отцу, не вернувшемуся с войны

МАТЬ: — В тот год мне исполнилось семнадцать лет, и я начинала украдкой поглядывать на наших джигитов. Они мне казались высокими, стройными и красивыми. Но в начале лета моя тетя Райса-апа и я ездили в большой аул на ярмарку, и мне стало неловко за моих ровесников. На ярмарке собралась молодежь из многих аулов. Наши джигиты уступали им в росте и силе. Но не это бросалось в глаза. Парни и молодые мужчины из Нугая мало двигались, ходили вяло, вразвалку, вид имели сонный, ко всему равнодушный, словно в их жилах текла не горячая кровь, а крепко заваренный чай. Трудно было раззадорить, разозлить их, собрать на какое-то общее дело. Чужие джигиты минуты не могли усидеть на месте, им надо было куда-то бежать, скакать, рассориться из-за пустяка и затеять драку. Взгляды их, горячие, дерзкие, смущали меня, и я ни на шаг не отставала от тетки.

Аул наш назывался Нугаем. Жили мы в низине, окруженные с трех сторон высокими безлесными холмами. Позади аула лежала равнина, через нее протекала речка, щедро питавшая землю, и она, поросшая травами, камы-

шом, на все лето становилась непроходимым болотом. Единственная дорога, соединявшая Нугай с миром, проложена была через седловину. Путь этот доставлял немало хлопот как пожилому человеку, так и навьюченной лошади.

Мужчины аула тянули исправно крестьянскую лямку, сажали хлеб, ухаживали за скотом, растили детей, ставили их на ноги, как умели, и умирали, редко доживая до седых волос.

Женщины Нугая славились красотой, гордой осанкой, в кости были тонкие, умели хорошо спеть и сплясать, но и они не отличались крепким здоровьем.

А ведь род наш, сказывали старики, имел славную историю. Жил он и кочевал на высоких холмах, где много солнца, воздуха и света, спускался в зеленые долины с богатыми пастбищами, обильными водами, а на зиму перебирался в укрытые от ветров и врагов низины. Род имел много скота, отважных воинов и заставлял иноплеменников с уважением взирать на свою родовую тамгу. Но потом пришли ногайцы, и род, отстаивая свои земли, пастбища и воды, сильно поредел в стычках, ушел в горы и затаился. Самые сильные, самые смелые легли в эту землю. Потом белый падишах разбил казанских татар, и ногайцы, друзья их и союзники, бежали с нашей земли. Они уговорили и наш род откочевать с ними в далекие земли. Иначе, пугали они, русские воины разорят башкир и обратят их в свою веру. Наш род вместе со скотом и добром своим присоединился к ногайцам, долго шел степями, пересек великую реку Идель, снова пересекал степи, но уже сухие и безводные, и остановился на виду далеких остроконечных гор. Тяжело человеку на чужбине, тяжелее ему вдвойне, если возвращаться некуда. Скот и лошади болели, дети, притихнув, по-стариковски печально смотрели на взрослых и круглую безводную степь. У женщин от тоски пропало молоко, и младенцы не плакали, а, поскуливая, повизгивая, мяли беззубыми ртами сухие груди матерей. Ночи здесь не приносили благословенной прохлады, и старые воины лежали у своих кибиток и глядели на север, где осталась зеленая, полноводная родина.

«Реки наши богаты рыбой, — зароптали молодые, — В долинах трава скрывает всадника, в горах много пушного зверья и целебного меда. На что нам эта каменная степь?» Вслед за молодыми взроптали бывалые мужчины рода, и старейшины решили повернуть коней к дому. Обратный путь был долгим и тяжелым — немало батыров полегло в

стычках с чужими племенами. Вернувшихся стали звать нугаями. Они выбрали для поселения эту низину, забившись по-звериному в логово, окруженное холмами, а спиной упершись в болото. Потом, вспоминают старики, наш род еще раз понес большие потери. Пришел старшина горных башкир Юлай и с русскими казаками осадил Уфу. Нугайцы сказали себе: «Если мы поможем Юлаю взять крепость, старшина со своим сыном не забудут нас, мы станем вольными казаками и вволю получим земли, пастбищ и воды». Но Юлай с русскими казаками не взяли Уфы, а нугайцы оставили много джигитов на снежных полях перед крепостью. Могуча и всевластна белая царица, жестоко покарала она своих и чужих заслушание двуглавному орлу. Нугайцы вовсе лишились своих пастбищ на высоких холмах.

СЫН: — Мать справедливо говорит о нездоровье, хилом сложении и коротком веке жителей Нугая. Но она неверно объясняет все это причиной неудачного расположения аула. Конечно, климат и воздух здоровее, чище наверху, на холмах. Болото, кстати, было настоящей бедой для аула — часто жители Нугая болели малярией. Но настоящая причина таилась в другом. Аул, однажды уединившись в надежном убежище, закоснел и стал избегать связей с окружающим миром. Потрясения и бури, вырывавшие у аула лучших его сыновей, наложили тяжелый отпечаток нелюдимости на их характер.

Аксакалы Нугая оказались недалёковидными людьми, запершись в низине от большого мира. Брачные связи между близкими родственниками привели аул к вырождению. Нужен был свежий ветер, чтобы разогнать затхлую, застоявшуюся жизнь нугайцев. Но даже крушение непобедимого доселе, всемогущего царя и жестокая трехлетняя гражданская война не поколебали старых, обросших плесенью устоев аула.

Окрепшая Советская власть перевернула жизнь Нугая. В ауле появилась школа, перестроенная из старой мечети, пожилые нугайцы заходили в нее посмотреть на портрет Ленина. «Этот человек победил всемогущего падишаха и вернул нам землю, пастбища и воду, — говорили они, с почтением взирая на лобастую голову народного вождя. — Выходит, есть правда на этом свете?»

Но когда в воздухе повеяло коллективизацией, нугайцы, успевшие к тому времени сбросить с себя сонную одурь и безразличие, копившиеся в них веками, вскричали: «Кому

отдавать теперь то, что отобрал у падишаха для нас великий Ленин? Самим себе? Как это самим себе?»

МАТЬ: — Был в Нугае все же высокий, статный и могучий джигит. Звали его Хакимом, а фамилия, как и у многих других в ауле, Нугаев. В свои девятнадцать лет он выглядел сложившимся мужчиной. Нравилась я ему или жалел он меня, сироту, но уже в детских играх он всегда был рядом со мной. Может, и остались бы мы рядом на всю нашу жизнь, но одно пугало меня в красавце джигите: Хаким бывал необуздан и жесток. Еще в детстве за маленькую провинность или шалость товарища по игре он темнел лицом, и, стискивая зубы, набрасывался на провинившегося и бил его до тех пор, пока тот не валился Хакиму в ноги, умоляя о пощаде, или дерущихся растаскивали взрослые. Хакима боялись даже старшие ребята. Злость удваивала, утраивала ему силы. Однажды подростком Хаким столкнулся с джигитом, призванным в армию. Тот был навеселе и отпустил при всех шутку, назвав Хакима «нугайским козлом». «Ты, старший брат, проглядел, — ответил ему Хаким. — Я уже успел в быка вырасти». И отвесил ему оплеуху. Джигит ответил на удар и рассек парнишке губу до крови. Хаким неистово бился с завтрашним красноармейцем, на каждый взмах руки парня наносил два-три удара. Парень рад был бы кончить драку миром, но Хаким никогда не останавливался на полпути. Просить прощения у подростка было б позорно для джигита, и он дрался до тех пор, пока не обессилел и не свалился в дорожную пыль. «Нугайское отродье», — сказали о Хакиме после этой драки старики, вспоминая, наверно, старинные легенды о неистовых, злобных кочевниках, некогда приходивших в наши земли.

Хаким, правда, редко бывал таким. После каждой драки он пропадал на несколько дней, потом появлялся на улице тихий и смирный. Ровесники сторонились его, убегали, но он чем-нибудь да подкупал их. Старший брат Хакима воевал за красных, знал грамоту и работал в волости начальником. Хаким привозил от него то настоящий кожаный мяч, то старый, проржавевший велосипед — диковинные вещи для нашего глухого аула. И ребята не выдерживали, бежали к нему, водили игры, пока Хаким снова не показывал свое злое нутро.

Райса-апа со своим мужем меня не обижали. Жилось мне не то чтобы хорошо, но и не плохо. Конечно, никто не заменит отца с матерью, особо ласку материнскую. Нет, я

не обижаюсь на них, они были хорошими людьми. Кто бы другой из родственников взял сироту?

СЫН: — Мать очень добра к людям и легко прощает старые обиды. «Не то чтобы хорошо» жилось ей у родственников — мягко сказано! В ее обязанности, кроме дома, входил уход за скотиной. Я подсчитал, что она ходила зимой на дальний родник за водой по десять — двенадцать раз в день. Весной она простывала и лежала за печкой с высокой температурой, немощная, ослабевшая. Но болезнь не снимала с нее обязанностей: лишь только жар спадал, мать отправлялась за водой. Правда, ей делалось послабление: разрешалось приносить неполные ведра. Вот так жила маленькая сирота. «Не то чтобы хорошо...»

Когда я, взрослый, не обиженный от природы силой мужчины, ставлю чайник или кастрюлю в мойку и набираю воду из-под крана, я в отчаянье смотрю на тщедушную мать и не могу представить ее худенькой, больной девочкой, в больших валенках бредущую от родника домой. «Не злись, — говорит мать. — Не трогай мертвых. Тетя растила, кормила-поила меня, спасибо ей на том великое».

Я бы рассказал про нугайскую тетку много больше, но мать морщится, просительно прижимает палец к губам.

МАТЬ: — Хакима я боялась не меньше других. Он не обижал меня, но когда взглядывал на кого-нибудь недобро, я вся съеживалась, мне хотелось стать крохотной, юркой зверюшкой, убежать в первую попавшуюся щелку и не видеть его пасмурного, тяжелого взгляда.

В семнадцать лет я была темной, почти неграмотной, как и другие девушки Нугая. В девочках тетя пожалела меня и отвезла зимой в большой аул, где была мечеть и где жил мулла. Тетя дала ученому человеку барана, немного денег, и он обучил меня читать и писать. Хаким кончил семилетку в волости, я смотрела на него с завистью. Но ученье не сделало его добрее...

Никуда бы я от него не делась, если бы... Если бы в нашем доме была хорошая печь. Мы каждое лето заготавливали много дров, но их едва хватало на одну зиму. Печь дымила при растопке, немного прогревшись, начинала оглушительно перемалывать дрова, но тепла давала мало.

Муж тети поехал в Михайловку и привез хорошего печника. Я ожидала увидеть худого русского старика с длинной белой бородой, в рубахе до колен, что положит десяток

кирпичей и бежит в угол кланяться своему богу, а потом пьет квас. Однако приехал молодой, лет девятнадцати—двадцати, парень. Звали его Павлом. Русский джигит был высок и широк в плечах. Такой же сильный, как Хаким. Но сила у печника была добрая, хорошая. Он прожил у нас целую неделю.

ОТЕЦ: — Я мог бы сложить печь за три дня. Но привожила меня чем-то дочь хозяина, Мадина. Сяду отдохнуть, а она на меня из угла глазеет или в дверях стоит. Я ей: «Надя!», а она глазами стрельнет, засмеется, головой покачает и поправит: «Юк, Надя юк. Мадина...» Я снова начну работать, забуду обо всем, потом оглянусь, а она с ведром раствора стоит. Я ей опять: «Надя!», она тут же головой замотает: «Юк, Надя юк. Мадина...» Быстро, споро она работала. Наносит воды с родника, сухой глины в большое деревянное корыто засыплет, лошадиного помета для связки добавит и начнет раствор месить. Прыгнет в корыто, подхватит юбчонку руками и давай ногами сучить. Я засмотрюсь на ее тоненькие, длинные ножки, она пальцем грозит, но не злится. У молодости свои приличия...

На второй день узнал я за обедом, что Мадина вовсе не дочь хозяевам, а сирота. Жалость на меня накатила. Разглядел я сразу, что и одета она победнее других девчонок в ауле, и спрашивают с нее поостроже. А уж работы на Мадине! Как все успевали сделать ее маленькие ручки и ножки? Я ведь и сам сирота... Рос у бабки с дедкой. Не беднее других вроде жили. Не стесняли меня особо. Но нет тебе родительской ласки — обделенный ты среди всех человек. Однако ж я мальчишка, мне легче. Но девчонке тяжелее.

Перестал я шутить, насупился и кладу себе кирпич на кирпич. Погас как-то солнечный день, померк. Мадина ставит рядом со мной ведра с раствором, пустые обратно к корыту несет. Иной раз кружку с айраном подвинет, это у них кислое молоко с холодной водой мешают, очень помогает на жаре.

Повернулся я как-то к Мадине, и мастерок у меня из рук выпал. Сидит она на порожке усталая, поникшая, в замызганной своей юбчонке, в черных глазах слезы. «Что с тобой, Надя?» — спрашиваю. Девчонка живо прыг с порожка, обрадовалась, заулыбалась сквозь слезы: «Юк, Надя юк. Мадина звать меня». Успела она со мной десятка два слов по-русски выучить.

Забегала Мадина, зашевелилась, усталость с нее как

рукой сняло. Уж не прирастать ли мы душой друг к другу начали, думаю. Вырвал я у нее лопату, ведро и сам раствору положил, возле себя поставил. «Отдыхай!» — говорю ей и глаза себе прикрываю, чтоб понятно было. «Ульма!» — хохочет она. «Не умирай» то есть. Она поняла так, будто я сильно устал и вот-вот помру. Выходит, и она меня по-своему жалеет.

Не хочется мне кончать работу, и я потихоньку начал волянить. То свод перекладу, то отдых себе устрою. Хозяева недовольны, но молчат — дело важное, нельзя мастера подгонять.

А Мадина на лету учит русские слова. Память у нее была редкая. Я ей пословицы говорю, частушки тихонько напеваю — миг она запомнит и тут же повторит. Вспомнил я озорную частушку, у нас ее в Михайловке пели: «Мин хин яратам — приходи к воротам!» Она смеется, пальцем грозит: «Мин хине яратам», — поправляет, то есть «я тебя люблю». Черные узенькие, стрелочками, брови к переносице сводит, сердится: нехорошо, говорит, некрасиво смеяться над такими словами.

Ночевала она на сеновале. По лесенке взберется наверх сноровисто, как белочка, и шмыг в свое гнездышко. Я спал на дворе — лето жаркое стояло, сухое. Комарье с болота налетало, не давало спать.

Как-то вечером пришел здоровый парень, чуть выше меня, но поуже в плечах. Смурной какой-то, невеселый. Поглядел он на меня исподлобья и стал Мадину звать с собой. На гулянку, должно быть, звал. Она — наотрез. Он удивился, за руку ее взял, в глаза заглядывает. Она вырывает руку и спиной к нему поворачивается. Наблюдаю я за ними тихонько, интересно, думаю. Видать, не ожидал он отказа. Сузил и без того узкие глаза, волком озирается. В меня взглядом уперся, долго смотрел, мне показалось, глаза у него кровью наливаются. Взял я лопату и начал сухой замес на утро готовить. Слышу, кричать они друг на друга начали. Мадина увертывается, он ее за плечи хватает. Нехорошо мне возле них. И смотреть вот так, будто чужая она тебе, не могу, и вмешиваться нельзя — тут свои законы. Пошел я в избу и говорю хозяину: ты бы оградил свою родственницу, ведь силком он ее тащит. Разве это прилично? Хозяин смеется. Мол, скоро они поженятся, какая им разница: сегодня или завтра. Мадина тем временем кричит не на шутку, еле от парня отбивается.

Я к хозяину подступился и в окно показываю: «Ты му-

жик или не мужик?» Хозяин смутился и мямлит, что парень этот, Хаким, больно сердит бывает и лучше, мол, с ним не связываться. Тогда я кинулся к своему фанерному чемодану и собираться начал. «Куда?» — испугался хозяин. «На кудыкину гору, — отвечаю. — Сейчас я уйду, а ты зиму без песчки будешь куковать».

Хозяин с лица сошел, меня за руки схватил. «Не дай пропасть! — кричит. — Барана в придачу дам!» — «Ты лучше своего Хакима за руки хватай, — говорю. — Трус! Твою родственницу на позор тащат, а ты, баба в штанах, сидишь, ухмыляешься».

Подтолкнул я его к двери, а за порог он сам перевалился. «Случай чего, кричи мне, — шепчу ему. — Тогда у меня будет полное основание заступиться за тебя, как за хозяина и благодетеля своего».

Хозяин пошел к Хакиму. Тот уже тащил девчонку со двора, будто добычу какую. Я взялся за лопату и в корыте помешиваю, а сам искоса наблюдаю всех троих. Хозяин доплелся до Хакима и начал умолять его отпустить Мадину. Тот оглянулся на мужичка, будто на пустое место, и опять за свое.

Мужичок мой потоптался, на меня поглядел. Я подбадриваю его, мигаю. Тогда он кинулся к Хакиму, в плечо ему вцепился. Хаким стряхнул его, как щенка надоедливового, и дальше девчонку волокет. На счастье мое, заорал хозяин. Я взял лопату наперевес и побежал к Хакиму. Не ожидал он такого оборота. На меня смотрит, черный весь от бешенства, а губы на глазах моих белеют, будто от мороза. Но девчонку наконец-то выпустил.

Мадина упала в траву, но тут же вскочила, кулачки сжала и на нас смотрит.

Хаким встал ко мне лицом к лицу, шагнул. Я покрепче взял лопату, изготовился. Парень немного дрогнул, глаза чуть прояснились. Быстро нагнулся он и выхватил из-за голенища сапога австрийский штык. Мадина закричала и кинулась ко мне.

— Назад! — заорал я на нее. — Или ты мне руки связать хочешь, погубить?

Хаким как увидел меня оскалившегося, изготовившегося к смертному бою, понял, видно, что на его силу нашлась достойная сила и отпор мой для него будет последним. Запугался он, заматерился, да все по-русски, да все со смаком.

Но... отступает Хаким помаленьку, на лопату мою гля-

дит, как привороженный. Умеет самый злобный человек себя осадить, когда отпор в людях видит.

Остались мы втроем. Хозяин уже не рад ни мне, ни печке будущей. Сильно он боялся Хакима. Постоял возле нас и, расстроенный, в дом ушел. А мы с Матиной друг на друга глядим. «Надя, — улыбаюсь я. Она молчит и голову опускает. — Не хочешь замуж за Хакима?» Она мотает головой. «А за меня пойдешь?» Она еще ниже опускает голову. Вот и приехали, получается.

Смеркаться стало, она белочкой шмыгнула к себе на сеновал. «Вдруг Хаким к ней нагрянет?» — думаю. Взял лопату и по лесенке полез.

— Назад! — кричит она сверху и над моей головой старым колуном машет. — Погубить меня хочешь?

Я растерялся: то ли шутит девчонка, то ли всерьез моими же словами меня останавливает.

— Назад! — опять кричит и лесенку ногами от стены отталкивает.

Я обиделся и слез.

— Пусть придет ночью Хаким и обженит тебя, — говорю я снизу. — Я ващитить тебя хотел.

Она увидела лопату в моих руках и поняла мои добрые намерения. Отбросила колун и улыбнулась.

Примостился я у входа на сеновал, с лопатой и колуном. Матина легла поодаль, на свой топчан. Оба не спим. Я боюсь уснуть и прозевать Хакима с его австрийским штыком. На всякий случай лесенку наверх затащил. У Матины свои причины для бессонницы: как дальше жить, не оставит ее в покое Хаким.

Лежит она под одеяльцем длинная, узкая, притихшая. Лицо смуглое опечаленное ко мне повернуло, смотрит на меня черными глазищами не мигая.

— Надя, — говорю я тихо и весь сжимаюсь. — Мин хине яратам...

Она молчит. Потом заговаривает быстро, сердито:

— Это хороший слова. Не надо так смеяться. Ты плохой джигит, Павел...

— Я серьезно, Надя. Завтра я кончу печь. Как же я тебя здесь одну оставляю? И Хаким, и твой родственник — оба хороши, из одной стаи. Не отдадут они мне тебя по-доброму. Так ведь?

— Ты едешь Михайловка. Хаким будет искать жена. Я не хочу, — раздельно, с трудом подбирая слова, сказала Матина.

— Тогда я увезу тебя.

Я приподнялся и, мешая русские и башкирские слова, предложил Мадине уйти из аула завтра ночью.

Лицо ее разгладилось, она впервые за вечер улыбнулась. Однако стоило мне приблизиться к ней, как Мадина села в постели, замахала руками и сделала сердитое лицо. Стыдливая сдержанность ее удивляет меня всю жизнь. Иногда мне кажется, что у нас не было медового месяца, первых горячих супружеских лет, детей, а рядом со мной живет, дышит, встревоженно поводит глазами малознакомая красивая женщина, такая всегда желанная и близкая, но не устающая сдерживать тебя, разрешающая ласкать себя глазами, улыбкой, словами, но не выносящая нетерпеливых жадных рук, супружеских вольностей. Оттого, наверно, не стареет Надя в моих глазах, и мне кажется, что мы с ней год от года привязываемся друг к другу все больше и нашей сердечной привязанности нет конца и пределов...

МАТЬ: — Большой, сильный и добрый Павлуша лежал у входа на сеновал и стерег мой чуткий сон. С этого дня я боялась не за себя, а за него. Любовь, по-моему, не признает своего «я». Есть «он», и ты думаешь о нем, переживаешь, начинаешь день мыслями о нем и засыпаешь с молитвой всему доброму на свете, чтоб отпустило еще один светлый день ему и тебе.

Сквозь легкий сон мне чудилось прикосновение его рук. Я вздрагивала, открывала глаза, сон слетал, и я разочарованно вздыхала: руки мне приснились. Павел тихо лежал у входа со своей лопатой и слушал, не крадется ли злой Хаким. Мне становилось страшно. У Хакима много верных, послушных джигитов, они убьют Павла. Он умрет, даже не узнав моего поцелуя. Среди ночи я решила подойти и поцеловать его, но когда я представила, что целую чужого человека, иноверца, я испытала суеверный ужас. Я подумала, что обязательно грянет гром и поразит нас обоих. Угадал ли Павел мое желание, но он встал и пошел ко мне. И снова я вскочила и замахала руками, прогнала его, а сама упала в постель, сердце колотилось, и я жалела себя и его. Этот суеверный, сладкий ужас перед нашей любовью не отпустит меня всю жизнь. Меня не покидает чувство греховности и запрета в нашей с Павлом близости. И я буду всегда пугаться, ждать, торопить и не уметь насыщаться его добрыми руками, словами, которые всегда мне кажутся только нашими, и ничьими больше.

Я боюсь улыбаться ему на людях, боюсь, что они разгадают мою не знающую пределов любовь к Павлу, разгадают и засмеют меня. И Павел стесняется меня на людях, мы с ним как брат с сестрой снаружи, а внутри — без меры влюбленные, но хитрые и умело прячущие от людей свои чувства люди. Самое странное, что года идут, а мы будто не стареем, все желаннее друг другу, ближе и открываем каждый день в душах своих новые стороны. И вот подошло время, когда мы прячем наше потаенное чувство не от друзей и знакомых, а от наших умненьких, все подмечающих и вездесущих детей.

ОТЕЦ: — Утром мы сели завтракать. Хозяева выглядели встревоженными, мне кажется, они тоже не спали. Я встал из-за стола и принялся за работу. Печь надо было закончить до вечера. Надя молча помогала мне. Она была очень серьезна, работала быстро и проворно.

После обеда хозяйка хотела было увести Надю к родственникам, в другой конец аула, но она так глянула, что у хозяйки пропала охота говорить.

К вечеру я вывел трубу наружу, надел на нее старое, без дна, ведро, затопил печь и подозвал хозяев. Они недоверчиво глядели на горящие дрова, на печь, от просыхающих боков которой пошел пар. Хозяин выскочил на двор, поглядел, как дым синим столбом поднимается из трубы к небу, и вернулся очень довольный. Через час печь нагрелась так, что последние опасения хозяина рассеялись вместе с дымом. Потирая руки, он сказал, что дров теперь надо будет готовить на зиму в три раза меньше.

Перед ужином хозяин раскрыл кованный железом сундук, залез в него по пояс и долго рылся в тряпках, свертках, узлах. Наконец он сел за стол и выдал мне половину причитающихся по уговору денег. «А где остальные?» — спросил я, глядя в грудь хозяину. Он почесал обритый затылок, полез снова в сундук и так перешуровал его, что выставленный наружу зад ходуном ходил. Усталый, вспотевший, вылез хозяин из сундука и руками развел. За ним полезла дородная хозяйка и стала шуровать с неменьшим усердием. Я отвернулся. Надя, поглядывавшая на меня и хозяев с тревогой в глазах, прыснула в кулачок. Хозяйка, разогнувшись над сундуком, тоже развела руками. Чтобы рассеять мои подозрения, она закричала на мужа, схватила его за худую шею и чуть не всего затолкала в сундук. Тот устроил карусель из тряпок, узлов и свертков, но денег не

пашел. Наглотавшись пыли, он с грохотом закрыл сундук, сел на него и, прочихавшись, объяснил мне, что с деньгами вышла незадача, но он утром пойдет к своему «шабра» и займет до осени. «А сейчас нельзя сходить? — спросил я. — Или шабра спать лег?» — «Нет, шабра спит поздно, — охотно пояснил хозяин. — Только он вечером денег не дает — грех, говорит». — «Ладно, — проворчал я. — Дотерплю до утра с расчетом. Но чтоб с восходом солнца деньги были. — И пошутил: — А то я пустую бутылочку вставляю в одно место, у тебя печь шайтаном будет кричать всю зиму». — «Такой печь не надо, — испугался хозяин. — Деньги утром принесу, Павел, без обмана — держи карман шире».

Я засмеялся — хозяин вставил в разговор русскую сказку, не понимая ее потайного смысла. Но он все равно оказался прав, я не собирался ждать утра.

Ночью мы с Надей спустились с сеновала на землю. В одной руке я держал фанерный чемодан с инструментом, в другой — горячие пальцы Нади. Я собирался выходить на улицу, но Надя медленно покачала головой. Она сказала шепотом: «Хаким... собрал все джигит... сидит на гора». Она обвела рукой холмы, и я понял, что дорога из аула и все тропки через холмы для нас заказаны. Живым они меня не выпустят. Я растерялся. Надя взяла меня за руку и повела огородами к болоту. Там она отыскиала узенькую, прячущуюся в травах тропку, по ней мы прошли гнилой лес, миновали полузатопленный водой лужок и ступили в болото. Надя впереди меня прыгала с кочки на кочку, оборачивалась и ждала. Часто я ступал мимо, либо кочка тонула подо мной, и я, едва не теряя чемодан, уходил по пояс в жидкую грязь. Надя с соседней кочки хватала меня за рубаху, тянула изо всех сил, я карабкался на сухое место, но через минуту снова уходил в жижу. Не раз я жалел, что согласился идти через болото. «Уж лучше погибнуть от штыка Хакима, чем захлебнуться этой грязью», — думал я, но смотрел, как легкая, быстроногая Надя упрямо пробивается вперед, и у меня прибавлялись силы.

На рассвете мы услышали позади себя, в ауле, шум, выкрики. Должно быть, Хаким запоздало проверил сеновал и понял, что невеста его сбежала. Или... Я вспомнил трусливое лицо хозяина, скорее всего, он обнаружил наше бегство и сам отыскал Хакима. Мне стал понятен балаган с деньгами, который они с женой разыграли для меня. Их встревожил наш с Надей серьезный вид, они почуяли уговор и решили задержать меня до утра.

«Держи карман шире», — засмеялся я, думая о хозяине. В деньгах он выиграл, но вот родственницу потерял.

Надо было торопиться — Хаким мог знать тропки лучше Нади. Измученные, вылезли мы на твердый край болота. Впереди лежало ржаное поле, за ним, верстах в двух, виднелся лес. «Там нас никто не отыщет», — ободрил я Надю, но она упала в траву и не шевелилась. Две бессонные ночи и это топкое болото отняли у нее все силы. Шум и крики, не смолкавшие со стороны аула, вдруг стали слышны совсем близко. Значит, Хаким знал хорошую тропку. Надя не шевелилась. Я подхватил ее на руки и побежал через рожь.

На первой же полянке я опустил с Надей на землю, без сил упал лицом в траву. Когда я проснулся, солнце стояло высоко, пели птицы в кустах, в траве, в небе, лес вокруг замер зеленый, недвижимый, — показалось мне, будто земля сегодня справляет особый, для нас, праздник.

Надя поглядела на меня и ну хохотать. Подсунула мне зеркальце: лицо у меня желто-зеленое от болотных трав и грязи, волосы свисают с головы сосульками. Не человек — упырь на меня глядит. «Шайтан?» — спрашиваю я ее и зеркальце возвращаю. «Нет, три шайтан», — отвечает она.

Нашли мы родничок, умылись, причесались и, взявшись за руки, пошли через лес в Михайловку.

СЫН: — В этой истории меня удивляет другое: таинство любви. Есть же оно, иначе встретились бы два человека, поговорили и разошлись, не найдя друг к другу сердечной тропки. Отец и мать, почти не понимая друг друга, сблизились, поломали все преграды, воздвигнутые между ними людьми, языком, обычаями, и полюбили друг друга. А где же тот пуд соли, который им полагалось съесть? Настоящая любовь, думаю я, раз за разом осмысливая родительскую судьбу, мало внемлет холодному рассудку, она идет в жизнь кратчайшей дорогой, перешагивает отважно и дерзко все препятствия, включая и саму смерть.

ОТЕЦ: — Дед мой, Кирилл Пушкарев, был для односельчан малопонятным человеком. Он мог неделями, месяцами не вылезать из тяжелого крестьянского ярма, надсаживаться при этом самому и беспощадно гонять домашних. В какой-то момент настроение его ломалось, дед доставал из подполья медовуху, выгонял старуху из дома, бражничал, пел песни и зазывал к себе в гости старых дружков. Напив друзей, дед ложился на кровать, прикидывался спя-

щим, а сам внимательно наблюдал и слушал своих гостей. Подвыпившие мужики расходились, рвали на себе рубахи, ругали своих баб бранными словами. От баб переходили к волюстному пачальству, соседям, доставалось и растянувшемуся на койке деду. «Э-э, сивый мерин, без царя в голове», — отпускалось ему, и разговор снова переходил на баб. Рассказывались «случаи» из молодости, кончавшиеся однообразным: «Нет, жаниться я не стал. Ищи дурня, мол, в другом месте». Наутро дед говорил с отвращением: «Скоко дерьма в людях, пустозвонства...» и уходил, если отпускали дела, на заработки. Не так чтобы он любил деньги, просто заработки позволяли ему надолго отлучиться из дома, кочевать по дальним селам, послушать умных людей, поглазеть на чужую жизнь.

Деду понравилась Надя. «И мне бы привел такую девуку! — пошутил он. — Я б не отказался, а то мою бабу в утиль скоро не возьмут».

Но бабу тяжело вздохнула: «Тебе, Паша, своих мало? Позарился на чужую, да еще басурманку! Ты погляди, какая она в кости? Тебе не барыню надо, а крестьянку. Гляди, Паша, наревешься». Бабу была строгой, свято верила в бога. В молодости богатый отец ее выдал замуж за моего деда, в наказание за какую-то провинность.

Надя наотрез отказалась венчаться в церкви. Мне не хотелось обижать бабу. «В мечеть, что ли, нам идти?» — подсадовал я. «Не хочу мечеть, не хочу церковь, — твердила Надя. — Сельсовет пойдем». Бабу поджала губы. «Чего с нехристи возьмешь?» — сказала она, и больше Надя не слышала от нее доброго слова. Досталось и мне. «Случаем не ты, Паша, подбил свою басурманку? С тебя будет! Деда вон чуть в коммуны не уговорил...»

МАТЬ: — Хоть и небалованная я была, но в доме Павла мне было плохо. Бабу никогда не называла меня по имени. «Ты за водой иди, скотина с утра не поеная, — говорила она или громко спрашивала: — Куда «эта» запропастилась?» Дед меня не обижал, смеялся и говорил: «Ты, Надя, не пропадешь в жизни. У тебя все в руках горит. Павлику с тобой хорошо будет».

Как-то зимой дед ездил в лес за дровами и сильно простыл. Я ухаживала за ним, поила настоями трав, кормила с ложечки, удивляла его своими рассказами о себе, о жизни Нугая. В один из вечеров старик растрогался и сказал мне: «Душевный ты человек, Надя. Вижу, моя дура стару-



ха ополчилась на тебя, поедом ест. Будто сто лет собралась жить. А вот так сляжет, уход женский за ней потребуется?»

Дед долго молчал, потом поманил к себе и зашептал: «Хватит вам с Павлом мучиться. Отделять буду. Кой-какие деньги у меня есть, куплю лесу на сруб и крышу, лошадь отдам». Я заплакала от радости: так хотелось нам с Павлом пожить своим хозяйством, одним. «Хлебом бабу не корми, дай ей поплакать», — заворчал дед, но я видела, что остался он доволен и моими слезами, и моим радостным видом.

Поправившись, дед опять влез в крестьянские дела и, кажется, позабыл свое обещание. Прошла зима, весной мы

дружно поработали, засеяли наш клин, вспахали и засадили картошкой и овощами огород. Светлым майским утром дед запряг обеих лошадей, поздравил Павла, и они куда-то уехали. Вечером дед сам пришел за мной и повел меня на край села. На штабеле свежесрубленных, остро пахнущих сосновых бревен сидел Павел и улыбался мне. «Вот вам будущий дом, — торжественно объявил дед и повел перед собой картузом. — Тут будет ваша усадьба. Живите, налаживайте свое гнездышко, птенцов выводите».

На следующий день мы принялись за работу. Дед с Павлом рубили сруб, я готовила им тут же на печке-временке обед, помогала, чем могла: подносила инструмент, мелкие доски, подавала напиток. Дед глядел на мой округлившийся живот, сдерживал: «Не горячись, Надя, поаккуратней». Дом день ото дня рос, я ходила вокруг нашего будущего жилища и боялась поверить моим зимним мечтам: как мне хотелось родить в своем доме, чтобы малыш открыл глазенки и заголосил в нашем родном гнездышке.

И вот настал день, когда дом засверкал стеклами, закрипела тяжелая дубовая дверь. Павел выложил большую, в четверть избы, печь и затопил ее. Я отошла от дома и стала смотреть на свежую трубу. Дым пошел тоненькой, черной струйкой, на глазах синел, подымался все выше и выше и слился с небом. «Ну что ты, дуреха, плачешь? — ласково спросил подошедший дед. — Подумаешь, дом срубили. Вам тут еще работы...» Но дед и сам был счастлив. Я схватила его руки и стала целовать. «Вот надумала!» — вырвал руки дед, смутился и ушел в дом.

ОТЕЦ: — Надя, как малый ребенок, радовалась нашему дому. Не было на свете счастливей ее человека. Она вычистила стеклышком полы, побелила печь, сшила занавески, развесила по углам пучки засушенных трав и цветов. Осенью мы с дедом поставили крепкий сарай и завели туда нашу лошадку. Дом потребовал много денег. Нужны были хозяйственный инвентарь, посуда, столы, стулья, самовар, еще про себя я задумал купить Наде швейную машину. Дед обучил меня с малолетства хорошим ремеслам: класть печи, шить сапоги, катать валенки, плотничать. Осень и зиму я много подрабатывал. В начале осени Надя родила сына. Малыш был крепкий и здоровый. Но крестить его в церкви Надя отказалась. «Он у нас комсомольцем будет», — сказала она. Бабка прокляла нас и перестала знаться. Дед опечалился такому обороту дел.

Надя при регистрации ребенка назвала его в честь деда Кириллом. Дед ожил, расцвел и стал относиться к Наде по-прежнему.

МАТЬ: — Павел зимой много работал. Он уходил в соседние русские села и башкирские аулы, шил сапоги, катал валенки. Я с утра топила печь, кормила Кирилку и бежала в сарай к нашей лошадке дать сена, попоить. Мы порешили с Павлом, что у нас будет много детей. А их надо будет кормить, одевать-обувать и ставить на ноги. И я смотрела на смирную лошадку с надеждой, как на будущую опору семьи. Корову мы мечтали купить летом.

Закончив дела, я садилась к столу и делала уроки. Еще осенью я подружилась с молоденькой учительницей, Ксенией Аполлоновной, приехавшей из Белебея. Она увидела во мне способную ученицу и согласилась давать уроки. К весне я бегло читала и писала по-русски. На будущий год Ксения Аполлоновна пообещала меня учить арифметике. «Хочешь, я устрою тебе экзамены за начальную школу? — загорелась она. — Прилежно занимайся, остальное за мной».

В конце апреля Павел запряг лошадь и, улыбаясь в усы, уехал на железнодорожную станцию. Я ждала его весь день в предчувствии нового, незнакомого счастья. Павел вернулся вечером и внес в дом что-то большое, завернутое в тряпки и рогожу. Он бережно поставил покупку на стол, долго отматывал тряпки, и я увидела блестящую черным лаком швейную машину «Зингер». На минуту я лишилась языка и смотрела на это чудо с восхищением и страхом. Страх мой был понятен: я боялась проснуться и увидеть вместо машины пустое место. «А корова? — спросила я. — Это лето без коровы будем?» — «Будет и корова», — пообещал Павел и озабоченно подергал усы — эту новую привычку вместе с усами он завел после рождения Кирилки.

Ксения Аполлоновна научила меня шить и ухаживать за этой диковинной машиной. Вечерами мы с ней придвигались поближе к керосиновой лампе и из разных лоскутков и тряпочек шили Кирилке рубашонки и штанишки.

ОТЕЦ: — Когда мы с Надей ждали второго ребенка, нас постигло первое в нашей жизни несчастье. Бабка моя, проклиная на каждом шагу и при любом случае безбожников, пионеров с их красными галстуками, комсомольцев с их частушками про попа и бога, наезжавших из волости и города уполномоченных и комиссаров, люто вознена-

видела первую в наших краях коммуноу, организованную в Михайловке. Не совладав с собой, невзирая на преклонные годы, она чем-то опоила коммунарских лошадей и в тот же день была разоблачена. «Вместе жизнь прожили, вместе и помирать будем», — сказал дед и взял половину вины на себя.

Деда и бабуку увозили двое милиционеров, прибывших специально из города. Надя, простоволосая, с большим животом, плакала и бежала за телегой. Дед, согбенный, с потухшим взором, ласково выговаривал: «Будет тебе, дочка, убиваться. Бог даст — свидимся. Нет, так не помиайте лихом».

Долго убивалась по деду Надя. Сильно привязалась она к старику, звала его отцом в глаза и за глаза. Да и то: не каждый отец столько добра и ласки окажет даже родной дочери.

Родила Надя преждевременно. Второй сын родился слабеньким и доставил нам много хлопот в жизни. Назвали мы его Нариманом, в честь покойного Надиного отца.

МАТЬ: — Беда не ходит одна. Снова испытание выпало нашей семье. Когда родился второй сын, а он часто болел, мне стало тяжело ходить по хозяйству. Мы взяли на лето в дом дальнего родственника Кольку. Паренек жил в большой семье, которая еле-еле сводила концы. Колька ухаживал за скотиной, выезжал с Павлом в поле. Осенью мы отвезли его домой, дали хлеба и денег. Родственники остались нами довольны. На следующее лето Колька сам попросился к нам на работу.

И вдруг... Снова в моей жизни появился Хаким. Он стал начальником и с кожаной сумкой на боку, с наганом в кармане ездил по аулам и селам, занимался коллективизацией. Но почему-то все дороги Хакима пролегали через нашу Михайловку. Хотя и у нас собирались организовать колхоз взамен маленькой коммуны. Хаким, проезжая мимо нашего нарядного дома, придерживал коня, смотрел на окна, ждал чего-то и медленно трогал с места. Его угрюмое, насупленное лицо пугало меня, я отстранялась от окна и прижимала руки к груди. Понимала я, не по нраву пришлась Хакиму наша дружная с Павлом жизнь, уютный, веселый дом, хоть и маленький, но достаток. По сельсоветскому списку мы считались середняками.

Смотрела я в окно на Хакима, отъезжавшего от дома на крупной серой кобыле, его сутулящиеся, тяжелые плечи, и предчувствие беды не покидало меня.

ОТЕЦ: — Надя сдала экзамены комиссии из нескольких учителей и получила документ об окончании начальной школы. Рада она была, что сравнялась со мной в грамоте. При Надиной крепкой памяти учение давалось ей легко. Ксения Аполлоновна хвалила свою способную ученицу и советовала учиться дальше. При наших-то детях да крестьянских заботах...

Председателем сельского Совета в Михайловке состоял Феоктистов. Мужик крепкий, основательный, но в грамоте был несилен, да еще вдобавок зрением слаб. Он часто звал в сельсоветскую избу Надю и просил ее написать то мудреный, хитрый ответ начальству, то отчет составить.

В тот вечер я сидел у печки и чинил прохудившийся сапожок нашему маленькому Кириллу. Надя сидела за столом и, низко склонившись у лампы, вслух читала «Красную Башкирию». Малыши уже спали. «Опять кулаки комсомольца убили, — сказала она. — Выступил на собрании, плохо сказал про богатого соседа. Вечером, возле калитки своего дома, зарезали. Тридцать пять ножевых ран! — вскрикнула Надя. — Зачем, Павел, так, по-звериному?» — «Они звери и есть, — ответил я. — Всю жизнь копили добро, каждую копейку в дом несли, родного брата, при случае, в бараний рог сгибали. И все, получается, зря. Пожить им всласть не дают. Пришли бедняки, или голозадые, по-ихнему, потребовали: отдай! А как отдашь кровью и на крови нажитое? Понятно, озверели!»

В дверь просунулся мальчишка и сказал, что Надю зовут в сельсовет. Она поднялась и стала одеваться. «Надоел мне твой Феоктистов! — сказал я. — Пусть поищет грамотейку помоложе». — «Не сердись, — попросила Надя. — Он зря не позовет. А другим «грамотейкам» он не доверяет. Бумаг много секретных приходит».

Надя вернулась через час. Я увидел ее бледное лицо, подкашивающиеся ноги, и мне стало нехорошо. «Что? — спросил я. — Что стряслось, Надя?»

Я усадил Надю у стола и сел рядом. «Феоктистов показал мне список на раскулачивание, — тихим, заупокойным голосом сказала она. — В конце списка стоит наша фамилия: Пушкарев Павел Кондратьевич. Феоктистов — только, Павел, никому ни слова, — Феоктистов говорит, что нас дописал Хаким. Кольку нашего, мол, за батрака посчитал».

Надя встала, пошла к спящим малышам, наклонилась над их кроваткой и застыла. И я будто окаменел за столом. Только немного наладились с жизнью — и вот... про-

извели в кулаки. Теперь мы народу, выходит, кровные враги. Развел нас Хаким по разным дорожкам. Закрою глаза, открою: все равно стоит передо мной эта злобная рожа, с австрийским штыком в руках. «Его не объедешь, — медленно думаю я. — Не обжалуешь писульку его — большой стал начальник. И деда моего с бабкой вспомнит, вражье гнездо свили эти Пушкаревы, скажет».

Вышел я на улицу, смотрю, как дорога мимо нас в поле бежит, оттуда через лужок на мост. И мысль в голове тяжело ворочается: завтра утром сходка в Михайловке, Хаким из Нугая прибудет. Ранний человек, на дворе еще только рассвет, а он уже в седле.

Вспоминаю я мост, с которого мы ребятишками в воду прыгали, рыбачили. У моста местечко потаенное есть, сидишь в нем, будто в кресле, и хорошо очень дорогу видишь, настил из бревен, всадник мимо тебя проедет, лошадиные копыта можно погладить.

Зашел я в чулан, старое дедовское ружье отыскал, разобрал, смазал. Снова собрал и зарядил оба ствола картечью. «Не будет моей семье жизни, пока жив Хаким, — думаю я свою отчаянную мысль. — Не станет его — никто в Михайловке нас кулаками не назовет».

«Человека убить? — опять думаю, и в пот меня шибает. — Как можно? — Но опять успокаиваю себя: — Да разве он человек? Собака! На безвинную семью, на детишек моих замахнулся!»

Повесил я ружье на гвоздь, в дом тихо вошел и прилег с краю. Надя уже спала. Ночью мне почудилось, будто выходила она на двор. Перед рассветом я проснулся, вдел ноги в сапоги, а Надя, не оборачиваясь ко мне, говорит ясным, чистым голосом:

— Не ходи, Павел.

— Откуда ты знаешь, куда я иду?

— Знаю. Не пачкай рук своих человеческой кровью.

— Хаким — собака, — отвечаю я. — Собаке — собачья смерть.

— Все равно, не пачкай рук.

— Он же выродок рода человеческого, — говорю я Наде. — Конечно, выродок, раз трудовую крестьянскую семью записал в кулаки. Его Советская власть поставила не счесть с мужиками сводить, а новую жизнь налаживать! Он враг не мне, а всем нам, мужикам. Я убью его и совестью мучиться не буду.

Распалил я себя до крайности, оттолкнул Надю и вы-

бежал в чулан. А ружья-то нет! Кинулся в один угол, в другой — все равно нет, уж не домовою ли со мной шутки играет, думаю. Вернулся в дом, Надю спрашиваю: «Ты?» — «Я, — отвечает. — Не ищи, Павлуша. Ружье я в колодец бросила».

Сел я на койку, голову на грудь повесил. Не знаю, сколько времени прошло, только слышу, на улице кобыла заржала. Хаким мимо нас проехал. «Что ты, Надя, сделала? — спрашиваю я. — Теперь нам никуда не деться. Пропали мы...»

Надя помолчала и говорит: «Я не хочу крови. Места на земле много, солнце всех греет одинаково. Слушай меня, Павел. Феоктистов сказал мне, что к нам придут завтра. У нас впереди ночь. Надо уезжать. Время пройдет — остынут люди, и Хаким покажет всем свое лицо».

Ночью мы запрягли лошадь, посадили в телегу перепуганных детей, побросали одежду, посуду, поесть на первое время. Надя пошла в сарай и простилась с коровой: гладила, целовала, шептала что-то. Я обмотал колеса тряпками, и тронулись мы со двора, покинули по-воровски наше гнездышко.

СЫН: — Хакима я представлял законченным злодеем. Но к удивлению своему, из разговоров с родственниками-нугайцами узнал, что Хаким в те годы считался добросовестным, работающим человеком. В коллективизацию кулаки дважды пытались убить его, один раз он в одном белье и с наганом в руке выскочил из своего горящего дома. Угрозы только разжигали его неистовый, не знавший тормозов характер, и он пуще прежнего принимался за дело. Он дразнил судьбу. Ездил часто в одиночку, в седле, выезжал из богатых русских хуторов в сумерках, а то и оставался ночевать.

На том его везение кончилось. Женился Хаким на красивой девушке из Нугая, но детей не было, и он вернул жену родителям. От второй жены родилось двое: мальчик и девочка. Но они вскоре умерли. Хаким женился в третий раз. Его обвинили в многоженстве и лишили всех постов.

На войне судьба Хакима сложилась трагически. Попал в окружение, несколько дней плутал с товарищами в пшеничных полях. Выбившись из сил, повалились и уснули. Сонными попали в плен. Пытался бежать из лагеря. Но счастье навсегда отвернулось от гордого нугайца. Его поймали, когда до спасительного леса оставалось всего два

десятка шагов. После жестоких побоев Хакима увезли в концлагерь. Тяжелая работа, голод подорвали его могучее здоровье, но духом он оставался тверд и неукротим. После очередного унижения Хаким набросился на немецкого конвоира и раскроил ему киркой череп. Его вывели на плац и затравили овчарками.

О тяжелом пути Хакима поведал его земляк Низаметдин из соседнего аула, проживший после войны восемь лет и скончавшийся в районной больнице. Низаметдин говорил, что у Хакима не было веры, что он выйдет живым из этого ада, и, надо полагать, он выбрал смерть, достойную его духа, пока оставались в его теле силы. Ни в чем Хаким не раскаивался, ни в чем не винил себя, ничего не ждал от жизни, но все же признался земляку: «Откуда быть счастьем в моей жизни? Я сотворил черное дело, согнав Мадину с ее семьей с родной земли. Только вот расплате не видно конца...»

Мать, узнав о несчастной жизни и безмерно тяжелой кончине Хакима, простила ему все. А ведь черное дело нугайца принесло столько горя нашей семье!

МАТЬ: — Приехали мы в поселок на берегу реки, выкопали землянку и прожили в ней три года. Недалеко от нас начинали строить большой нефтеперегонный завод. Павел устроился работать бетонщиком, сильно уставал, но находил силы и время подрабатывать: рубил дома в поселке, клал печи. Мы начинали жизнь заново, нужно было одевать, обувать и кормить семью.

На стройку со всех сторон ехали люди, поселялись, вроде нас, в землянках, скопив деньги, строили дома. Через три года и мы сумели построить свой дом, почти такой же, как в Михайловке. В землянке родился третий сын, которого называли в честь Чкалова Валерием. Долгожданная девочка родилась уже в новом доме. «Девчонкам сам буду давать имена», — заявил Павел и назвал дочку Надей. Девочка редко плакала, часами она лежала в зыбке и, улыбаясь, глядела на подвешенную игрушку.

Первые годы в поселке мы жили трудно и молоко покупали только малышам. На семейном совете с участием Кирилки и Наримана мы решили завести коз. Весной мы купили двух козлят, они быстро привязались к малышам, играли с ними. К концу лета они подросли и показали детям свой вредный характер. Козы убегали к реке, взбирались на скалы и будто с насмешкой глядели, как вслед за

ними карабкаются по круче малыши. Хуже было, когда козы забредали в чей-нибудь огород, обгладывали капусту, топтали грядки. Прибегала рассерженная хозяйка, кричала, виноватые в недосмотре Кирилка с Нариманом прятались в углу.

Пронырливые, плутоватые животные принесли много хлопот детям, но козье молоко, так нужное семье, окупило все неприятности.

Строился завод, строились люди, вращались в новую жизнь, разгибались телом и духом. Наш, сильно выросший за последние годы, поселок разбили на улицы. Мы занимали свой адрес: улица Южноуральская, 10. Павел обучился на курсах, и ему дали трактор. По вечерам он приходил с работы, долго умывался на дворе из бочки и заходил в дом. Ребятишки кидались к отцу, висли на руках и ногах. Павел поворачивался ко мне, показывал на уши и улыбался: «Не слышу, заложило». Приходилось наклоняться и кричать. Понемногу Павел привык к своей голосистой машине, любил ее.

Зарабатывать он стал лучше, да и я поступила на завод пробоотборщицей. Наш цех еще не работал, мы учились будущей специальности и помогали строителям. И Кирилке с Нариманом стало легче. В поселке завели стадо, и наши беспутные козы досаждали теперь пастуху и подпаску. Павел перестал ходить на заработки. Но слава хорошего печника приводила к нему просителей, он неохотно ссаживал с колен ребятишек, брал фанерный чемодан и шел в новый дом.

Много времени отнимал огород. Свежие овощи и картошка были нужны не только детям, но и нам. Времени не хватало, спали мало. Но жизнь год от года становилась краше. Уже не поселки, а целые города строил народ, перестраивал старые, люди работали, много учились и расцветали душой. Дети наши были сыты, обуты и одеты, они подрастали и шли в школу, чтобы стать грамотными, хорошими людьми. Как много это для матери!

СЫН: — Мать настойчиво, неудержимо тянулась к знаниям. Ночами, уложив детей, она раскладывала на столе учебники и делала уроки. Перед войной у нее было семь классов и один курс техникума. Мать перевели лаборанткой. Для вчерашней башкирской девчушки из глухого Нугая это было не меньше, чем для меня, например, академия. Отец рассказывал, что он приносил с работы старые газеты

на самокрутки. Мать прочитывала, пересказывала отцу и только после этого разрешала крутить из них сигарки. Большой радостью для нее оказалась покупка детекторного приемника. Она прикладывала к ушам наушники и слушала Москву и Уфу. «Жалко, времени мало, — говорила она отцу. — Я бы с утра до ночи слушала радио».

Но приемник ее часто расстраивал. «Фашисты все ближе к нам подбираются, — говорила она с тревогой. — Не к добру это. Как бы на нас не кинулись». — «Не полезут, — говорил отец уверенно. — Кишка у них тонка. А полезут — так набьем им морду. Наша Красная Армия кого хошь отрезвит».

ОТЕЦ: — Нежданно-негаданно кончилась наша счастливая жизнь. Фашисты все же кинулись к нам волчьей стаей. Завидно им стало, что зажили мы хорошо, пуще того, боязно, что дурной пример иностранным рабочим и крестьянам показываем. Не стерпели они такое неудобство...

Пришла мне повестка из военкомата, распрощался я с трактором, с товарищами и домой побежал. Пришли соседи, друзья-товарищи, такие проводы мне устроили. Мало кто думал тогда, что война затянется на годы. Орал мне кое-кто за столом, что ты, мол, Пушкарев, до действующей армии не доберешься, как немцев уже разобьют и повыметут. После каждого вскрика мне наливали, требовали выпить до дна и просили, чтоб показал я им, германским вражинам, кузькину мать.

Надя подавала закуски, детей загнали в угол, некогда мне было словом обмолвиться с родными. Не помню, как встал из-за стола, ушел в чулан и уснул мертвецким сном. Утром погрузили меня в телегу и отправили за сорок километров на сборный пункт, за Уфой.

Пришел я в себя в солдатской палатке, огляделся и чуть не заревел. Какой срам! Пошел на войну, а с женой, с ненаглядными детьми не распростился. Вспоминал со злостью вчерашних доброхотов, что чуть ли не силой заставляли пить вино. Никогда не терял я меры ни в чем: ни в вине, ни в работе, ни в утехах. А тут...

СЫН: — Мать скорбно простилась с телом родного Павла, иначе назвать нельзя было бесчувственного отца, которого, как бревно, погрузили в телегу и отправили в далекий край, может, на верную погибель.

В обед она пришла в себя, решительно зашагала в по-

селковый Совет и попросила лошадь. Ей, жене красноармейца, не отказали. Она погрузила в телегу всех четверых детей, взяла мешочек с продуктами и поехала на сборный пункт.

Вечером она приехала к отцу. Он, несчастный, растрепанный, имел жалкий вид, терзал себя, что не простился с семьей по-людски.

Когда отец увидел жену, телегу с детьми, он обомлел. Через много лет в минуты сильного душевного волнения он говаривал, что узнал настоящую, великую цену жене именно там, на сборном пункте. Командир разрешил отцу побыть ночь с семьей. Они раскинулись табором в рощице, жгли костер, смотрели друг на друга и обнимали детей. «Как я могла отпустить тебя на войну, Павлуша, — говорила мать отцу, — не заглянув в твои ясные глаза? Кто знает, увидимся ли?»

Древний нугайский дух заговорил в матери, и она сурово напутствовала отца: «Раз воевать пошел, то войой достойно, как мужчина и воин, чтоб нам не стыдно было за тебя».

Утром отец перецеловал детей, надолго зарылся лицом в черные волосы жены... «Вот теперь чую, что вернусь к вам», — сказал он тихонько матери и ушел к товарищам спокойной, твердой походкой.

Мать вернулась домой, бросилась на кровать и пролежала в полубеспамятстве до следующего утра. Дети ползали по ней, плакали, тормошили...

Утром она встала, уложила поаккуратнее детей, уснувших возле нее вповалку, умылась холодной водой и пошла на завод. Больше она не падала духом и в самые тяжелые дни. А их впереди было много...

МАТЬ: — Родители любят младшеньких детей. Они остаются в нашей памяти навечно маленькими и беспомощными. Старшие растут, обзаводятся семьями, а младшие еще ходят в школу, ластаня к тебе, плачут, когда им больно или когда их обижают. От старших ни слез, ни жалоб не дождешься — выходит, ты им нужна меньше.

И я люблю младшенького сына. Но особая, выстраданная, любовь и привязанность у меня к старшему, к Кирилке. Он заменил в войну отца, и мне страшно подумать, что случилось бы с нашей семьей без него. С утра я бежала на завод, возвращалась поздно. Весь дом с его ребятней, скотиной и огородом оставался на Кирилке. Зимой он топил

печь, лез в подпол за картошкой, чистил ее, варил. Малыши просыпались рано, голодные, холодные, они смирно лежали под одеялом и ждали, когда брат сварит им картофельную похлебку с луком и разрешит садиться к столу. Дом немного прогревался, и Кирилка усаживал младших за стол. Все молча ели похлебку, поглядывали на старшего брата, не даст ли он им по кусочку хлеба. Но Кирилка помнил и строго исполнял мой наказ: хлеб раздать только к обеду.

Потом он надевал отцовскую телогрейку, которая была ему до колен, подпоясывался отцовским же ремнем и шел на двор. Надо было задать корму корове, курам, наносить воды, наколоть дров. Еще надо было учиться. На детские игры у него не оставалось времени. Летом работы ему прибавлялось. Выгнать корову в стадо, вскопать огород, прополоть, окучить картошку. Заготовка сена тоже лежала на Кирилке. С мешком и серпом он обходил овраги, опушку леса, жал траву, набивал в мешок и, возвращаясь домой, сушил ее на дворе. Сеном он за лето набивал чердаки в доме и в сарае, складывал копешку на задах, в огороде. Несколько раз я советовалась с ним, не обменять ли нам корову на муку и крупы и сносно прожить еще одну военную зиму. Кирилка испуганно смотрел на меня и говорил, показывая на малышей: «А как, мама, они? Не проживут без коровы...» Я глядела на его худенькое, рано повзрослевшее лицо, не по-ребячьи серьезные глаза и кляла, кляла фашистов...

Одно не хотел делать Кирилка: доить корову. «Засмеют меня ребята», — говорил он. Перед работой я успевала подоить, но вечерами нашу смену часто оставляли из-за срочной работы, иногда приходилось работать в ночь: Красная Армия получала много техники и требовала от нас день ото дня все больше горючего. Недоеная корова жалобно мычала в сарае, и Кирилка однажды не выдержал и, зло, неумело ругаясь, с подойником в руке пошел в сарай. Нариман стоял рядом и держал керосиновый фонарь.

Малыши слушались старшего брата. Кирилка редко улыбался, был строг и за непослушание наказывал. Надю он никогда не трогал, наоборот, заботливо ограждал от обид, даже позволял садиться рядом с ним и заглядывать в школьные тетрадки.

СЫН: — Работа у матери была ответственная. Она отбирала пробы и делала выборочные лабораторные анали-

зы, от которых зависело качество горючего. Особую симпатию она питала к солярке — на этом топливе работали танки, какой-то из них водил ее Павлуша. После первого ранения отца мать стала регулярно сдавать кровь. Лозунг тех лет «Все для фронта» она принимала как личную к ней просьбу.

Кирилл так и остался для нас, младших детей, вторым отцом. Он и теперь строг, не улыбочив, пошел работать сразу после войны, подростком — отец долго болел после тяжелого ранения, и тяготы по содержанию большой семьи легли на него пополам с матерью. Кирилл мог бы стать хорошим музыкантом, у него были способности. И если он не стал им, то в том нет его вины — слишком много силенок отдал он войне и послевоенной разрухе.

МАТЬ: — В человеке много сил, о которых он сам знает не до конца. Я ворошу в себе воспоминания тех тяжелых лет и не устаю удивляться, как мы переносили лишения, выдержали невыносимые тяготы и в конце концов выжили, победили.

Однажды нашу семью потряс такой случай. Ночью в дверь постучал мужчина. Он сказал, что замерзает, и просил впустить его обогреться. Я растерялась. Не впустить в морозную ночь человека было бы бессердечно. Но вдруг это грабитель или один из дезертиров, шаставших по лесам в те военные годы и которых голод прибывал к поселкам, маленьким городам? Пока я раздумывала, мужчина стал грубо стучать в дверь и кричать, что он инвалид войны и если я ему не открою, он вышибет дверь костылем. Я попросила его подойти к окну и показать костыль. Мужчина на минуту замолчал и, обозленный, видимо, своей оплошностью, начал высаживать дверь плечом.

Я выбегала в сени и кричала, надеясь, что меня услышат соседи, но разве докричишься, если дома в поселке друг от друга в пятьдесят — сто метров. Накричавшись, я вбегала в избу и успокаивала ревущих детей.

Беспомощная, отчаявшаяся, я была близка к помешательству. Вдруг Кирилка открыл ногой дверь в сени и хриплым баском попросил: «Ну-ка, мать, подай топор». Заслышав мужской голос, мужчина отпрянул от двери и поспешно бежал. Утром мы осмотрели нашу бедную дверь. Она еле держалась на петлях, достаточно было еще одного хорошего пинка.

Остаток ночи меня трясло от страха за себя и детей, но

через несколько дней новые заботы и события заслонили страшный случай, уже казалось, что ничего особенного не произошло.

ОТЕЦ: — Не часто на фронте удавалось подумать о семье, помечтать о возвращении домой. Зато душу отводил в госпиталях, времени там на думы хватало... Все же не ожидал я, что столько лиха хлебнут оставленные глубоко в тылу семьи. Представлялось, там все-таки мир, тишина, кругом наши люди, они не дадут пропасть твоим близким. Опять же, в письмах к нам писалось не все, нас щадили.

...Умирали не только на фронте. О Наде я узнал, когда вернулся домой...

МАТЬ: — Надя захворала в конце февраля сорок четвертого года. Утром и вечером я поила ее настоем душицы, давала горячее молоко, но температура держалась. Кирилка исправно топил печь, хотя дров было мало, боялись мы, что их до мая не хватит.

Днем Надя полулежала на высоких подушках, улыбаясь, смотрела, как возятся на полу братья, брала в руки лоскутки и тряпочки, мастерила куколки и пела, баюкала их. Я надеялась, как это у нас часто бывало, что Надя пролежит неделю и здоровье ее пойдет на поправку. Но мои надежды не сбылись. Кашель не проходил, температура не спадала. Надя сильно ослабла и больше не вставала с постели. Я отпросилась с работы, укутала Надю в одеяло и на санках повезла в больницу за семь километров от поселка. У Нади нашли воспаление легких, оставили в больнице. Через три дня ее не стало...

СЫН: — В нашей семье есть святое правило: ничем не напоминать матери о Наде. Рана ее не заживает, она кровоточит до сих пор. Первого сентября мать смотрит в окно, видит маленьких, с пышными бантами на головах, девочек с ранцами на узких спинках и роняет: «Не дожила наша Надя до школы всего полтора года. Азбуку любила листать, букровки запоминала...» Она уходит к себе, я переглядываюсь с отцом, и мы не тревожим мать: она ушла от нас, покинула этот шумный, никогда не умирающий мир на целый день. Завтра она вернется к нам, ее печальные, не потерявшие молодого блеска глаза оглядят нас, задавая извечный материнский вопрос: чем я могу помочь вам, родные мои, что вам нужно, спрашивайте, я вся ваша.

После войны в семье нашей прибавилось еще двое детей, но жизнь не осчастливила мать дочкой. Первого послевоенного сына назвали Георгием в честь маршала Жукова, к которому с большим солдатским почтением относился отец, второго назвали, к великому моему изумлению... Хакимом. Я ношу имя неистового нугайца, и мне бывает странно.

Отец, безропотно выносивший самые неожиданные прихоти матери, на этот раз взбунтовался. «Остынь, Павел, — попросила мать, касаясь плеч его длинными ласковыми пальцами. — Хаким не посрамил наш Нугай и умер смертью, достойной воина и батыра. Он был зол, жесток, но по своему любил меня, сироту, жалел. Если б я была с ним, многие беды обошли бы его. Как знать, может, он жил бы и сейчас».

Поворчал и понемногу привык к моему имени отец. «Конечно, если б не мать, — сказал он за столом в один из Дней Победы. — Я бы не выжил в войне. Несколько раз бывал на волоске от смерти, вспоминал каждый раз приезд ее с детьми на сборный пункт, разговоры наши задушевные, светлые в последнюю ночь и... находил в себе силы, переступал через этот самый волосок и уходил от смерти. И в госпиталях неделями бывал в беспамятстве, но душа однажды затвердила, приказала телу держать стойко оборону, и я переступал через кризисы. «У вас могучее сердце, — врач мне в последнем госпитале сказал. — Такое сердце двоих бы мужиков обработало». Не сердце мне помогло выжить, а жена моя, Надя. Смерть переступаешь, когда сильно хочешь жить. Чтоб сильно хотеть жить, надо любить...

СЫН: — До многого не дожила сестра. До школы, до Победы, всего восемь месяцев не дожила до возвращения отца. Отец вернулся домой прямо из госпиталя, после тяжелого ранения. Со станции его привезли на санитарной машине — он не мог передвигаться сам. «Больно плох Павел, — сказали о нем пожилые женщины в поселке. — Не жилец он на белом свете».

Безмерно уставший, неузнаваемо худой, отец обнял мать, детей, искал глазами дочку и по глазам жены и сыновей понял, что его, много испытавшего, привыкшего ко многим потерям на войне солдата, дожидалась еще одна утрата, теперь уже в родном доме. Утрата эта была для него самая тяжелая, самая неожиданная и подлая. Отец утер ку-

лаками землистые, нездоровые щеки, опустил голову, пряча первые мирные слезы. Мать схватила его голову, прижалась к ней. Тепло мужниных слез топило в ее душе застывший лед...

МАТЬ: — Если б я была рядом с дочкой, я бы уберегла ее от смерти. Распроклятая война убила мою Наденьку. Так пусть кровь невинных загубленных детей сольется в единое море, и пусть в ней захлебнутся все, кто готовит и замышляет для людей войны. Пусть мое материнское проклятие носится по земле и убивает кровожадных нелюдей в человеческом обличье. Когда на земле наступит вечный мир и матери перестанут пугаться за жизнь своих детей? Почему люди медлят и не вяжут руки этим одичавшим волкам, которые снова и снова хотят воевать? Я женщина, я жажду их крови. Они неправедные люди, но я ведь женщина, мне нельзя быть жестокой, иначе что останется от людей и мира, если из него уйдет женское сострадание? Наверное, я схожу с ума. Но у меня пятеро сыновей! Увижу ли, доживу ли я до этого сладкого дня, который матери назовут Великим Днем Мира?

СЫН: — Я слушаю горячую речь матери, и мне жалко ее, себя, этот сложный, трудно предсказуемый мир. Ее восприятие мира осталось по-детски чистым, оно не принимает, не хочет принимать того, что нам кажется простым, понятным. Она мечтает дожить до Великого Дня Мира, когда люди переплавят, похоронят страшное оружие, начнут улыбаться, посылать открытки и ездить в гости друг к другу, не разбирая границ и океанов. Я в восторге от ее мечты, ибо я, как и все, немного эгоист и в мечте матери вижу заботу прежде всего о нас, ее детях. Я бы даже объявил этот день первым годом новейшей эры. Если б я был всемогущ...

Но вернусь к тем нелегким для Пушкина годам. Приезд отца с войны — увы! — осложнил жизнь семьи. Теперь надо было еще и ухаживать за больным, беспомощным отцом. Ему не становилось легче. Где-то возле сердца ворочался стальной осколок, иногда он так напоминал о себе, что отец терял сознание и кричал на весь дом от боли. В такие минуты Кирилл уводил перепуганных детей на улицу, бегом возвращался в дом и пытался хоть как-то удержать отца в постели, не дать ему свалиться на пол.

Мать стойко переносила угасание отца. В ней, как всегда в критические моменты, заговорил нугайский дух.

«Отец наш вернулся с войны батыром, — сказала она Кириллу. — Мы должны гордиться им. Если даже он умрет, прах его будет покоиться в родной земле, рядом с семьей. Разве это не счастье для нас, что отца не положили в безвестную могилу где-нибудь на чужбине?»

Но она не сдавалась, ходила по врачам, писала известным хирургам. Помощь ниоткуда не могла прийти: осколок нельзя было трогать. Оставалось уповать на его величество случай. И все равно мать не оставляла своих попыток. Пришла Победа, жизнь снова становилась на ноги, зализывала на ходу тяжелые раны, а муж лежал в постели и медленно уходил из жизни. Она не помнит, где разыскала этого старенького, седенького врача, начинавшего свою лечебную практику еще в прошлом веке. Старичок посоветовал: «Осколок пусть сидит в теле. Вы его, миленькая, смажьте, ублажите. Для этого больному надо потреблять как можно больше жирной пищи, свиного сала в особенности».

Мать продала кур и на вырученные деньги купила свиного мяса и сала. Готовила она отцу отдельно, ибо супы были настолько жирными, что их отказывались есть дети. Через месяц щеки отца залоснились, осколок ворочался в нем тише и мягче. Мать, воспрянув, окончательно поверила старенькому врачу и решилась на крайний для нее шаг: завела сразу двух поросят.

Эта мера матери выглядит героической уже потому, что в ней упорно жило привитое веками отвращение кочевника и мусульманина к свинье. Прежде наша семья не знала даже вкуса свиного мяса. Однако пришлось пристраивать к сараю свинарник, кормить и поить этих неприятных животных. Ухаживать за ними она не умела, пришлось ей учиться у соседок. Опять же, на Кирилла легла основная работа по уходу за свиньями. Правда, вскоре Кириллу пришлось идти на завод учеником, и все тяготы по дому легли на подрастающего Наримана.

Мать не выносила запаха свинарника. Хрюкающие, все время требующие еды, ненасытные, глубоко противные натуре матери животные быстро пошли в рост. С первыми морозами сосед забил одну из свиней. К Новому году отец вовсе ожил, начал двигаться по избе. Уверовав в силу жирной пищи, отец питался только ею. Незаметно для себя он брал на свои плечи одну за другой домашние заботы, начал ухаживать за свиньями. В конце зимы отец сам забил вторую свинью. К тому времени мать купила еще поросят,

В поселке качали головами, изумлялись исцелению отца. Тот же все больше распрямлялся к жизни, весь день проводил на дворе, поправлял, приколачивал, переделывал обветшавшее за войну хозяйство. Понемногу к жирной пище привыкли и дети, и мать была вынуждена готовить себе отдельно. Она так и не переборола в себе отвращение к свинине.

Через год осколок оброс жиром, немного поворочался и «уснул». Так говорил отец, касаясь ладонью груди. Еще через год он списал свою инвалидность и вернулся на завод трактористом. Мы с матерью, оставаясь наедине, до сих пор удивляемся, как выдерживает желудок отца такое обилие жирной пищи.

Если мать понемногу привыкла к свиньям, навсегда прописавшимся в нашем доме, то привыкнуть к новому отцу ей было тяжелее. Он располнел, округлился лицом, глаза сузились. «Такой джигит был! — смеясь, сокрушалась мать. — В Нугае с ним мог сравниться один Хаким. А теперь Павлуша не уступил бы самому знатному баю». — «Скажешь тоже, бай, — обижался отец. — Упитанный, средних лет мужчина я». Через несколько лет отец попытался похудеть, но осколок так ворохнулся в нем, что перепуганная мать снова кинулась готовить отцу жирные блюда, а на свиней стала смотреть добрее, как на верных спасителей отца.

ОТЕЦ: — Я так располнел, такой солидный байский вид принял, что мне впору было не трактористом устроиваться, а проситься на должность крупного начальника. Мой довоенный пиджак не сходил с живота, на пальто пришлось перешивать пуговицы. Когда с меня списали инвалидность, пошел я снова на строительство завода. Выростили новые цеха, завод занимал все большие площади, подминал под себя облепившие его кругом поселки.

Дали мне новенький трактор С-80. С моей довоенной колесной машиной не идет ни в какое сравнение ни по размерам, ни по мощности. С удовольствием впрягся я в работу. Истосковались руки по мирной работе, да и семье нужна была крепкая мужская зарплата. Дети подрастали, дом требовал ремонта, и самим надо было одеться прилично — жизнь круто пошла вверх, к культуре, и довоенные мерки никуда не годились.

Кирилка из-за моей болезни пошел работать рано. Устроился он учеником машиниста компрессора в ближний к

нам цех. Всерьез заняться учебой ему так и не пришлось. Время было упущено. Зато остальные дети подрастали, не зная нужды. Из школы побежали в техникумы, институты, Георгий двинулся аж в аспирантуру.

Сесть-то я сел за трактор, но душой к нему не прикипел. После болезни тяжело переносил я шум, угар и чад в кабине. Так я Наде рассказывал. А про себя понимал: другое тут. Выжму сцепление, включу передачу, нажимаю на газ, и все мне чудится, будто я еще в один бой собрался. Вот сейчас двину танк, броском поле перемахну и пойду крутиться волчком среди вражьих траншей... Зелеными тараканами брызжут фашисты из-под гусениц и бегут перед машиной.

Сижу вот так часто в кабине, подвожу полем материалы на тракторной волокуше, гляжу на бегущие траки и душой омрачаюсь, воспоминания из памяти лезут. Впереди, в снежном поле, вражьи фигуры чудятся...

Какие о войне у меня могут быть хорошие воспоминания, если я ничего за всю войну, кроме смрада, пекла и крови, не видел? Дружбу, товарищество наше боевое? Да, но сколько их, товарищей моих, домой вернулось?

Разлад у меня в работе пошел. Определиться помог случай. Через дом от нас жил Файзи Зиннуров, бульдозерист. Молодой, беспечный был мужик, хоть и семью имел, двоих детей. Угодил он весной на своем бульдозере в канаву, тарыхтит, жмет из дизеля все силы, но выкарабкаться не может. Дал Файзи задний ход, выскочил из кабины и начал машине помогать: доски, бревна под гусеницы кидает. Бульдозер зацепился траками за твердое и пошел. Файзи ногу прихватило, а потом и самого в грязь втоптало, намотало на гусеницы. Хоронить-то семье, считай, нечего было. Надя после этого случая на дыбки встала: уходи, Павел, с трактора, войну прошел, а тут, дома, мы тебя потеряем. Я, мол, буду теперь каждый день за тебя переживать.

Попросился я на курсы экскаваторщиков, закончил их и по сей день доволен своей работой. Хорошо копать землю. Особо летом, когда она теплая, парная, перевита корнями трав. Ничто не имеет в жизни крепости, если не идет из земли. Будь то человек, или новый дом, или дельная мысль. Много я выкопал котлованов, в которых теперь крепко сидят школы, детские сады, много нужных людям зданий.

Без работы нет настоящего человека. Сыновья мои, на-

чина с Кирилла и кончая Хакимом, правило это усвоили с молоком матери. Хотя был сбой... Нариман часто болел в детстве. Потому мать выделяла его, баловала. К сорока годам Нариман вдруг свихнулся, стал пить, от старшего прораба докатился до грузчика в винном магазине. Выдирали его из болота всей семьей: и по душам говорили, и отколотил его как-то Кирилл, мать над ним слезы лила, я много раз ходил к сыну, просил стать человеком и не позорить род Пушкаревых. В последний раз Нариман выгнал меня из своей квартиры, не стерпел я обиды и пожаловался Кириллу. Старший сын в тот же день навестил брата и учинил ему собственноручно суд и расправу. После того Нариман согласился лечиться в больнице. Помогло, но не совсем. В конце концов справились мы с бедой, стал Нариман достойным человеком, быстро поднялся до главного инженера строительного управления.

Хвост-то вытащили, да нос увяз. Жена Наримана сломалась за эти годы и пуще мужа ударилась в запой. Двое детишек, считай, беспризорные. Забрали мы их к себе, растить стали. Затем за сноху взялись. «Что за век! — говорила Надя. — Как могут опускаться так низко женщины? Может, не доросли мы, чтобы нам равное с мужчинами уважение оказывали? Ведь так говорят темные, недалекие мужики, им плевать, сколько женщин в большие люди вышло. Они тычут пальцами в нашу сноху и вопят: вот ваше равноправие!»

Надин характер подтверже железа. Она привезла сноху к нам домой, заперла в отдельной комнате и сказала ей: «Будешь жить здесь месяц, два, три, надо будет, год. Кушать будешь черный хлеб, пить — чай, молоко, кефир. Поняла?»

Сноха пьяно усмехнулась. «Погоди щериться, — упредила мать. — Плакать как бы не пришлось. Не таких жизнь обламывает».

Она пыталась убежать, но мать стерегла сноху зорко. Та требовала вино, мать ставила перед ней несладкий чай. Сноха вспылила и пошла громить посуду, рвать обои. Успокоившись, строптивая женщина сказала матери, что ничего есть не будет и умрет с голоду. «Умирай, — согласилась мать. — Лучше один раз наревешься, чем плакать из-за тебя каждый день».

Через четыре дня сноха с аппетитом позавтракала. Мать перевела дух. Очень она боялась и переживала за молодую родственницу. Много сил ее ушло тогда на всю эту возню

и, наверное, не один год ее жизни. «Ты, мать, напиши про свой опыт в медицинский журнал, — смеялся Хаким. — Сколько денег уходит на лечение алкоголиков, а вылечивается только каждый третий. У тебя же стопроцентное излечение».

Твердость и дружба нашего пушкаревского рода излечили семью Наримана. Так почему мы все балуем этих выпивох и тунеядцев, что развелись вдруг за последние годы во множестве, начисто позабыв ленинский завет: «Кто не работает, тот не ест»? Именно балуем. Они у нас одеты, обуты, выпивают каждый день, плотно закусывают. На чьи деньги? Народные! Эти потерявшие всякую честь люди слоняются днем по городу, попрошайничают, а то и вымогают деньги, а если рабочий человек совестить их начнет, норовят изловить его за углом и побить. Кто их жалеет и зачем? Или мы все ждем, когда эта нечисть так разведется, что с ней придется расправляться с помощью чрезвычайных законов? Потом, такая сторона дела. Непокойно на наших границах, газеты хоть не открывай — за державу, за детей боязно. Но мы спокойно смотрим на этих молодых, здоровых мужчин, состоящих на военном учете, пьющих без меры, день и ночь. Они же становятся непригодными не то чтоб к военному делу, но — стыдно говорить! — наследство после себя оставить не в силах. Таких в резерве держат, на случай обороны, надеются на них наши генералы. Да какая на этих пропойц и тунеядцев надежда?

Вроде бы все это не моего рабочего ума дело, но ведь вижу я, как одни убиваются на работе, чтоб народ наш еще богаче, сильнее стал, а другие посмеиваются да про свой карман думают, бражничают, работают с холодком, а то и вовсе дорогу на завод, стройку забывают. Пусть этих «других» мало, но и простому человеку видать, что завтра их, если не пресечь, будет куда больше. Нам дурную закваску не надо. Не за то мы воевали, чтоб бездельников и дармоедов кормить-ублажать.

СЫН: — Отец редко бывает столь категоричен. Суровые рассуждения его вызваны тем смятением, которое он пережил с Наримановой семьей. Как старый рабочий и солдат, вынесший на своих плечах тяготы нашего государства, он смотрит на нашу сегодняшнюю жизнь, на выросших в достатке молодых, знающих о нужде, голоде и холоде лишь по кино и книжкам, — смотрит порой на них и негодует. «Вся блажь у них от достатка и безделья, — говорит он. —

Поддай им не просто добротную одежду, но чтоб заграничная была, ни русских, ни башкирских песен не поют, а крутят свои магнитофоны и дергаются».

«Не сердись, отец, — заступается мать за молодых. — Вспомни, как смотрели на нас в Михайловке люди, когда мы отказались венчаться в церкви, потом отказались крестить детей. Вот сейчас мы взялись ругать молодых. Разве они виноваты, что родились в другое, счастливое время? Какие отец с матерью согласятся в наши дни держать впроголодь детей, плохо одевать их, мучить тяжелой работой? Дальше, отец, смотри. Наши внуки живут лучше наших детей, но ведь правнуки будут жить еще лучше. Тогда что останется нам, если даже внуки будут ворчать на своих детей?»

«Нам ничего не остается, как вовремя умереть», — сердится отец. «Смерть, выходит, нужна людям, — вздыхает мать. — Нельзя без нее. Чтоб молодые не запинаясь о старых...»

СЫН: — Когда появляются собственные дети, родители на какое-то время выпадают из твоей жизни. Так было и со мной. Связанный по рукам и ногам семьей, работой, частыми поездками в районы республики, честолюбивыми, трудно исполнимыми при моем небогатырском здоровье журналистскими замыслами, я с трудом находил время проводить родителей. «Да мы понимаем, — успокаивали они. — Молодым надо расти, много работать. Где же тут найти свободное время? Вы живите, не беспокойтесь о нас. Открытки хоть шлите почаще».

С моей женитьбой большая семья Пушкаревых разбилась на маленькие самостоятельные семьи. Но успехи наши и беды привычно стекались к старым родителям.

И в мою семью однажды пришло несчастье. Вернувшись из командировки, я застал дома тещу. Плача, она сообщила, что жену мою с дочкой увезла «скорая». Шестилетняя дочка играла во дворе и упала с горки.

Впервые в жизни я заглянул в глаза собственной беде и понял отныне, что нет на свете тяжелее ноши отца и матери. У меня меркло в глазах от чудовищной, подсовываемой нездоровым воображением, картины последних, возможно, минут жизни дочери. Тот тяжелый день остался в моей памяти навечно. И с ним навечно поселился в душе страх за детей.

Дочь выздоровела, мы с женой воспрянули и снова уш-

ли в работу, но пережитое, передуманное заставило меня с тревогой приглядеться к своим родителям. Сколько же они испытали на своем долгом жизненном пути жестоких потрясений из-за нас! Как сумели мать с отцом вместить их в свои обыкновенные человеческие сердца?

Собственное потрясение заставило меня мысленно поставить себя на место отца с матерью, понять их безмерный родительский труд. Жалость, тревога за них не отпускали меня. Я отчетливо увидел, как они стары, больны, как хрупко их существование. Еще я разглядел, что держаться в жизни помогает им необычайно крепкая сердечная привязанность друг к другу и мы, дети, дыхание их и надежда, крепкий плот, несомый водами времени.

Я представил себе широкую реку, что несет нас мимо зеленых берегов в море Вечности. Мы плывем позади отцов, читаем их жизнь на обжитых ими берегах и учимся жить. Но мы проплываем дальше, осваиваем новые берега и оставляем знаки нашим детям. Но где же вечное море? Оно отдалилось, ушло вперед? Или жизнь идет по бесконечному кругу и не устает менять русло?

Мысли эти не давали мне покою. Я спешил, я боялся, что каждый наступивший день может стать для моих родителей последним. Я хотел говорить с ними, внимать им, но не только как добрый сын. Мне надо было понять нечто ускользающее, не поддающееся моему уму, очень важное и значительное. Тогда — казалось мне — я наконец-то уловлю, постигну великий изначальный смысл жизни. Тогда я еще не осознал, что смысл бытия ищет каждый из нас, плывущих мимо чудесных, изумрудно-зеленых берегов реки по имени Жизнь. Ищет каждый, но по-разному. Одни лениво созерцают берега, не пытаясь постичь знаков, оставленных отцами, другие настойчиво плывут, ищут и ищут сокровенный смысл, постигают знаки отцов и далеко продляют путь реке.

«Что ты мучаешь себя, сынок? — ласково укорила меня однажды мать и глубоко заглянула в сыновние глаза. — В возрастходишь. Отец... Молодой я билась, чтоб побольше узнать. Грамотные люди, думала я, много знают и понимают, для чего мы живем. Но вот ты много грамотнее своей матери, а все тебе беспокойно, тревожно... Все время думаешь, а понять чего-то не можешь. А если нельзя идти дальше? Вот ты уперся лбом, к примеру, вон в тот забор?» — «Можно, — упрямо ответил я. — Найдется кто-то, сильный и смелый, и перешагнет твой предел. Разве хорошо, когда

люди не хотят понимать смысл бытия?» — «Нехорошо, — ответила мать. — Люди тогда идут друг на друга войной». — «Но если одни понимают и **хотят жить** по открытым ими законам жизни, а другие — **нет?**» — «Тогда жди большую войну», — устало сказала мать.

«Вы опять про войну, — поморщился отец. — Не хочу слышать. Вам не о чем больше говорить?»

Он встал и тяжело, косолапя, ушел на улицу. Избыточный вес мешал ему много двигаться.

«Отец... — подумал я, глядя вслед ему. — Он молчит. Он упорно хранит в себе детство и войну. Если он ненавидит войну, то должен любить детство».

Я предложил отцу съездить в его родные края. «Вот еще, удумал», — заворчал он, а сам уже собирался в дорогу, примерял выходной пиджак, сокрушенно хлопал себя по круглому — все семь месяцев! — животу, неуклюже лез в кладовку, выбирая ботинки покрасивее.

Мать благодарно улыбнулась мне. «Павлуша, как вышел на пенсию, нигде еще не был. Съездите, поглядите на родные места. Щепотку земли прихватите из Нугая».

«Никуда бы вовек не стронулся! — живо откликнулся отец. — Да раз младшенький просит, куда денешься?» И снова полез в кладовку, за плащом.

Мы ехали электричкой, потом автобусом. В вагоне отец держал на коленях шляпу и широко улыбался всем соседям. Вид у него был тихий, умиротворенный. В автобусе мест не было. Отец нахлобучил на голову шляпу и, приседая, жадно разглядывал в окно зеленые леса, залитые солнцем луга и поляны. Мне стало жалко отца, и я попросил паренька уступить место. Он мне не ответил. Даже не повернул головы. Я поудобнее повернулся к пареньку, неприязненно оглядел его тесные джинсы, приталенную рубашку. Я еще не знал, что предприму.

Но отец удержал меня словами:

— Не мешай ему, сынок. Из города едет, устал. Вон сейчас как учебой грузят — с ума сойдешь. Да и такое, может, дело, — отец понизил голос. — Больной, нездоровый — на лбу ведь для всех не напишешь.

— Хватит издеваться, — не выдержал паренек, вскочил и встал у окна. — Лучше скажите, что посидеть охота.

Он не понял доброжелательного настроения отца. Я наклонился и шепнул пареньку:

— Этот пожилой человек горел в танке, три ранения у него...

— Ну и что? — холодно сказал мне он.

— А то! — повысил голос я так, что все пассажиры повернулись к нам. — Чтоб ты, сопляк, жил и наслаждался жизнью. Теперь понял или еще повторить?

Я очень внимательно глядел на это розовое, ухоженное личико, вовсе не крестьянское, хоть он ехал домой, в деревню, на его модные шмотки, еле натянутые на бедра, плечи, живот, и чувствовал, предвкушал миг, когда отвешу звонкую пощечину за отца, всех ветеранов и от себя лично, если только поднаторевший в хамстве, не признающий мер и приличий нормального человеческого общества паренек что-нибудь дополнит к сказанному им выше.

Напуганный таким оборотом дела паренек смолчал. Он считался пока что, уважал силу, она была, надо полагать, решающим фактором в его поведении.

— Ну что ты, сынок, лезешь на скандалы? — подосадовал отец в Михайловке. — Подумаешь, полчаса простоял бы на ногах.

— Но ты же сам, отец, говоришь, что таких надо пресекать, — загорячился я. — Этот паренек из той самой «закваски», которая может испортить нам завтрашний день. В деревне он ничему не научился, в город сбежал за легкой жизнью. Болтается по жизни, но требует от деревни сала, от города — шмоток.

Отец был настроен благодушно и не хотел понимать меня. Мы молча пошли деревенскими улицами. Высокая, кирпичная Михайловка не произвела на отца впечатления. Он искал и не находил чего-то редкого, дорогого ему.

— Конечно, столько лет прошло, — сказал он и вдруг, приглядевшись, побежал к небольшому, почерневшему от непогод домику.

— Вот он, — сказал отец торжественно. — Наш дом. Здесь родились Кирилл и Нариман.

Я изумился. По воспоминаниям родителей, первый дом нашей семьи выглядел раза в три больше. В этом же, по моему, была всего одна комната и кухонька. В дом попасть мы не смогли — он был заперт.

Отец несколько раз обошел вокруг дома, внимательно оглядел шиферную крышу.

— Я тесом крыл, — сказал он и сел на крылечко.

Посидев немного, мы отправились в лес, оттуда полем прошли к Нугаю. Ни болота, ни самого Нугая уже не было. Болото осушили, а Нугай переселили на центральную усадьбу совхоза. Об этом мы узнали еще в Михайловке, но

пустое место, поросшее крапивой и кустарником, угнетало оттого не меньше.

Отец оглядел холмы, некогда окружавшие аул, удивился:

— Мне они горами тогда показались, чуть не до туч. Где же стоял дом Нади?

Долго плутал отец в зарослях крапивы и татарника, но места, где стоял дом, так и не смог найти.

Мы взобрались на ближний холм и оглядели долину реки.

Отец тихо ахнул:

— Погляди, сын, на какой красивой земле мы жили.

Река извивалась среди зеленых рощ, уходила в конец долины, где густо громоздились холмы, и пропадала у синей полоски, разделявшей небо и землю. Высокая, кирпичная Михайловка выглядела отсюда игрушечной, от нее усиками разбегались дороги. Яркое, высокое солнце висело над долиной и безмятежно ласкало порыжевшие луга, синюю реку, зеленые холмы и красные дома-кирпичики Михайловки.

Мы долго сидели на этой земле, на которой жили наши отцы. Каждый из нас думал о своем, но вместе — о вечности. Кто задумывается о вечности, тот обязательно вспомнит о детях.

Отец несмело покосился в мою сторону. Я вытянул из сидора наш дорожный обед: бутылку сладкого, тягучего вина, черный хлеб, соль и помидоры.

— Это ты хорошо придумал, сын, — сказал отец, бережно принимая в руки стакан с вином. — Помянем всех, кто жил здесь, хлеб растил, детей, внуков. Пусть спокойно спится им в этой земле.

Мы выпили вино и закусили. Хлеб был вкусен. Внизу, в Нугае, зеленела и остро пахла трава.

— Давно нет на свете моего деда, — отец повернул ко мне светлое лицо. — Но живет он как живой в памяти Нади. Так когда, где кончается жизнь человека?

Я не ответил.

Солнце, будто опомнившись, быстро заскользило с середины неба вниз. Лучи его искоса высветили лицо отца.

— Одно у меня желание осталось, — сказал он отрешенно. — Ненадолго мать пережить. Чтоб последний раз пожалела ее жизнь, не убивала, не казнила смертью моей.

Я снова промолчал. Не мог сказать я отцу, о чем говорил с мамой в больнице, куда она попала единственный раз

за свою жизнь и напугала нас, и мы съежились, как воробушки под осенним ветром, и впервые поняли, что ни одна мать не вечна в этом прекрасном мире. Мать высказала мне свое потаенное желание: чуть-чуть, на денечек, пережить отца, не дать ему, навидавшемуся, настрадавшемуся труженику и воину, остаться одному.

...Вечер спускался на землю отца и матери. Я греб все сильнее, бежали назад и оставались навечно на зеленых берегах Нугай, Михайловка, наш поселок, громады нефтеперегонного завода, горящий танк, красные языки огня, обнявшие отца, маленькая печальная Надя, выпавшая из нашего детского хора, больной отец, экскаватор, вгрызающийся в мягкое тело земли, — неутомимо бежит река и несет на себе величественное, строгое Время, вот и никого на берегах, пустынно и тихо, но за новым поворотом — новые земли, новые люди, новая жизнь. И плывут одиноко перед тобой, взявшись за руки, отец и мать...

МАТЕРИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Неяркое, но все еще теплое сентябрьское солнце освещало круглое картофельное поле, окруженное со всех сторон лесом. Виктор ногами разгребал зеленую траву, находил пожелтевший, высохший картофельный куст и всаживал лопату. Черная, жирная земля легко расступалась, и наверх выкатывались крупные картофелины. Но часто лопата скрежетала, не шла, и Виктор, нагибаясь, выгребал из земли то ржавый серп, то звенья цепи или просто железную плоску.

— Знаменка тут раньше была, — говорила мать, без усталости копаясь черными руками в выброшенной земле и свежих лунках. — Вот на этой поляне и жили.

— Куда же они подевались? — спрашивал Виктор, отбрасывая проржавевший косарь без ручки и круглый чугунок. — Переехали в большое село?

— В город подались, — отвечала мать, работая руками. — Вовсе они от крестьянства отказались, а то разве побросали бы столько добра?

Виктор, докопав ряд, с тоской оглянулся.

— Куда ты столько картошки посадила? — спросил он в который раз.

— Зима длинная, — строго ответила мать.

— Одной-то много ли надо? — Виктор начал раздражаться. — В магазине вон сколько ее!

— Сегодня магазины работают, а завтра — не дай бог — случится что? — терпеливо возразила мать, чуть не по локти запуская руки в лунку и с улыбкой извлекая продолговатую светлую картофелину. — Завтра ты, Витька, ко мне прибежишь из своего Салавата. Дай, мол, мама, картошин немного.

— Уж не прибегу за полторы сотни километров, — усмехнулся Виктор.

— Я тоже так думала, — мать перевела дух и уселась на кучу сухой ботвы. — Нам с Андреем тоже ничего не надо было. Были б, мол, руки да здоровье. Он на фронт ушел, а я с тобой, годовалым, осталась. В доме шаром покати. А ведь могли мы с Андреем сотки три-четыре за домом вскопать да картошки посадить? Молодые были, глупые. Вот в первую же военную зиму я к отцу за тридцать километров и зачастила. Картошки, овощей разных у него было много. Жил в городе, а на магазины не смотрел. Своим огородом кормился. Крестьянин!

— Ну хорошо, — сказал Виктор. — Нужна картошка. Я разве против? Давай я куплю ее в колхозе по дешевке да завезу тебе на всю зиму. Мучиться не будешь.

— Да какое мне мучение, сынок? — ласково ответила мать. — Денек погожий, солнышко, тепло. Копай себе на здоровье.

— Да лучше бы я с детьми погулял, книгу хорошую почитал, чем ковыряться в этой земле.

Виктор отбросил лопату и сел возле матери.

Она удивилась словам сына.

— А как ты хотел? Мы всю жизнь ковыряться в земле будем, и дети, и внуки наши будут. Кормиться-то надо? Или думаешь, из твоей химии научатся картошку делать? Книжку зимой считаешь. Не уйдет!

Виктор махнул рукой, встал и потянулся за лопатой.

Скоро мать стала отставать, все чаще останавливалась иправляла жидкие волосы под платок.

— Перекусим, Витек? — несмело попросила она.

Виктор разостлал на земле старый плащ и присел с краю. Мать достала из сумки булку хлеба, яйца, масло и термос с чаем.

— Люблю в поле кушать, — мать, глубоко вздохнув, огляделась вокруг. — Тут черный хлеб пирогом сладким кажется.

Виктор смотрел, как мать разламывает хлеб, бережно подносит кусок ко рту, истово ест, а глаза ее зорко подмечают упавшие на подол крошки, она подбирает их, ссыпает в ладонь и снова отправляет в рот.

«Ленка как ругалась, — вспомнил он жену. — В такую погоду едешь из-за какой-то картошки, лучше бы за город поехали, грибов насобирали. Или детей бы в зверинец сводил. Да купи ты ей полмашины картошки, завали подпол! Ну не смешно ли, из Салавата едешь в Уфу копать картошку!»

Насытившись и напившись горячего чаю, мать собрала остатки обеда в полиэтиленовые мешочки и положила в сумку. Лицо ее просветлело.

— С отцовой помощью пережили мы с тобой первую военную зиму, а весной притащил он на себе семян и помог вскопать за поселком четыре сотки земли. Летом снова приехал, две тямки привез, и мы втроем пошли окучивать молодую картошку. Ты еще только-только ходить начал, цсплялся за мою юбку, мешал работать. Потом побежал ты на своих коротеньких ножках в траву. Я скорее за тямку схватилась. Отец притомился и пошел к роднику напиться, а из него твои ножки торчат. Пузыри еще шли — ты, видать, прямо перед дедом сполз туда. Выхватил он тебя, отшлепал, задышал ты. Лето тогда жаркое стояло. Забыла я, что пить тебе захочется. Нет чтоб сходить к роднику, принести кружечку воды. Молодая была, глупая...

Мать осуждающе покачала головой.

— В другой раз я к отцу за солью поехала — обещался он немного дать. Вечером приезжаю домой, а ты возле печки сидишь с кочергой, белый весь, злой... Весь день с голодными крысами воевал. Ладно утром я тебя хорошо накормила: две картошки дала да хлеба кусочек. А то не хватило бы у тебя сил воевать. Три с половиной года тебе тогда было.

На солнце набежала туча, и мать, озябнув, накинула на плечи телогрейку. Морщинки у глаз ее собрались в густые сеточки.

— Счастливым ты, Витька, родился. И в третий раз смерть тебя обошла. Прибежала я как-то зимой с работы, изба холодная, ты в подушки зарылся с головой, только пар у тебя изо рта идет. Затопила я каленку, чтоб быстрее избу

нагреть, и за водой кинулась. А ты к теплу потянулся, совсем близко к печке подошел. Фуфайка на тебе загорелась, стала животик обжигать. Когда прибежала я, в избе дыму полно, паленым пахнет, а тебя не слышно. Кинулась искать, а ты под кровать забился, дымом захлебываешься. Тебе тогда и пяти не было.

Виктор, пригревшись на солнце, лежал на боку и сонно слушал мать. Что-то далекое, смутное наплывало, приоткрывалось из глубин памяти. Из первого воспоминания матери он помнит лишь нестерпимый зной, марево над полем. Дед с матерью смотрят далеко за поле, куда начинает скатываться солнце. В глазах их тревога. Там, далеко, воюют муж и двое братьев матери. Но Виктор знает, что то поле он помнить не может, скорее, он представляет все по рассказам матери. Из второго воспоминания память удержала лишь тяжеленную железную кочергу и темный, сырой угол, откуда выбегали серые, враждебные существа, а из третьего — едкий черный дым, которого он боится и сейчас и, наверное, будет бояться всю жизнь.

Из-за леса медленно тянулись низкие тучи, свежий ветерок прошелся полем.

Мать встревожилась.

— Кабы, Витек, дождя не нагнало.

Она боязливо взглянула на утопающее в облаках солнце, торопливо застегнула телогрейку на все пуговицы. Виктор схватился за лопату, принялся яростно выкидывать из земли кусты картофеля. Мать на коленях ползла за ним и выбирала из земли клубни.

— Куда такую мелкую собираешь? — Виктор, возмущившись, выхватил из рук матери картофелину размером с голубиное яйцо и бросил в траву. Мать проворно кинулась следом, скрылась в лопухах.

— Сгодится, — сказала она, появляясь из травы. Стесняясь сына, она спрятала картофелинку в карман телогрейки. Пятясь задом и неумоимо выбрасывая рыжие кусты из земли, Виктор копал, пока не дошел до кустарника. Здесь он бросил лопату, с наслаждением разогнул ноющую спину. Мать отстала далеко. Колени ее, руки и даже лицо были перепачканы землей. Она хоть и спешила, но не переставала добросовестно ворошить землю и перетряхивать ботву, ища укрывшиеся от глаз картофелины. Виктор присел рядом и начал помогать матери.

— Маленьким ты куда как быстро собирал, — заметила мать.

— Теперь спина ноет, — заворчал он. — Ты меня за молодого считаешь. А мне, маманя, уже за сорок перевалило.

— Спина у тебя отчего балованная? — спросила мать. — Не в начальниках вроде ходишь?

— Начальники мои весь день на ногах, — Виктора задела слова матери. — К вечеру устают они хуже собак. А я, маманя, на приборы поглядываю да в журнал записываю. У меня работа чистая, интеллигентная. И платят хорошо. Не всякий начальник такую работу найдет.

— Не пойму я теперешнюю жизнь, — вздохнула она. — Кого ни спроси, у всех чистая, опрятная работа. Кто же работает руками-то?

Они ссыпали картошку в мешки, завязали и составили их рядком. Мать несколько раз обошла вокруг них, пересчитала, — картошки набралось двенадцать мешков.

— Хороший в этом году урожай, — мать была довольна. — Дураки знаменские мужики! Такую землю побросали!

Виктор оставил мать возле мешков и вышел на дорогу. Первый же шофер грузовика, которого он остановил, согласился подбросить картошку. Мать, увидев машину, засуетилась, побросала ведра и лопаты в кузов, побежала к мешкам, пыталась помочь сыну, но больше мешала.

Вскоре они сидели в кузове, спиной к ветру, и весело глядели на бегущие мимо осенние леса. Но пошел мелкий дождь, настойчивый и нудный, и у матери упало настроение. Они прикрыли картошку пустыми мешками, мать, не обращая внимания на протесты сына, сорвала с себя старенький плащ и накинула на мешки. Дождь не стихал.

— Нам бы через овраги успеть перебраться, — обеспокоенно сказала мать. — Первый вот сейчас будет, второй возле аула Сабанай.

Овраг оказался небольшим. Грузовик уверенно прошел низом, забрался было на противоположный склон, но на последних метрах забуксовал. Виктор спрыгнул на дорогу, уперся плечом в задний борт и начал толкать. Ноги в резиновых сапогах скользили по мокрой земле, он искал им опору, но безуспешно. Грузовик, правда, перестал съезжать вниз, на дно оврага, мотор надсадно гудел и окутывался дымом. Виктор напрягался из последних сил, казалось, еще одно небольшое усилие, и машина стронется, пойдет вверх и выкарабкается на склон. Грузовик и в самом деле стронулся, медленно пошел вверх. Виктор на мгновение расслабился, чтоб перевести дух, и увидел по другую сторону борта мать. Она упиралась обеими руками в мокрые доски,

помогала плечом, головой, ее сухонькие, короткие ноги съезжали и настырно переступали снова, упирались в избитую колею. Виктор ругнулся, вспомнил свою Ленку, пропавшие выходные и налег на борт так, будто выдавить его хотел. Машина пошла бойче, мотор перестал визжать на тонкой, пронзительной ноте и перешел на солидный, басовитый гуд.

Выехав на склон, шофер остановил машину и дождался, когда Виктор с матерью заберутся в кузов.

— Зачем ты слезла? — укорил Виктор. — Тебе сколько лет?

— Мне-то привычно толкать машину, — мать заправила под платок выбившиеся волосы. — Редкий год выдается сухим. Ничего, Витька...

— Давай-ка, мать, завяжем эту картофельную канитель, — Виктор оглядел забрызганные жидкой грязью брюки и куртку, и старое раздражение поднялось в нем. — Будущей весной в райисполком не ходи и землю не проси. Осенью я привезу тебе картошки и ссыплю в подпол. Так?

Мать упрямо сжала губы, промолчала. Виктор отвернулся и стал дожидаться второго оврага, сабанаевского. Тот оказался круче и глубже. Шофер разогнал машину, лихо проехал низиной, но уже в начале подъема прочно сел в разъезженную глинистую колею, проделанную более мощными машинами.

Шофер вылез из кабины, поднял воротник, прикрываясь от дождя, заглянул под кузов и сказал громко:

— Итак, они приехали...

Потом подумал и добавил, запрокидывая голову, чтоб увидеть свесившегося с кузова Виктора:

— Вот что, земляк. Бежать надо в Сабанай...

Виктор, кляня этот дождливый день, мать и саму судьбу, выбрался из оврага и увидел совсем близко маленький аул. Выдирая ноги из густой глины, он ступил на луг и поспешил к потемневшим от дождя домам.

В четвертом с краю дворе стоял «дэтэшка», и Виктор постучал в стекло. Окно распахнулось, и на подоконник почти упал молодой смуглый парнишка. Видимо, он обедал — жиром лоснились красные губы.

— Здравствуйте, — сказал Виктор.

— Салям, — равнодушно отозвался паренек.

— Помогите, браток, — стараясь придать голосу прочувственные нотки, попросил Виктор. — Машина в вашем овраге увязла.

— Овраг не наш, а ваш, — неожиданно четко отрубил

паренек. — Детей в пионерский лагерь возите? Сами на турбазу ездите? А дорогу через овраг пусть Сабанай тянет? Нет, не буду помогать.

— Выручи! — взревел Виктор. — Что тебе стоит?

Паренек отрицательно покачал головой.

— На пиво дам! — спохватился Виктор. — За мной не станет.

— Нет, — сказал паренек и сделал движение, чтобы закрыть окно.

— Десятку! — крикнул Виктор и схватился за раму. Он представил холодную, промозглую ночь в овраге, дрожащую от холода мать и добавил негромко: — Пятнадцать тебя устроит?

Паренек, поморщившись всем лицом, нагнулся к Виктору.

— Я тоже под дождь попал, — сказал он значительно. — Промок, простыл немного. Выпил, значит. Мне теперь нельзя за трактор.

Виктор обмяк: это был конец. Но уйти он не мог. «Родился и прожил здесь сорок лет, а выучить сотню-другую слов на башкирском поленился, — подумал он о себе со злостью. — Паренек наверняка бы не отказал, если б я попросил его на родном языке».

— Шибко не расстраивайся, — сказал тот, оглядывая жалкое лицо Виктора. — Не сможешь уехать, приходи ко мне ночевать. Утром вытащу твою машину.

— Я за себя не переживаю, — сказал Виктор. — Мать у меня на дороге. Крестьянская кровь у нее выиграла — плащ свой на картошку накинула. Промокла она сильно...

— Старый человек на дороге? — удивился паренек. — Это нельзя, чтоб старые люди замерзли...

Он закрыл окно. Через минуту-другую паренек стоял на крыльце.

— Десять! — сказал паренек, глядя в глаза Виктору. — Пятерку оставь себе, согреешься дома.

— А если я аварию сделаю? — говорил он уже в кабине трактора. — Мне тогда крышка, в тюрьму потащат.

— Не допущу, — горячо заверил Виктор. — Пока будешь вытягивать машину, я от тебя на шаг не отойду.

Грузовик стоял все на том же месте. Мать понуро сидела на подножке и смотрела в сторону Сабаная.

Шофер, услышав рокот трактора, выскочил из леса, где он выламывал жерди, размотал трос и зацепил его за фаркопф «дэтэшки». Тракторист осторожно дернул, вытащил

машину из глубокой колеи на обочину и уверенно потянул ее из оврага.

Наверху Виктор крепко стиснул паренька за плечи, выскочил из кабины и полез в кузов машины. Он достал из сумки кошелек, вытянул три пятерки и попросил мать:

— Отдай пареньку.

Сам он вдруг застеснялся идти к трактористу с деньгами.

— Пятерки бы хватило, Витька, — мать смотрела на деньги.

— Отдай-отдай, ждет человек, — нетерпеливо сказал Виктор.

Мать, вся забрызганная грязью, неловко пошла к трактору, скользя и с трудом удерживаясь на ногах. У гусеницы она оробела, не зная, как подняться наверх, и потянула вверх руку с зажатыми в ней деньгами. Трактор, неожиданно для всех, дернулся и пошел целиной вниз, к аулу.

— Не взял, — мать тяжело поднялась в кузов. — Они у старых людей не больно берут. Тебе, сынок, самому надо было отдать.

Виктор проводил взглядом трактор.

— Черт бы вас побрал с этой картошкой, — тихо, почти с ненавистью, сказал он и отвернулся от матери.

Но та протягивала деньги, и он оттолкнул ее руку.

— Возьми себе или отдай какой-нибудь одинокой старушке.

Вернулись они домой вечером, разгрузили картошку в сарае, перебрали и ссыпали в подпол. Виктор кое-как поужинал, лег в постель и уснул мертвецким сном.

Утром он проснулся поздно, долго лежал и с удовольствием думал, что вот еще один картофельный сезон позади, и можно будет спокойно жить до самой весны. Мать гремела на кухне, пекла сдобу для внуков и напевала. Часто забегали соседки. «Теперь мне зима не страшна, — говорила мать каждой из них. — Нынче я с картошкой. Сухонькая, крепенькая, одна к одной...»

Виктор оделся и вышел в переднюю. Мать ждала его за самоваром в праздничном платье, лицо ее светилось радостью, каким-то необычным торжеством. Виктора поразили светлые, молодые глаза матери. Он позавтракал, оделся и взял в руку тяжелый портфель.

— Вот еще возьми, — попросила она и протянула сумку. — Покушайте свежей картошечки.

Виктор едва не бросил на пол картошку, но взглянул в умиротворенные материнские глаза, сдержался.

В междугородном автобусе он поставил у ног портфель и сумку, откинулся на сиденье и вспомнил вчерашний суматошный день, овраг у Сабаная, старые, жилистые руки матери, упирающиеся в мокрые доски грузовика, ее лучистые глаза утром, и задумался. Еще он вспомнил страшную войну и себя, трижды избежавшего смерти. Но прошлая война грозила ему, малолетнему, другой смертью, мучительной и каждодневной: голодной. И мать отстаивала его и себя все эти тяжелые годы. И как знать, сумела ли бы отстоять, если не картошка... И неожиданно он понял, что сегодня у матери не простая радость, а праздник души, праздник убранного урожая, ее низкий поклон «второму хлебу», что помог ей и ее сыну выжить и встать на ноги. Виктор подумал, что отныне один выходной в середине сентября будет и его праздником. Еще он с беспокойством подумал, будут ли свои праздники у его детей...

ПОРТ-АРТУР

Его встретили на перроне станции.

— Здорово, дядя! — крикнул молодой парень так громко, что высыпавшие из вагонов пассажиры стали оглядываться. — Забыл, наверное, своего племянника?

Рафаил снял перчатку, парень тотчас схватил его руку и так затряс, будто хотел выдернуть ее из рукава шубы.

— Как поживаешь? — кричал племянник, пуча глаза от радости. — Жена не хромает больше? А дети? Дети-то не болеют?

— Все живы, здоровы, передают привет, — сдержанно ответил Рафаил и потянул племянника за собой — ему хотелось скорее уйти с многолюдного перрона.

Племянник обеими руками поправил шапку и неохотно пошел за Рафаилом.

За железнодорожной кассой стояли машины. На какой-то из них, решил Рафаил, прикатил племянник. Он уже раскаивался, что заранее сообщил о своем приезде.

— Как работается? — не унимаясь, кричал племянник. — Начальство не обижает?

— Где твой транспорт? — нетерпеливо спросил Рафаил, оглядываясь на остановившегося родственника.

— Вот мой транспорт, — тот показал на поджарую лошадку, запряженную в кошевку. Лошадка стояла у края перрона и пугливо смотрела на грохочущие мимо составы.

— Ну-у, — разочарованно сказал Рафаил. — Ты большой оригинал. Это когда же я доберусь на твоей таратайке? Пойду-ка я лучше на автобус.

— Автобусы сегодня не ходят, — с видимой радостью сообщил племянник. — Позавчера буран был — опять дорогу на перевале замело. Еще и не всякая лошадь пройдет.

— Ага, — быстро сообразил Рафаил и уже другими глазами оглядел поджарую лошадку. Подобрал полы шубы, он боком повалился на дно кошевки, устланное сухим сеном.

Племянник с облучка оглянулся на Рафаила, что лежал в сене в обнимку с портфелем, и крикнул на лошадку. Та дернула головой и неторопливо пошла к дороге.

— Ах ты, дохлятина! — возмутился племянник и раскрыл рот, чтоб обругать лошадь, но, оглянувшись на дядю, не решился. — У вас в ногах кнут лежит, дайте-ка мне. Сейчас газу поддам...

— Куда гонишь? Успеет, — запротестовал Рафаил. Ему было жалко лошадку.

— Эта скотина кроме кнута ничего не понимает, — племянник погрозил лошади кулаком.

Та скосила глаза и пробежала с десятков шагов.

— В кооперацию на колбасу сдам! — погрозились племянник и лег рядом с Рафаилом в сено. — К ночи приедем, и ладно.

Рафаил толкнулся плечом обо что-то острое. Отбросив сено, он увидел ружье.

— Волки в горах появились, — сообщил племянник на немой вопрос Рафаила. — Как по телевизору пошли разговоры, что волк пропадает, спасти его надо, так он и почуял силу. Бить его побаиваемся — говорят, будто запрещение есть. В прошлом месяце волчья стая забралась на колхозную овчарню — всех овец перерезали. Вот и береги его!

Рафаил устроился поудобнее и, вспомнив вопросы племянника на перроне, сказал со смешком:

— Харрас, ты с чего решил, будто жена у меня хромая?

— Вы ж сами писали, — Харрас бросил вожжи и повернул голову. — Падала она у вас в гололед, неделю лежала в больнице, потом ее выписали с костылем. Так ведь?

— Это было в прошлую зиму, — вспомнил Рафаил. — Я и думать забыл. Ну и память у тебя. Феномен!

— Значит, не хромает больше, — помолчав, сказал Харрас. Он, видимо, обдумывал непонятное слово. — Раз вы не написали второе письмо, откуда нам было знать, что она выздоровела?

— Ну хорошо, в другой раз не буду сообщать, если даже моя жена разобьется в лепешку, — серьезно пообещал Рафаил.

— Пусть она ходит зимой в валенках, — посоветовал Харрас и широко заулыбался. — Поглядите, Рафаил-абый, какие красивые у нас края.

Он достал кнут и замахнулся.

Лошадка дернулась и неожиданно легко понесла кошевку мимо последних домов станции. Дальше вставали горы; крутые, голые их склоны, обращенные к станции, были припорошены снегом. Казалось, кошевку несет в стену. Но дорога свернула влево и пошла вверх по еле различимому руслу реки, и горы раздвинулись, пропуская лошадку и людей.

— Прямой дорогой едем, через горы, — крикнул Харрас, отворачиваясь от ветра. — Через перевал нам не пробраться.

Лошадка, полагая, что кричат на нее, дернула еще сильнее, и Рафаила вмяло в сено. Он надвинул шапку на лоб и поднял воротник. Такая езда ему нравилась.

Дорога ушла еще глубже в горы, и ветер стих. Высокие сосны стояли на обоих берегах речки недвижимо и строго, как на карауле.

Рафаил опустил воротник и спросил племянника:

— Сестричка как?

Харрас перестал улыбаться.

— Плоха, — сказал он и спрятал кнут в ноги. — Очень она дожидается вас.

* * *

Рафаил вышел на просторный двор и оглядел со всех сторон полуразвалившийся сарай.

«Сколько собираюсь приехать и починить его — все недосуг, — подумал он и бросил взгляд на крепкую, совсем еще новую баньку. — Спасибо Харрасу — потешил он мою душу банькой. Старая совсем не держала пару».

За огородом начинался лес, светлый, березовый. Даль-

ше, за оврагом, росли липы. В этом лесу он знал когда-то каждое дерево, помнил каждую ложбинку, мог с закрытыми глазами пройти по всем его тропкам.

«Когда-то...» — Рафаил оглядел огород и нахмурился. «Жить хорошо на свете, Рафаил, — сказала сестра, повеселевшая и счастливая приездом брата. — Но зачем живут среди нас такие недобрые, злые люди, как мой сосед Суяргул?»

Сестричка ненадолго уснула, привалившись спиной к теплому боку печи, и Рафаил, еще раз оглядев огород и ближний лес, двинулся к соседу.

Дом его был крепок, крыт железом. Но не это удивило Рафаила — таких домов много в нынешних аулах. Удивил его сарай соседа. Он больше походил на колхозную клеть — сложен был из белого кирпича, на двери висел громадный замок. Подойдя ближе, Рафаил разглядел, что дверь обита листовым железом.

Он взошел на крыльцо, прошел через темные сени и негромко постучал в дверь. Никто не ответил.

Рафаил толкнул плечом дверь и переступил порог. На него в упор смотрел Суяргул, невысокий, плотный мужик в узком пиджаке.

— День добрый, — поздоровался Рафаил и, переборов себя, протянул руку.

Но мужик не ответил на приветствие, он угрюмо смотрел в лицо вошедшему. Рафаил, протягивая руку, улыбался соседу, но тот не шелохнулся, и он потрепал его по плечу.

— Не хочешь признавать меня, Суяргул, — скрывая досаду, сказал он. — Видать, чуешь, зачем я пришел. И стула не дашь гостю?

— Длинно говоришь, — разжал рот Суяргул.

— Клеть твоя мне понравилась. — Рафаил хотел сесть, но в прихожей было пусто. Он вздохнул и привалился спиной к стене. — Что ты в ней хранишь? Стратегические запасы на случай мирового потопа?

— Что тебе надо? — Суяргул стоял неподвижно, как деревянный истукан, только глаза его зорко следили за Рафаилом.

— Мне ничего не надо, — Рафаил опустил глаза. — Ты мне Расскажи-ка, зачем сестричку мою обижаешь?

Суяргул молчал.

— Я тебя спрашиваю, а не печку. Ну, рассказывай.

— Женой своей в городе командуй, — грубо ответил Суяргул. — Здесь мой дом, здесь команду я.

— Хорошо, — сдержался Рафаил. — Тогда я тебя прошу объяснить, что плохого сделала тебе моя сестренка, почему ты ее обижаешь?

— Я с тобой ни о чем говорить не собираюсь, — Суяргул даже будто улыбнулся. — Приехал навестить родственницу — милости просим. Но ходить по улице, затевать скандалы, вступать в чужие дела — это мы тебе не позволим. Иди, дорогой, отдохни да собирайся к себе домой.

— Вот ты какой говорливый оказался! — изумился Рафаил. — С тобой заговорили как с человеком, а ты уж его за слабого посчитал. погоди, ты у меня сейчас запрыгаешь!

Он вытащил из кармана записную книжку и трехцветную шариковую ручку. Суяргул с беспокойством оглядел письменные принадлежности.

Рафаил выставил из баллона красный стержень, раскрыл записную книжку и начал писать. Суяргул, сжав губы, пристально следил, как бежит ручка по бумаге, оставляя красные строчки.

— Чего пишешь? — не выдержал он. — Я тебе ни словечка не сказал.

— Как не сказал? — сдвинул брови Рафаил. — Ты мне заявил, что не хочешь разбираться в деле, которое я на тебя хочу завести.

— Я сказал тебе, чтоб ты не командовал в моем доме, — Суяргул положил ладонь на записную книжку. — Вторых, дела заводят на воров. Ты меня не запугаешь этим.

— А ты и есть вор, — Рафаил встретился взглядом с соседом.

— Я?

— Да. Ты старый, опытный вор.

— Ты спятил или много выпил? — Суяргул растерялся. — Ты что говоришь? А ну из моего дома!..

— Нервный какой... — Рафаил спрятал книжку и ручку в карман. — Придется мне к соседям идти. Там я быстрее кончу твоё дело.

— Да какое ты дело придумал? — взревел сосед. — Не выспался, что ли?

— Обойду соседей, составлю бумагу, что ты шкура, ту-неядец, и выселим тебя отсюда.

Рафаил пошел к двери.

Суяргул проворно обогнал его и встал у двери.

— погоди к соседям ходить, — неохотно попросил он. —

Они всякое наговорят, как увидят тебя с толстой ручкой, — Суяргул дернул углом рта.

«Спекся», — решил Рафаил и огляделся.

Суяргул вышел в соседнюю комнату и принес табуретку. Он посмотрел, как неторопливо и степенно усаживается Рафаил, и снова дернул углом рта.

— Маленьким я тебя хорошо помню, — сказал он. — Бесхитростным ты мне казался. Пожалел я вас четверых однажды — ведро мерзлой картошки весной на межу поставил. Гляжу, через час ты бежишь улицей, обратно несешь картошку. Дядя, а дядя, вы забыли ведро.

Суяргул, оттопырив нижнюю губу, глядел на соседа.

— Унизить меня хочешь? — спросил Рафаил.

— Нет, понять хочу. Где научился людей прижимать к ногтю? Я слышал, ты начальником в городе работаешь. Уж не прокурором ли?

— Обо мне потом поговорим, — Рафаил откинулся головой к стене. — Давай говорить о деле.

— Ладно, — сдался сосед. — Только, аллаха ради, не вынимай бумагу.

— Ты зачем у сестры огород отрезал?

— Зачем старухе столько земли? — искренне удивился Суяргул. — Она и половину-то еле обрабатывает. Остальное бурьяном поросло.

— Ты мог зайти к ней и попросить?

— Не даст. Она меня с малолетства не любит.

— А ты б зашел, поклонился. Или сломаться боишься? Потом бы с чистой совестью зашел в сельсовет, узаконил.

Суяргул насупился. Поразмышляв про себя, встал и открыл створки буфета.

— От таких разговоров во рту пересыхает, — забурчал он. — Может, врежем по стаканчику?

— Верни огород сестре, — Рафаил постучал костяшками пальцев по столу.

Суяргул, успевший схватить бутылку за горлышко, вздрогнул и медленно повернул голову.

«И бутылку-то, будто живого человека, за горло хватает, — усмехнулся Рафаил. — Вот кому власти не хватает...»

— Дался тебе этот огород, — Суяргул неохотно разжал пальцы, вытянул руку из буфета.

— Если этой весной ступишь своим сапогом на огород сестры, я больше говорить с тобой не буду, — пообещал Рафаил. — Я тебя, тунеядца, отсюда выселю.

— Я свой хлеб ем, не чужой, — сдерживаясь, сказал Суяргул и близко подошел к Рафаилу. — Ты, верно, обознался...

— Нет, уважаемый сосед, я не обознался, — Рафаил локтем отодвинул соседа. — Ты на чьей земле урожай собираешь? На колхозной. Сколько ты трудодней заработал в колхозе? Не помнишь? А я тебе скажу, твоих трудодней годовалому ребенку на жизнь бы не хватило. Наша сестра на свои заработанные трудодни нас, троих братьев, кормила. Пока ты промышлял, она пуп рвала на колхозной работе, чтоб таких мужиков, как ты, заменить. Теперь ты ее со свету сживаешь, на огород ее позарился. Вот оттого ты не идешь в сельсовет и в правление — там тебя слушать не станут.

Рафаил поглядел на поджатые губы соседа. Тот никак не мог сообразить, как ему держаться с непрошеным гостем: то ли выпроводить из дому, то ли как-то смягчить, ублажить, расстаться по-хорошему.

— Столько лет мне хотелось сказать тебе в глаза, какой ты есть ничтожный, подлый человек... — Рафаил судорожно вздохнул. — Вот и довелось. Долго ты сидишь, Суяргул, на шее у народа. И вовсе тебе не стыдно меня слушать. Тебя не уговаривать надо, а почаще пугать, чтоб из норы своей не кусал хороших людей. Так я говорю, Суяргул?

— Огород твой я не трону, — сосед снова близко подошел и ненавидяще смотрел на Рафаила. — Только я прошу тебя, очень прошу, сейчас же, вот сию минуту, убирайся из моего дома. Не то я... что-нибудь с тобой сделаю.

— Верю, — поспешно согласился Рафаил и быстро встал. — Теперь верю, что к сестричкиному огороду ты больше не подойдешь.

Рафаил осторожно прошел мимо набычившегося Суяргула, закрыл за собой дверь и подумал с облегчением: «Теперь он сестру обижать не станет. Уважают такие силу. Но только не попадайся им в глухую ночь. По капельке кровь выпустят, по кровинке — насладиться чтоб...»

* * *

— Лежи, сестричка, — попросил Рафаил и положил руку ей на плечо. — Никогда я не видел тебя отдыхающей. Раньше нас вставала, позже ложилась. Хоть сейчас отдохни.

— Скоро я крепко отдохну, — сказала сестра и испуганно поглядела на брата. Но тот сделал вид, что не понял намека.

— Мы с тобой дружно жили, правда, Рафаил? — живо спросила она.

— Это правда, — сказал он. — Я то же самое Индире своей говорю — она даже ревнует, — соврал он.

— Ревнует? — сестра засмеялась и отбросила ладонью со лба жидкие седые косички.

— Еще как ревнует, — подхватил Рафаил.

— Что же она к нам не едет? — спросила сестра. — Вы женаты двадцать лет, а видела я ее всего четыре раза.

Сестра помолчала, не дождавшись ответа, повернулась к стене и заговорила будто с собой:

— Я никогда ничего от вас не требовала. Мне хватало письмаца на листочке бумаги, открытки, только телеграммы я просила не присылать — они несут несчастье. Ваших приездов я ждала годами. Я все понимаю — время... Его не бывает в достатке даже у богатеньких... Как мне хотелось видеть вас возле себя! У меня нет своей семьи, привязанность моя одна — это вы. Женщине надо кого-то любить в своей жизни, а то зачем же жить? У меня никого нет, кроме вас...

— Слушай меня внимательно, сестра, — Рафаил придвинулся. — Ты права — время... Нам с тобой и поговорить толком не пришлось за эти годы. Когда ты была здорова, носилась по хозяйству, готовила угощения, звала гостей, мы бегали по друзьям-знакомым, так проходили два-три дня, и мы уезжали к себе, ни о чем с тобой не поговорив. Теперь послушай меня...

Старший из нас, братьев, Иргали, рано покинул этот мир. Сперва, когда немного подрос, помогал тебе растить младших братьев, потом разоренный войной колхоз ставил на ноги. Много он сил положил. Когда Иргали лишился здоровья, я помог устроить его в республиканскую больницу. Ходил к нему часто, через день, а то и каждый вечер после работы. Мы много говорили. Он спрашивал меня: отчего, мол, Рафаил, человеку два сердца не дадено? Вот сейчас бы врачи вынули его износившееся сердце, и он долго бы жил со вторым. А жить Иргали хотел сильно. Я ехал со станции, глядел на Харраса и думал, что в моем племяннике оттого много сил и радости, что его отец не успел израсходовать их за свою короткую жизнь.

Шакур, средний мой брат, ушел в суворовское учили-

ще — чтоб легче нам, остальным, в эти послевоенные годы выжить. Сейчас он полковник, служит на Дальнем Востоке, — со значением сказал Рафаил. — Где ему время брать родных навестить? Теперь о младшем брате слушай, Рафаиле. Помнишь, как ты меня заставила десять классов кончить? Очень я хотел учиться, но больно мне было на тебя смотреть, да еще сидеть на твоей шее. Твои подружки растили детей, водили их в школу, а ты со мной носилась, будто мать. Ведь я хорошо помню, что красивее тебя не было в нашем ауле девушки.

Сестра недоверчиво улыбнулась, но заблестевшими глазами благодарно посмотрела на брата.

— Первый жених твой испугался нас, малолетних нахлебников. Второй ничего не боялся и ни о чем не задумывался, но ты вовремя его раскусила, когда он меня, как кутенка, от себя отшвырнул, чтоб я не мешал ему разговор с тобой вести по душам. А третий... Ни третьего, ни четвертого уже не было. Короток девичий век в ауле. И я видел это, скрепя сердце ходил в школу. Потом город. Днем работал бетонщиком на стройке, вечером готовился в институт. Готовиться пришлось долго — моя десятилетка, законченная в ауле, никуда не годилась. Еще мои шесть лет ушли на институт. Иргали, наверно, часть своего сердца потратил на меня, жалел братишку. Мое сердце, правда, выдержало. Сейчас я каюсь перед тобой, но мне не стыдно — я мало вспоминал тебя, мало навещал, зато я старался крепко стать на ноги, чтоб ты гордилась мной. Тебе некого было любить, некому пожаловаться, как не нам. А мне некому было нести свои радости, как не тебе. Хотя... Хотя очень скоро, уже инженером, я женился на Индире. Ты придирчиво знакомилась с ней. Это Индире, городской независимой девушке, не могло понравиться. Какая-то деревенская тетка разглядывает, расспрашивает, предъявляет немыслимые права на своего родственника, пусть даже и родного братишку. Ей, не знавшей не только нужды, но даже обычной материальной стесненности, трудно было понять, чем ты была для нас. Только ты и мы, братья, знаем, как трудно было выжить нашей слабосильной семье в послевоенном ауле, какая высокая цена была каждому, добытому в тяжелом труде, куску хлеба. До сих пор я не могу сломать в себе укоренившуюся с детства привычку: не могу отщипнуть даже крошку от хлеба, который несую домой из магазина. Я прихожу домой, режу булку и уже потом ем, только убедившись, что оставшегося хлеба хва-

тит на всю семью. Но ведь этим дешевым, таким доступным хлебом завалены магазины! С этой привычкой, наверно, я не расстанусь до смерти.

Моя Индира не поняла тебя, и вы холодно расстались. Но я люблю вас обеих. Ты не просто сестра, ты заменила мне мать и вправе была требовать, чтоб я любил тебя больше. Но я не мог умалить женщину, которая родила мне и воспитала прекрасных детей. Я навещал тебя один, потом с детьми. Когда дети подросли, я снова ездил к тебе один. Теперешние городские дети неласково принимают аул, родственников, которые кажутся им неинтересными, скучными людьми. Я не знаю, от кого они только этому учатся? Но не надо, сестричка, переживать — время откроет нашим детям глаза на многое, и они потянутся к своим истокам.

Век наш оказался богатым на события, но скучным на время. Его просто-напросто нет, сестра. Моя младшая, Регина, занимается музыкой, а чуть появится часок, бросается к своему киноаппарату и снимает все подряд. Она надеется, что когда-нибудь ее ленты будут нужны людям как документ эпохи. Она уже умеет так говорить. Старший, Азнали, занимается борьбой. Он учится в институте и как-то урывает время ездить на большие соревнования. Он добился чемпионских званий, о нем пишут в газетах. Мы с Индирой надеялись, что вот подрастут дети, и мы наконец-то заживем для себя. Но теперь я вижу, что мы нужны детям еще больше, чтоб они многое узнали, многому научились и сумели крепко стать на ноги. От забот и дел мне начинает казаться, что и время, следом за нами, усаживается в самолет и летит впереди нас.

— Страшный век, правда? — тихо спросила сестра. — Я б не хотела так жить.

— Я б тоже хотел жить как-то по-другому, замедленнее, что ли, — задумчиво сказал Рафаил. — Но мои дети не хотят жить по-другому. Их устраивает самолет, но не сани и даже не автомобиль.

— Ты не оправдывайся передо мной, — попросила сестра и взяла Рафаила за руку. — Я довольна своими братьями. Раз вам хорошо, то и мне хорошо. Только хотелось бы видеть вас чаще. Поглядеть хоть одним глазком, как вырастут ваши дети, обзаведутся семьями... Скажи, Рафаил, ты хоть доволен своей жизнью, работой?

— Про свою жизнь я уже сказал: приноравливаюсь к транспорту своих детей. Но в работе мне по-настоящему повезло. Индире я жалею на частые командировки, труд-

ности в снабжении материалами, бездорожье, непосильные планы. Ей это нравится, и она плачется подружкам, что муж ее сгорает на работе. Но сам я счастлив, что выбрал сельское строительство. На моих глазах, под моим началом вырастают в аулах детские сады, школы, больницы. Когда я вхожу в новую школу, мне плакать хочется от радости и боли за свою старую. Помнишь нашу школу в пятистенной избе? Однажды, чтоб уберечь тепло, рано закрыли выюшки, нас, угоревших ребятишек, выводили на свежий воздух. Учителя наши мыкались по квартирам и уезжали. Сейчас мы им строим городские квартиры, они выют в аулах свои гнезда и не спешат уезжать с земли, на которой вырастили детей. В новых школах есть лаборатории, кабинеты и спортзалы, и молодежь аулов не приезжает в город такими неумейками и незнайками, каким приезжал я. Но вот не хватает денег, материалов, базовое хозяйство слабое. Да и специалисты у нас похуже, чем на городских стройках, а то б мы развернулись на селе!

Рафаил ударил кулаком по коленке и глубоко вздохнул.

— Не могу спокойно говорить о своей работе. Хочется мне, чтоб на селе жили не хуже, чем в городе. Надо много строить, прокладывать отличные дороги, связь налаживать, и тогда человек не будет чувствовать себя одиноким в самом глухом районе или поселке. Он будет знать, что может дома поднять трубку и его соединят с близким человеком за тыщи верст, может, если захочет, за несколько часов попасть в крупный город. Это будет согревать его, будет ему гарантией его личного права распоряжаться самим собой, в конце концов... Ну чего ты постоянно переживаешь, нервничаешь, говорят мне товарищи по работе, даже в проекты сельских объектов влазишь. Строй, что дают. Зачем пишешь в центральные газеты, что тебе не нравятся большие дома, надо, мол, предусмотреть приусадебные участки, чуть ли не индивидуальные сараи. Зачем тебе это, Рафаил, надо? Тебе, городскому человеку? Ну как я, сестра, объясню им, что во мне городского только сверху, а внутри я тот, который видел и хорошо помнит послевоенную разруху, наши бедные аулы. Я не хочу, чтоб занимались строительством на селе холодные, равнодушные люди. Им все равно, кто будет жить и пользоваться делом их рук. Они-то сами живут в городе!

Сестра, укрытая ватным одеялом, слабо улыбаясь, глядела на Рафаила.

— Переживаешь? — спросила она. — А говорил, будто работа у тебя хорошая.

— Если б работа была мне не по душе, я б на копейку не переживал, — сказал Рафаил. — Но как бы хорошо ни шло дело сегодня, хочется, чтоб завтра оно выросло на голову.

— Ты б, Рафаил, проведаль племянника. Ждет он.

* * *

Харрас встретил на улице.

— Проходите, Рафаил-абый, проходите, — кричал он широко распахивая ворота.

— Я б и в калитке не застрял, — удивился Рафаил, проходя в ворота.

— Не могу уважаемого гостя пропускать через калитку, — возразил Харрас и, взбежав на крыльцо, рванул перед Рафаилом дверь.

— Что ты мне боярские почести устраиваешь? — возмутился Рафаил, глядя на расторопного, веселого племянника.

В доме ждала нарядно одетая жена Харраса. Рафаил быстро оглядел молодую невестку. Она была хорошо сложена. Узкая юбка туго облежала ее длинные бедра. Концом пуховой шали невестка как бы стыдливо скрывала полную грудь.

«Красавица!» — одобрил про себя невестку Рафаил и, здороваясь за руку, посмотрел ей в глаза.

— Зубаржат, — представилась она, кольнув гостя взглядом умных, внимательных глаз. — Проходите, Рафаил Каримович, будьте нашим дорогим гостем.

По тому, как невестка назвала его по имени-отчеству, Рафаил понял, что Зубаржат из городских.

Он уселся на мягкий стул и оглядел дом. Хорошо жил Харрас. Мебели мало, но подобрана она была и расставлена со вкусом. На полу лежал роскошный палас. Вдоль стен тянулись крашенные трубы отопления, в чистенькой кухне стоял газонагреватель и не было обычной для аулов громадной печи с вмазанным в нее чугунным казаном, где нагревалась вода для хозяйских нужд. В детской, за шифоньером, спала в коляске девочка.

«В прошлый мой приезд Харрас жил с матерью, — подумал Рафаил, глядя на полугодовалого ребенка. — Он успел построить дом и обзавестись семьей. Как я долго не был у сестры».

Невестка вынесла из кухни миску с дымящимся мясом, тарелки, ложки, достала каравай хлеба и стала резать. Нож был тупой, и плотный хлеб поддавался туго.

«У нас в городе хлеб режут мужчины», — хотел подсказать Рафаил, но, боясь обидеть племянника, промолчал. Вместо этого он отобрал нож и каравай у невестки и стал резать сам. Молодая женщина улыбнулась.

— Фельдшером Зубаржат работает, — сообщил Харрас, открывая бутылку с водкой. — Как приехала к нам два года назад, так никто из парней не смел подступить. Один я не растерялся. И за что ты меня полюбила?

— Не полюбила я тебя вовсе, — сказала Зубаржат со скукой и оглядела стол.

— Что же замуж выходила?

— По молодости, по дурости моей, — отвечала Зубаржат без улыбки.

Харрас засмеялся и тоже оглядел стол.

— Как же, рассказывай. — Он повернулся к дяде: — Я своей Зубаржат никакой тяжелой работы не даю. Газ провел в дом, нагреватель поставил. Никаких дров! А ведь их таскать из сарая приходилось раньше, грязь была, сырость. Вот еще хочу ванну поставить, чтоб в любой день можно было б искупаться. Здорово, а? Корову перестал держать, молоко в колхозе покупаю. Оставили для приличия кур, немного гусей, две овечки. И то сам ухаживаю за ними.

— В достатке живете, — похвалил Рафаил. — Мой брат Иргали мог только мечтать о такой жизни.

— Спасибо, дядя, на добром слове, — обрадовался Харрас. — Я уж в глаза Зубаржат каждую минуту заглядываю — как бы еще угодить...

— Мне угождать не надо, — сказала Зубаржат, кутаясь в шаль. — Я жить хочу.

— Кто тебе мешает жить? — нахмурился Харрас и обратился к дяде: — Бывают у нас маленькие ссоры. Молодая, образованная — все хочется ей чего-то такого интересного. А чего душа у нее просит — сама не понимает. Ну да ладно. Что-то вы, Рафаил-абый, не пьете, не кушаете.

Харрас отставил рюмку и оглядел комнату. Зубаржат готовила чай на кухне.

— Чего ей надо, не пойму, — тихо сказал Харрас. — Вот вы, городской человек, подскажите, чего ей надо?

Он посмотрел на дядю, но тот молча прожевывал мясо.

— Я работаю механизатором, зарабатываю, как в горо-

де, но имею на эти деньги больше, чем любой из ваших рабочих. Продукты у меня или свои, или в колхозе покупаю по себестоимости, по дешевке то есть. Денег у нас остается и на хорошую одежду, вещи, и на книжку ложим. Захочу, года через два куплю автомашину. Ну, чего ей надо?

— Может, ей не нравится так жить? — осторожно спросил Рафаил. — Вот как ты думаешь, любой городской рабочий, который живет хуже тебя, поменяется с тобой местом?

— Не поменяется.

— Почему?

— Не знаю, — сказал Харрас. — Хотя, зачем он сюда поедет? Ведь тут нужно пахать, тут, брат, надо сеять. Горб надо рвать, Рафаил-абый. Он, твой городской рабочий, изнеженный человек, перерабатывать не желает. Да он у себя там, в городе, за одни харчи будет трудиться, но сюда, на мое место, не поедет.

— Пахарь нашелся! — Рафаил изумленно стукнул по столу вилкой. — Ты чем плуг таскаешь?

— Трактором, конечно.

— Горб на мягком, кожаном кресле тешишь? Твой трактор долго делать надо. Мы там, в городе, за станочком восемь часов стоим. И продукты не задарма получаем, а за кровную зарплату. Ты тут обленился, уже и корову держать не хочешь. Сегодня какой день?

— Четверг, — Харрас растерялся.

— Почему ты не на работе?

— Дык... какая сейчас работа? Корма я на той неделе еще привез. Пахать пока не требуется...

— Но зарплата-то идет? И немалая, говоришь. Так ты до весны и будешь прохлаждаться? Летом, конечно, поработаешь, там сам бог велел. Осенью жарко станет — городских позовем, побросают они свои станки и понаедут. Так? Жрать-то они умеют, вот пусть и поработают.

— Что ты хочешь сказать? — обозлился Харрас.

— А то хочу сказать, дорогой племянш, что живешь ты в долг. Не твоя это вина, но и не твоя заслуга. Потому ты и жить должен скромно, с понятием, а не бить себя в грудь и кричать, что ты пашешь за себя и за дядю.

— Я вовсе не хотел обидеть тебя.

— Да про дядю к слову пришлось.

Харрас долго молчал. Рафаил поднялся, снял пиджак и снова сел к столу.

— Рафаил-абый, сейчас ты городского человека высоко

поднял. Уж не я его, а он меня будто бы кормит. Но зачем он не едет ко мне? Я, к примеру, со своей Зубаржат хоть сегодня въехал бы в его трехкомнатную квартиру. Но ты сам говоришь, не поедет он на мое место.

— Скоро, может, и поедет, — Рафаил мрачно смотрел перед собой.

— Почему тогда мне позволяют жить в долг?

— Жизнь так сложилась. Почему твой отец Иргали пахал на колхозных быках, рвал пуп, но не имел и десятой доли того, чего имеешь ты? Кстати, даже я, вдвое старше тебя, не имею цветной телевизор. Как потребитель, ты обогнал и брата твоего отца.

Ты не прочь поехать в город, но Иргали и слышать об этом не хотел. Он много работал, чтобы другим жилось лучше. Видимо, ты возвращаешь то, что он недополучил в свое время.

— Значит, я неправильно живу, мне надо стыдиться своего достатка? — глядя в стол, спросил Харрас.

— Громко кричать не надо, бить себя в грудь, — ответил Рафаил. — Я вот так разумею твою жизнь: чтоб приехал я к тебе в будний день, а ты в это время не дома слонялся да бражничал от безделья, а на ферме сидел и думал, чтоб наши коровенки больше давали молока, быстрее прибавляли. И вот когда ты завалишь городские магазины своими деревенскими товарами, тогда можешь кричать в полный голос: я — пахарь! А пока, Харрас, надо много работать и больше молчать. Ты будешь жить еще богаче, но зачем тебе это? У тебя одно горло, и у жены твоей две ноги — две пары самых наимоднейших сапожек никак враз не надеются. Мы тебе, дорогой племянш, в награду за твой труд лучших своих музыкантов, актеров, профессоров пришлем. Твои дети ни в чем не уступят моим. Тогда и ты заживешь по-настоящему богато!

— Голова пухнет от таких разговоров! — взмолился Харрас и сел на прохладный пол. — Много смуты внес ты в меня, дядя!

— Где наша хозяйюшка? — вспомнил Рафаил и только тут заметил, как из кухни смотрит на них Зубаржат. Она со странной улыбкой слушала их горячий спор, слушала, видимо, давно, щеки ее покраснелись. Она глядела на мужа, что сидел на полу с закрытыми глазами, и та же странная улыбка кривила ее губы.

— Ай! — спохватилась Зубаржат, поймав на себе взгляд Рафаила, и юркнула в кухню.

Вскоре она вынесла на подносе самовар.

— Только для гостей ставим, — улыбнулась Зубаржат Рафаилу и призналась просто: — Возни с ним много.

Харрас медленно поднялся и достал из серванта два граненых стакана.

— Давай по-крестьянски? — попросил он. — Все равно не веришь ты в нашу городскую культуру. Колхозниками мы были, Рафаил-абый, колхозниками и останемся. Какие из нас интеллигенты! Но ты, дядя, не расстраивайся, хлеб давать будем.

— Вот и хорошо, — сказал, грустно оглядывая молодого племянника, Рафаил. — Нам друг без друга никак не прожить. От стаканов, правда, я давно отвык.

— От стакана тебе, дядя, никуда не деться, — засмеялся Харрас и торжественно поднялся.

Он посмотрел в заснеженное окно, глубоко вздохнул и запел высоким, чистым голосом. Рафаил весь напрягся. Племянник запел старинную, народом сложенную песню «Порт-Артур». Знал ли он, что эту песню пел его отец? Рафаил ощутил холод нетопленного дома, увидел трех малолетних братьев на хике¹, стерегущих тепло под жалкой одеждой. Где-то сугробами пробирается сестра с фермы, прижимает руками оттопыренные карманы телогрейки. В особенно трудные дни старший брат запевал эту песню, сложенную дедами, что замерзали в тонких солдатских шинелях под Мукденом или голодали в далеком, чужом Порт-Артуре. И позже, когда подрос, пел эту песню брат. Жизнь становилась на ноги, видны были просветы в аульской жизни, но Иргали не расставался со старой солдатской песней. «Почему человеку не дадены два сердца, а, брат?» — слышалось Рафаилу много позже, когда он ловил эту песню по радио.

Рафаил опустил голову, чтоб спрятать глаза.

К высокому, чистому голосу Харраса присоединился другой: нежный и тоскующий Зубаржат. Молодая женщина смотрела на Рафаила и пела, наклонив головку к плечу мужа.

— Это не моя песня, — сказал Харрас. — Ее, говорят, любил петь мой отец.

— Песня хозяев — самый большой подарок гостю, — сказал Рафаил и поднял стакан. — Если б ты знал, как удружил мне сейчас...

¹ Х и к е — нары (башк.)

— Спасибо, — расцвел Харрас и, широко улыбаясь, повернулся к жене. — Ты давно не пела в нашем доме, Зубаржат. Соловейчик ты мой...

— Я не пою с тех пор, как ты запретил мне ходить в клуб на самодеятельность.

— Туда ходят холостые ребята, — упавшим голосом ответил Харрас. — Я не хочу, чтоб они глазели на тебя. Пусть они заглядываются на девушек. Я... я не хочу потерять тебя!

— Потерять можно и в своем доме.

Харрас быстро взглянул на жену.

— Ты отобрал у меня самую большую радость в жизни — песню, — упрямо продолжала Зубаржат. — Я тебя и полюбила-то за песню. Я...

Зубаржат зажала лицо ладонями и выбежала в спальню.

Харрас пошел было за женой, но опомнился и виновато посмотрел на дядю.

— Ничего, ничего, — поспешно сказал Рафаил. — Не простая это штука — жизнь. Ну что ж, спасибо вам за все, мне пора домой. Заждалась, наверно, сестричка.

— И я люблю песню, — сказал дяде Харрас. — Но ради семьи бросил клуб, оторвал от сердца. Почему она не может?

— Зачем отрывать от сердца? — с улыбкой возразил Рафаил. — Остаются неизлечимые шрамы. Не жена твоя сейчас плачет, душа ее слезами исходит.

Он надел шапку и пальто. В коляске заплакала малышка. Рафаил наклонился и бережно поднял ребенка на руки.

— Какой невоспитанный бабай, — заворковал он, целуя малышку в щеки. — Хотел уйти, не повидав нового человека.

Рафаил бережно передал ребенка отцу и громко сказал с порога:

— До свидания.

— Рафаил Карамович, извините, пожалуйста, не могу выйти, я вся зареванная, — плачущим голосом попросила Зубаржат.

— Будьте счастливы, Зубаржат, — сказал он. — Будьте счастливы все трое.

Рафаил вышел через калитку на улицу. Мимо пронеслись сани, запряженные тройкой коней, за ними еще и еще. В гривах коней бились на ветру красные, синие, зеленые

ленты, тонко звенели колокольчики. В санях сидели молодые и пели песни, веселые, современные. На повороте из последних саней вывалился гармонист. Весь белый от снега, он вскочил на ноги, нахлобучил шапку и, подхватив гармонь обеими руками, умчался вслед свадебному поезду.

Сестра мечтает дожить до весны. Удастся ли ей это? Как много он бы дал, чтоб сестра увидела еще раз майское небо, теплое солнце, зеленые листочки на березах во дворе, свежую травку у окон. Как этого мало человеку в повседневной жизни, и как это недостижимо много для тяжелобольного человека. Чем он может помочь сестричке, приносившей с фермы в карманах ватника круг мороженого молока или корочку хлеба, что не доедали ее подруги и отдавали ему, Рафаилу. Взять бы отпуск и приехать, утешить сестру в ее последние дни. Но Индира уже планирует съездить на море, укрепить детей, они много трудятся и заслужили право отдохнуть вместе с родителями. Индире трудно понять все это. Сестра сидела с ними дома, а по улице ходили с гармошкой парни и грустными голосами пели про быстро отмирающую молодость. К ним выходили другие девушки. Другие девушки провожали их в армию, встречали и покидали аул парами, чтобы строить в городах нефтехимические гиганты. Так сестричка и не свила себе гнездышко. Вроде той птицы, что смело отражает от детенышей хищную лисицу и кое-как, с перекушенным крылом, выпускает их в небо, а сама остается коротать остаток солнечных дней внизу. Но кто дал право, кто внушил ей защитить трех братьев от невзгод? Ее ноша не каждой матери под силу...

Рафаил шел по пушистому снегу, раскиданному промчавшимися тройками, и смутно понимал, что отпуск он не возьмет до лета. Завтра он договорится с какой-нибудь старухой, и та за приличную плату будет ухаживать за сестричкой. Скоро он встретится с братом-полковником на печальной тризне, посидят они после всех одни в пустой, холодной избе и содрогнутся от враз нахлынувших воспоминаний послевоенного детства, торопливо зальют горе чем попадая и разъедутся в разные концы света с ноющим чувством вины перед женщиной, которая останется в их памяти навечно девчонкой в ватнике с оттопыренными карманами, спешащей к ним через холодные сугробы.

МИР ВАШЕМУ ДОМУ

Он затопил баню, попятился, перевалившись через порог, и отбежал в сторону, чтоб полюбоваться на густой, синий дым из трубы. Банька была срублена им самим зимой из сосновых и липовых бревнышек, разогретая, она хорошо пахла, в ней легко дышалось. Задней стеной банька лепилась к лесу.

За деревьями, на зеленой лужайке, играли его дети. Девочки катались в густой траве, поминутно теряли друг дружку и кричали в веселом ужасе. Дети любили лужайку, они могли играть в лесу весь день. Только голод и жажда загоняли их в дом.

В вечернем воздухе растекался тонкий аромат от дыма неспешно горевших в печке лесных дров. Мужчина долго любовался низенькой банькой, напомнившей ему упрямый речной буксир на быстрой реке. Крики детей отвлекли его. Он повернулся лицом к лесу, но заспорившие было девочки громко рассмеялись, и мужчина, расслабившись, неторопливо прошел короткой улочкой за ворота коллективного сада, сел на бугорок.

Со стороны железной дороги, невидимой отсюда из-за леса, коротко крикнула и пошла, все быстрее стуча колесами, электричка. Через десяток минут между деревьями показались первые дачники.

Мужчина нетерпеливо высматривал ее в длинной веренице убегающих из города, уставших от него за напряженную неделю горожан. Она почти бежала к нему, увешанная сетками, сумочками и пакетами, натрудившаяся на своем душном, шумном заводе, напитанная сухим июльским зноем, наскучавшая по детям и мужу.

Сетки, сумочки и пакеты полетели в траву, она приникла к нему молодым горячим телом. В эти минуты он испытывал старое чувство, к которому привык в те дни и недели их первой близости: ему казалось, что мир, окружающий их, вместе со своим извечным ходом, шумами и многообразными голосами, расступался, оставляя их одних и уходил вперед. Было сладко и немного страшно оставаться одним на необитаемом островке, покинутым не только живыми, но и самим временем.

— Роман! — прошептала она, пугаясь вместе с ним, и

он неохотно оттолкнулся от ее плеч и шеи, и снова затикали, задвигались часы, и солнце покатило за реку.

Они пришли к домику, сели на высокое крыльцо и стали смотреть на синий дым из банной трубы. Она рассказывала городские новости, но взгляд ее блуждал, беспокойно высматривал детей. Он уловил перемену в настроении жены, поник головой. Ему хотелось побыть с ней. Но дети, забросив игры, уже продирались через густую траву, выглядывали из-за бани, кричали возбужденно: «Мама приехала!» и бежали к крыльцу, огибая грядки.

Он ревновал жену к детям, они забирали ее внимание, доброту и ласку, предназначавшиеся ему. Если детей не было рядом, она становилась беспокойной, думала и переживала за них. С рождением первого ребенка беспокойство навсегда поселилось в ней.

Дети, помыв руки, уселись за стол в ожидании городских гостинцев. Он ушел в баню, сгреб в кучу угли в печке, чтоб они скорее прогорели, залил березовые веники горячей водой и лег на полку в предбаннике. Хорошо пахло увядшей листвой развешанных над головой веников, из бани через приоткрытую дверь шел горячий смоляной дух. Вдали вскрикнула электричка, выбрасывая из своего тесного железного чрева новую партию дачников, в наступившей тишине закуковала кукушка.

«Двадцать один, — сосчитал он и подумал: — Хорошо бы прожить столько лет...» Закуковала вторая кукушка, совсем близко от бани, и он, примолкший, насторожившийся, вздохнул: «Десять... Добавляет или... поправляет она свою подружку? Пусть даже десять... И то хорошо». Вспомнил о детях и решительно мотнул головой: «Маленькие же! Через десять лет младшей будет всего-навсего четырнадцать. Нет, не пойдет. Поверю первой кукушке».

От крыльца в легком халатике бежала жена, и мир снова расступался, уходил вперед и стыдливо отворачивался. Часы остановились...

В воскресенье вечером он с детьми проводил жену в город. Она стояла на высоком перроне, а они снизу, от реки, махали руками. Подошла электричка, она вошла в вагон, короткий, прощальный гудок, и поезд увез ее в большой, тесный город. Он взял за руки замолчавших, опечаленных девочек, и они втроем побрели вдоль реки к своей даче.

Ночью он лежал в маленькой комнате, наверху, и слушал, как за окном ворочается с боку на бок и не может заснуть невидимый ночной мир. Он думал о жене, что навер-

няка не смыкает глаз в пустой городской квартире, думает и думает о детях, о нем, сочиняет разные страхи и переживает, и сердце ее, большое и доброе, болезненно сжимается, неровными толчками гонит кровь.

Провожая на станцию, он шел сбоку и чуть позади жены, чтобы не мешать семенящим за мамой детям. Он задержался взглядом на ее черной, склоненной набок голове и вздрогнул, разглядев в волосах седую прядку. Ему стало больно, но он ничего не сказал жене. Пусть ей скажут об этом на работе.

Из-за крыши соседней дачи вылезла луна, ее белый, мертвенный лик осветил комнату, залил ее ярким, неживым светом. На соседней койке беспокойно заворочались дети, и он задал себе в тысячу первый раз недоуменный вопрос: отчего дети так близки к природе и живо воспринимают ее в любом проявлении? Отчего лунный свет обеспокоил, насторожил их детское сознание, не отягощенное ни опытом, ни знаниями. Он попытался мысленно погрузить себя, хоть на минуту, в страшный, далекий век, когда человеку в его тусклой жизни помогал один камень, а удержаться, сохранить себя среди грозных зверей, один на один с незнакомой, малопонятной природой помогали слабые проблески ума. Ему почти удалось переместить себя в тот каменный век, ему чуть не воочию показалось, что дети его свернулись клубком в узкой, холодной пещере, прижались к матери, а снаружи, совсем близко, бродят голодные, свирепые звери. Вот бы еще одна темная ночь прошла, но вдруг выползает луна, ее предательский свет освещает убогое прибежище человека, и рык голодных зверей уже возле входа...

Он встал, прошелся по комнате, сбрасывая с себя, словно паутину, наваждение, накрыл одеялом спящих детей и снова лег. Он вспомнил два счастливых дня, проведенные на даче с семьей, вспомнил свою любимую работу в городе, вспомнил слова жены, сказанные ею вчера, вот в этой самой комнате: «У нас хорошие дети? Правда, Роман?», он вспомнил все это, и ему стало по-настоящему хорошо. Дети сегодня уснули радостные: папа пообещал их завтра сводить в лес, за болото, и показать им домик на курьих ножках, где живет зловредная старушка, что обижает маленьких детей. Папа сильный и смелый, он обязательно поговорит с горбоносой хозяйкой, и она перестанет уносить к себе хороших, послушных малышей. Но непослушных тоже жалко, вот как быть с ними... За таким разговором уснули де

ти, и он с удовольствием представил шумное, суетливое утро, бестолковый завтрак, возбужденных девочек, требующих, чтоб их сейчас же вели в этот сказочный лес, что растет прямо к небу сразу за гнилым болотом. Там, на большой поляне, стоит на сваях хижина, в ней останавливаются на ночь косцы. Дети любят эту зеленую поляну, наигравшись на ней до одури, они садятся возле хижины и хорошо едят.

— Паук! — вдруг закричала во сне младшая дочь, забила ногами, затрепыхалась под одеялом.

Он подбежал к детской кровати, погладил дочку, похлопал по спинке. Она затихла, будто к чему-то прислушиваясь, и он отошел было от нее, прилег и закрыл глаза. Но детский крик: «Паук! Папа, гляди, какой паук!» снова поднял его. Он взял дочку на руки, прижал к себе, но девочка беспокойно озиралась, отталкивала от себя нечто страшное, липкое. Он посадил ее на свою кровать, ласково зашептал на ухо, но девочка широко раскрытыми глазами глядела на лунный свет в окне, пугалась и шептала: «Вот он, ползет...» Тогда он сделал движение рукой, будто схватил кого-то, и махнул в сторону раскрытого окна.

— Я убил паука и выбросил на улицу, — зашептал он дочке. — Не бойся: паука больше нет.

Дочка успокоилась, но глаз не закрывала, и он положил ее рядом с собой, прикрыл одеялом.

Сна не было, и он понял, что уснет не скоро. Непонятная тревога вкралась в него, душила, мешала жить. В ночном небе низко над землей пролетали самолеты. Они поднимались с аэропорта, набирали высоту и ложились курсом на Казань и Москву. Гул турбин их ранил душу. Он пытался убедить себя, понять разумом, что пролетают над его семейным гнездом безобидные пассажирские самолеты, но как трудно убедить в этом живое сердце, когда в мире есть ракеты и атомные бомбы...

Утром он повел детей в лес, за гнилое болото, показал им убогую хижину на сваях, пристанище для грибников, косцов и одиноких путников.

Но хижина была занята. В ней сидела носатая бабуля и готовила обед для мужа, что обкашивал траву на лесных полянках.

Дети с изумлением и страхом глядели на бодрую старушку, которая, разглядев малышей, принялась зазывать их к себе. Только пример папы заставил их переступить порог и сесть за стол. Через полчаса девочки осмелели и с



большим удовольствием попили чаю со свежим медом и блинами.

На обратном пути обескураженному папе пришлось сочинять новую историю о том, как зловредная старуха исправляется и больше не обижает хороших детей.

Вечером их дачное одиночество нарушилось — приехал сосед, рабочий с нефтеперерабатывающего завода.

— Мир вашему дому! — кричал он, продираясь сквозь колючую малину.

В руках сосед держал маленький полосатый арбуз.

— Встретил вашу жену на рынке, просила передать. Только-только завезли в город первую партию...

Дети, раскрыв рты, смотрели на арбуз, глаза их не верили новому счастью.

Уже в сумерках мужчины сидели на веранде и пили темно-красный горячий чай. Баязит Кадырович, просветлев лицом, сидел рядом с чайником, неспешно пил и рассуждал:

— Вчера я отстоял последнюю вахту. В цехе жара, духота нестерпимая! Газированную воду пьем ведрами — не помогает! Утром махнул на все рукой и покатил в сад. Старуха обещается приехать завтра — вечно у нее дела в городе. А я не усидел. Вышел с электрички, огляделся на лес, реку, птиц послушал. На лугу повалился в траву и стал в небо глядеть. Для чего люди придумывали рай? Он же здесь, на земле!

Роман слушал соседа, подливал ему чаю и смотрел, как идет на убыль, кончается длинный летний день, и удивлялся, что и на исходе своем не устает он давать тепло и свет.

— Кто бы знал, как мне хорошо сейчас! — тихо воскликнул Баязит Кадырович. — Этот мир будто для меня создан. Нет в нем ничего, что не нравилось бы мне. Я готов поручиться — он сделан по моему заказу. Мне не надо другой земли, другого неба, других птиц. Я удивляюсь людям, которые говорят: «Сегодня на улице плохо» или «наш город стоит на некрасивом месте». Они не любят жизнь, может, еще хуже, не понимают ее. Если на улице дождь, слякоть, задул ветер, не вини природу, а надень плащ, сапоги, возьми с собой зонт, и тебе снова будет хорошо. Я сегодня поливал цветы, яблони, вишни и думал, отчего родители мои не посоветовали мне стать садовником, лесником или землеустроителем? Я бы ухаживал за землей, собирал плоды

ее и считал бы себя самым полезным человеком среди людей.

Баязит Кадырович откинулся на диване, прислушался к гомону детей в комнате и вспомнил:

— Мы с женой часто думаем, отчего вы, молодые, в отпуске врозь ходите?

— Мы хотим, чтобы наши дети больше проводили времени за городом.

— Вы молоды, сильны, вам самим еще жить да жить, а вы отдаете свое время детям, — Баязит Кадырович одобрительно глядел на соседа. — Это красиво. Человек, думающий о детях, необходим земле, ибо он глядит в будущее. Такому человеку можно доверить все. А вот наши дети далеко. Старший сын окончил военное училище, служит на южной границе. Младший после техникума уехал на Дальний Восток.

Баязит Кадырович опустил голову. Возбуждение его угасло.

— Я часто думаю о своих сыновьях. Случись что-нибудь — они первыми примут беду. Зачем и кому я, живой и невредимый, — если с моими детьми стрясется беда?

Он поднял глаза на Романа.

— Я каждый день читаю газеты. Люди где-нибудь да воюют, воюют не переставая. Разве приятно, Роман Акимович, жить в доме, вокруг которого полыхают пожары? В газетах пишут, что надо отстоять мир. А чего нас агитировать, мы и так за мир. Но вот как сделать, чтоб не было войны, чтоб мы со старухой не дрожали за сыновей? Что я могу сделать лично вот этими руками? Вот бы о чем писать...

Роман не ответил. За окном угасал еще один день, приближалась ночь, но было приятно знать, что наутро встанет горячее солнце.

— Мы со старухой хорошо получаем, — откашлявшись, заговорил вновь Баязит Кадырович. — Наши дети отказываются от помощи. На черный день мы скопили пять тысяч. Но если настанет этот черный день, кому будут нужны, кому помогут наши деньги? Я давно думаю, куда бы отдать сбережения, чтоб не было ее, проклятой...

Они выпили еще по чашке чаю, помолчали. Сосед встал и пошел к себе. Он долго, на ощупь, продирался в малине, закашлялся и уже по ту сторону горячо заговорил:

— Ведь хорошо на земле можно жить, Роман! Места и солнца хватает на всех, что еще людям надо? Если б знать,

что никто не отнимет жизнь у моих детей, а им не придется убивать чужих сынов! Какая красивая была бы жизнь! А, Роман?

Сосед ушел к своему домику. Из-за реки взошла луна, и Роман, поднявшись на высокое крыльцо, долго сидел и слушал, как самозабвенно играют в комнате дети. Не было сил подняться, пойти к ним и прекратить их веселую возню...

ДА БУДЕТ ДЕНЬ

ПОВЕСТЬ

Олег Измайлович Кузьмичев, начальник цеха металлоконструкций, любил подписывать казенные бумаги длинно и сложно: директор филиала завода крупнотоннажных конструкций О. И. Кузьмичев. При этом он кивал на город, где находился головной завод во главе с настоящим директором, который в свою очередь добивался, чтобы его предприятие именовали объединением, а его самого генеральным директором.

Олег Измайлович внимательно оглядел молодого человека, стоявшего на пороге. Его не так удивило умное, какое-то печальное лицо посетителя, как костюм, безукоризненно на нем сидевший. Нынче все носят хорошие костюмы, начиная со слесаря и кончая министром. Но, к сожалению, вздыхал про себя Кузьмичев, безукоризненно сидят костюмы только на очень немногих. К этим немногим он причислял и себя, потому как заказывал костюмы у портного, обслуживавшего в городе артистов оперного театра.

Кузьмичев еще раз незаметно и ревниво оглядел незнакомца и принял от него трудовую книжку. Полистав ее, ахнул и сразу перешел на «вы»:

— Да кем это я вас возьму? У вас генеральский, прямо скажу, чин! Хоть вас и крепко вдарили тут статьей, но вы ведь не сразу стали главным инженером крупного комбината. У вас солидный опыт, знания, где я найду вам подходящее место на моем заводе?

— Я прошусь слесарем, — снова подсказал Равиль.

— Слесарем! — Кузьмичев спохватился и жестом показал Равилю на кресло. — Вас государство разве в слесаря готовило? Пятнадцать лет вы штаны протирали для этого?

Кузьмичев почесал огромный покатый лоб, который, казалось, начинался с затылка.

— Такого случая в моей практике не было, — признался он. — Как-то просился бывший управляющий банком, но и то не слесарем, а нормировщиком или бухгалтером.

— Вы же видите по трудовой, что я не справился с ответственной работой, — Равиль снисходительно глядел на сидящего перед ним пожилого начальника цеха и полуна-

смешливо слушал его испуганную речь. Он понял, что сумеет уговорить этого человека.

Кузьмичев остановился взглядом на дорогах запонках, блеснувших на рукаве этого неизвестно откуда свалившегося на его голову инженера, и неуверенно предложил:

— У меня есть место мастера. Может, на первых порах...

— Нет, — твердо отрезал Равиль. — Только слесарем.

— Обожглись крепко? — сочувственно спросил Кузьмичев и приготовился слушать.

— Долго рассказывать, — помрачнел Равиль. — Так берете?

— Беру, беру, — вдруг согласился Кузьмичев. — Но, Равиль... — Кузьмичев украдкой глянул в трудовую, — ...Равиль Салимгареевич, предварительно мне необходимо переговорить по телефону с генеральным директором.

— Приемом слесарей занимается генеральный директор лично? — усмехнулся Равиль.

— Если б слесарей... — Кузьмичев прижал ладонь ко лбу. — История, товарищ... Что мне с вами делать, куда поставить?

Он отнял ладонь, подался вперед и, глядя в упор на Равиля, простодушно спросил:

— А не погонят Кузьмичева, дорогой товарищ, с директоров, а? Образование-то у меня, по нынешним временам, кот наплакал. Вас директором поставят, а меня... слесарем. А? Мне ведь пять лет до пенсии осталось, хотелось бы по-людски доработать.

— На руководящую работу я никогда не пойду, зарок себе дал, — серьезно пообещал Равиль. — Когда мне выходить на работу.

— Хоть завтра, — уже веселее ответил Кузьмичев и признался: — Не хватает у меня народу! Поверишь, мастера сами отгружают готовую продукцию. Не идут сейчас люди на маленькие заводы. Детсада нет, пионерского лагеря нет, того нет, другого нет. Что поделаешь?

* * *

Цех представлял из себя несколько длинных помещений, собранных из легких металлических конструкций. Его в несколько дней можно было разобрать, погрузить на грузовики и увезти вслед за монтажным управлением, которое занималось обустройством газовых и нефтяных промыслов.

Трубы стыковали в плети прямо во дворе цеха, сваривали и тащили трубоукладчиком в соседний корпус. Плеть укладывалась на ролики, по которым медленно подавалась на изоляцию к ваннам. Жидкий битум щедро лился на стенки труб, и на черную, матово отсвечивающую плеть машина проворно накручивала бризол¹.

Равиль из любопытства обошел все корпуса, машинально отмечая про себя грязь и беспорядок в помещениях. Люди работали скученно, мешались и оттого кричали друг на друга, иногда так зло и раздраженно, что Равиль в испуге оглядывался, но женщин в цехе не было видно.

Во дворе рабочие ломami крошили битум для заправки битумоварочных котлов, мелочь никто не собирал, и она навечно уходила в землю под гусеницы трубоукладчиков. На комбинате, где работал Равиль, скупой расходовали сырье, дорожили каждым его килограммом, и эта расхлябанность удивила его. Но он, еще когда уезжал с комбината, дал себе слово не взваливать на себя ответственность за людей и дело, а только работать своими руками и отвечать за себя и свою личную продукцию, и поэтому сдерживал себя. Он разыскал кладовщицу, и та выдала ему куртку, брюки, грубые ботинки и пару жестких брезентовых рукавиц. Спецовка выглядела добротной, но сшита была на богатыря. Равиль крепко связал ее бечевкой и понес домой.

* * *

Бригадир Фатых Шадреев сильно прихрамывал. Уже потом Равиль узнал, что Фатых в молодости увлекался мотогонками на льду. Три раза падал, но легко. На каких-то крупных соревнованиях упал в четвертый раз, чуть не расшибся. Прележав в больнице около года, Фатых выписался домой с костылем.

Бригадир был крайне недоверчив. Если ему сообщали интересную новость, он долго смотрел на собеседника, будто прошупывал его взглядом, губы начинали подергиваться в ехидной усмешке. Фатых медленно спрашивал: «Откуда ты узнал?» Выслушав ответ, он еще больше кривил губы, окончательно проникаясь недоверием к собеседнику, и снова спрашивал: «А тот человек откуда знает? Ему кто сказал?» Даже если Фатыху совали в руки местную газету и говорили: «Читай, Фома неверующий! Вот кто сказал!»,

¹ Бризол — изоляционный материал.

он читал и настойчиво отстранял собеседника вместе с газетой. «Им кто сказал? — спрашивал он. — Тут не сказано. Вот если б в центральной газете написали...» Газетам из центра он верил беспрекословно. «Там знают все!» — говорил он твердо и этим ставил точку в разговоре.

Единственным человеком, которому Фатых хоть как-то доверял, был его старый товарищ Игорь Пантюхин. Тот ни разу и ни в чем не обманул бригадира, и Фатых однажды сказал о своем заместителе: «Пантюха много знает, зачем ему обманывать?» Пантюхин два раза точно предсказал, что у Фатыха будут сыновья, и уже этим завоевал большое расположение бригадира. Но Фатых мечтал о дочке, и он советовался с Пантюхой, но тот удерживал своего товарища, советуя дожидаться високосного года, который бы оканчивался нулем. «В тот год родится много девочек», — говорил он Фатыху, и тот, поверив, терпеливо стал дожидаться заветного года.

Бригадир настороженно отнесся к новичку. Ему, например, не понравилось, что Равиль отнес спецовку домой и заузил брюки. Почему это Фатых с Пантюхой ходят в широких брезентовках, запинаятся, а новичок бегает в узких брюках? И почему этот парень, слесарь третьего разряда, носит в кармашке складной метр? Что он собирается замерять? Если надо будет, бригадир сам точнее отмерит. И потом, новичок принес свой стакан. Не хочет пить воду из общей посуды?

Так много вопросов нагромоздилось в голове Фатыха при первом знакомстве с новичком. Пантюха же внимательно оглядел Равиля и сказал: «Парень, на мой взгляд, с секретом. Давай поглядим, какой он в работе». И Фатых поставил новичка на самый тяжелый участок в бригаде.

Равиль должен был в паре с другим слесарем откатывать готовую плетть в сторону, цеплять ее тросом за крюк трубоукладчика и сопровождать на изоляционную линию.

Трубоукладчик, всхрапывая мощным двигателем, дергался с места, длинную плетть мотало, било о подъемную стрелу. Равиль, вцепившись в конец, мотался вместе с плетью, пытался удержать ее, налегая телом и отчаянно притормаживая ногами.

Напарник, низенький, сонный увалень из ближнего аула, мотался на другом конце, нимало не пытаясь хоть как-то унять своевольную плетть.

— Ты бы хоть ногами тормозил, — попросил Равиль в первый же перекур увальня, которого звали Рустамом.

— Не могу, земляк.

— Что так?

— Сапоги быстро снашиваются, — ответил Рустам и серьезно посмотрел на Равиля.

Тот с любопытством уставился на круглое, безмятежное лицо напарника.

— Ты чем раньше занимался? — спросил Равиль.

— Правду ребята говорят, будто ты раньше в начальниках ходил? — вместо ответа поинтересовался Рустам. Дождавшись утвердительного кивка, он вздохнул: — Я сам тоже из начальства.

— Ну-ну! — поощрил Равиль задумавшегося напарника.

— Работал я товароведом в универмаге, — неохотно начал Рустам. — Вот, значит, зима настала. Мне одевать нечего. Пальто теперь тонкое шьют, больше для фасону. Тут в наш универмаг шубы привезли. Я написал акт и пошел к директору. Так и так, мол, товарищ директор, у нас одна шуба в складе подмокла. Он пожал плечами. Ну и что, говорит. Я ему прямо: одевать мне в морозы нечего, а за товаром ездить в город надо. Отдай испорченную шубу. Директор встал из-за стола, подошел к окну, задумался. Вот что, Рустам, говорит. Мне тоже одевать нечего... Я пошел к себе и написал новый акт. Директор подписал его, но заместитель обиделся: и ему не во что в стужу одеться. Я снова ушел к себе писать новый акт. В конце концов на моей бумаге подмокли пять шуб. Скоро тепло оделись директор, его заместитель, главный бухгалтер, завскладом и я, — Рустам загнул один за другим пять пальцев и замолчал.

— Потом? — спросил Равиль.

— Кладовщик написал жалобу в райцентр — ему шубы не хватило. И через месяц... — Рустам снова взялся считать пальцы: — ...директора, его заместителя, главного бухгалтера, завскладом и меня — всех пятерых, значит, — уволили за утрату доверия. Сейчас меня в торговлю близко не подпускают.

— Ну и плюнь ты на нее, — пытался утешить Равиль напарника. — Теперь ты и получаешь больше, и материально не ответственное лицо.

Рустам вежливо, но несогласно улыбнулся.

— Торговля — это хорошо, — задумчиво сказал он. — Особо когда ты — материально ответственное лицо.

Трубоукладчик взревел мотором, проскрежетал сцепле-

нием и потянул плетъ на изоляцию. Снова Равиль мотался на конце плети, то упираясь ногами в землю, то налегая всем весом тела, пытаясь хоть как-то сбить инерцию. Ему почти удавалось это, труба послушно разворачивалась за трубоукладчиком, но на другом конце по-прежнему безвольно передвигались длинные заплетающиеся ноги товара. Плетъ колотило о стрелу трубоукладчика, машинист останавливал свою махину и недовольно глядел на слесарей. У Равиля пропадало желание бороться с коварной инерцией плети.

Вечером, когда машинист заглушил трубоукладчик и сразу стало тихо, Равиль отошел в сторону и сел в тень от штабеля труб. Сильно ныли плечи и икры ног.

«Дурная работа, — подумал он и пошевелил плечами. — Тут надо немного помозговать и подавать плети на изоляцию механическим способом. И этой пустой работой занимаемся мы вдвоем, да еще машинист, не говоря уже о дорогостоящей машине. Куда смотрят инженеры с головного завода?»

Поодаль сварщики сматывали кабели. Фатых, прихрамывая, быстро уходил к конторе. Пантюха сидел на трубе, курил сигарету и смотрел, как тяжело нагруженный трубовоз уходит из цеховых ворот в поздний рейс.

Подошел Рустам и открыл рот. Равиль непонимающе смотрел на него снизу.

Тот нагнулся и заорал:

— Как самочувствие, говорю? В третий раз кричу!

— Уши заложило, не слышу, — пояснил Равиль и ответил на вопрос Рустама: — Самочувствие отличное, вот только до койки бы добраться.

Равиль поднялся и побрел в бытовку. Там Фатых с рабочими уже играли в домино. Равиль удивлялся еще в обед пристрастия рабочих к этой незатейливой игре.

Он сложил в шкафчик свою успевшую пропылиться спецовку и оделся. Светлый его костюм был довольно новый, хоть на свадьбу езжай. Рабочие, не отрывая глаз от костяшек, осторожно покосились на Равиля. Он, смутившись, торопливо распрощался и вышел. В его чемодане и дома, у матери, не нашлось ничего такого, что можно было бы за просто носить на работу, и Равиль надел свой старый костюм, но и тот сильно отличал его от товарищей по бригаде.

Равиль вышел за ворота цеха, расстегнул пиджак, вдохнул свежий, прохладный воздух и пошел в поселок

тропкой через березняк, спустился вниз и перешел железнодорожную насыпь. Вот скоро и родной дом под белой шиферной крышей... Будто и не было тех лет учебы в городе, работы на далеком, чужом теперь комбинате. Вот так Равиль возвращался когда-то из школы. Мечталось о многом. И думалось ему тогда, что он уедет из этого поселка скоро и навсегда. Однако вот ведь как сложилось...

* * *

Тимер-Булат нагрянул вечером, заполнил улицу шумом и запахом своего мощного мотоцикла.

— Дорогу Тимер-Булату! — кричал он со двора.

Мать, смеясь, бежала впереди краснощекого сына и распахивала двери. Тимер-Булат встал на пороге, из-под ладони оглядел комнату. Коротковатые брюки плотно облегли его ноги.

— Братишка! — закричал он и, в два прыжка подскочив к Равилю, легко поднял его к потолку.

— Второй Жаботинский! — удивился Равиль сверху и коленкой толкнул брата в округлый живот, на котором не сходились пуговицы пиджака. — Одним салом, что ли, питаешься? Как живешь?

— Землю топчу обеими ногами! — гордо заявил Тимер-Булат и опустил брата на пол. — Молодец, что вернулся домой. А я только сегодня приехал из Набережных Челнов — КамАЗ пригнал на автобазу.

Он сел, оглядел стол и возмутился:

— Тимер-Булат не умеет толковать за пустым столом.

Равиль открыл окно и поманил соседского мальчишку.

— Купи пивка, — попросил он, протягивая пятерку. — На сдачу возьми себе конфет.

Равиль сел за стол и приветливо оглядел Тимер-Булата.

— Ну, рассказывай, брат, о себе.

— Шоферу, — охотно начал тот. — На самосвале. Тут новый корпус взялись строить для туберкулезного санатория. Кобылиц недавно завезли — кумыс станут делать. Выколачиваю прилично, по двести — двести пятьдесят на руки. А ты, я слышал, в больших начальниках ходил?

— Было такое дело, — коротко ответил Равиль.

— Ну? Что случилось-то? Поперек дороги кому-нибудь встал?

— Аварию допустил, — неохотно сообщил Равиль. —

Взял расчет и приехал вот сюда, к матери. К своим истокам, так сказать, вернулся.

— Д-дела, — озадаченно крутнул головой Тимер-Булат. — Вот как с вашим братом обращаются. Сегодня на верхотуру толкают, а завтра выищут причину и — хребтом о землю.

— Со мной очень мягко обошлись, — поморщился от слов брата Равиль. — Раз я руководитель, то с меня и спрос особый.

— И ошибиться не имеешь права?

— Не имею. Больно дорого обходятся государству эти ошибки.

— Значит, на твое место золотого человека посадили, семи пядей во лбу? А?

— Не лезь, брат, в эти дела, — раздражаясь, ответил Равиль. — Сейчас я зол на всех, готов кусаться. Оставим наш разговор до будущих времен.

В окно просунулся мальчишка, стукнул бутылкой о подоконник и протянул Равилю сдачу.

— Аниса-апа сегодня конфеты не отпускает, — со вздохом сообщил он, вытирая рукавом пот со лба.

— Завтра купишь, — ободрил его Равиль. — Спасибо тебе, мальчик, иди.

Но тот нерешительно протягивал на ладони мелочь.

— Да шагай ты со своей сдачей! — закричал Тимер-Булат. — Вот балбес! Чей это сын растет, мать? Игебая? Тот же, помню, когда еще колхозом жили, он штаны гнилым мочалом подвязывал. Конюхом состоял, а от добротных вожжей отрезать себе на ремень не смел. Ладно, ну их...

Тимер-Булат, выпив, оживился.

— Давно я тебя, братан, не видел. Не больно ты нас жалуешь. По правде сказать, ехал я сюда и побаивался: вот, мол, сидит у матери важный, надутый человек и сердится, если что не так скажешь. Но ты все такой же. Спокойный, простой...

Тимер-Булат даже привстал и сделал шаг к двери, оглядел брата с ног до головы и громко засмеялся от удовольствия, что Равиль, как и прежде, «спокойный и простой».

Равиль, улыбаясь, слушал энергичного, жизнерадостного Тимер-Булата и смотрел, как тот с хрустом жует соленые огурцы, ложкой вылавливает из супа жирные куски баранины и, густо посолив их, отправляет в рот.

— Уж очень много беспокойства натерпелся ты в жизни из-за этого диплома, — начал Темир-Булат, отодвигая та-

релку. — Помнишь, Равиль, как ты с ума сходил со своим институтом? Ну и что? Чего ты получил от него? Давай возьми для примера моего начальника автоколонны. Молодой инженер... Оклад, конечно, скромный. Теперь смотри, как он работает. Утром в гараж раньше всех приходит, уходит опять последним. В пятницу, ближе к концу месяца, обходит нас, шоферов: поработаем, мол, ребята, в субботу. Начальство сверху жмет: надо помочь строителям план вырвать. Поломаемся мы для порядка, но все же выходим. Шоферам да слесарям двойная зарплата за работу в выходной день, а ему, инженеру, — шиш, потому как он сознательным обязан быть. Или, допустим, я переработал несколько часов, и мне не заплатили. Да я до города доберусь, и все за меня горой встанут. А кто за моего начальника заступится?

Тимер-Булат откусил от огурца, пожевал и, отбросив надкушенный огурец в тарелку, продолжал:

— Теперь, скажем, попробуй он хоть раз сорвись, не выполни задания треста или не угоди здешнему районному начальству. Завтра-послезавтра придет приказ, и он уедет со своим чемоданом. А на его место приедут два инженера — их нынче развелось много. Но если я не выполню распоряжения — с меня как с гуся вода. Я ведь рабочий человек, в институтах не обучался, имею право на промашку. А то дурачком прикинусь — и баста! А ты говоришь, не лезь, Тимер-Булат, в наши дела. Будто я не вижу ваших дел.

Равиль очнулся от последних слов Тимер-Булата.

— Ты, оказывается, себе на уме, — удивился он. — Даром времени за баранкой не теряешь — думаешь, как бы себя выгоднее показать да интеллигента больнее куснуть. Но и правды в твоих словах много. Хотя злобы еще больше. Вот только откуда и зачем тебе она?

— Заместо зубов, — без улыбки ответил Тимер-Булат.

— Ты меня не растравляй байкой о своем начальнике. Я в институт не ради диплома пошел и не ради денег. Душа моя туда просилась, а ее, ты знаешь, деньги не интересуют. Ты всегда был против моего учения. Ты честно предупредил, что помогать не будешь. Слово ты сдержал...

Тимер-Булат насупился, но промолчал.

— Мать была, как всегда, заодно с тобой, — после паузы сказал Равиль. — Но не отговаривала. Помнила она, как хотел отец вырастить своих сыновей грамотными людьми.

— Ты раньше не был таким сердитым, — вставил Ти-

мер-Булат, косясь на брата. — Мягкий был. Не разглядел я вначале, что руководящая работа тебя только снаружи не задела. Осерчал ты крепко...

— Осерчал, — согласился Равиль. — Зря ты задел рабочего человека, который будто бы готов прикинуться дурачком, лишь бы избежать ответственности. Я вот не видел таких рабочих, возможно, не повезло мне. И ты не видел таких. Тебе хочется их видеть, чтоб самому оправдаться.

Мать с тревогой следила из кухни за горячим разговором сыновей и как-то робко смотрела на младшего. Равиль перехватил ее растерянный взгляд и замолчал.

— Хороший, видать, из тебя начальник был, — не то с удовлетворением, не то с сожалением сказал Тимер-Булат. — Брата родного отчитал как малайку¹.

— Не жалею, — буркнул Равиль. — Ты все в жизни приучился сводить к деньгам.

— Мой жизненный интерес в них, — уже защищался Тимер-Булат. — И еще в моей бабе. Она в дверь только боком пролазит, да и то натошак. Вот скоро сам увидишь...

Тимер-Булат, как старший, счел нужным перевести разговор на шутливый тон. Равиль вяло улыбнулся, пробовал поддержать, но неумело. Вскоре Тимер-Булат уехал на своем грохочущем мотоцикле. Равиль в недоумении смотрел вслед — старший брат жил в десяти — пятнадцати минутах ходьбы от дома матери.

* * *

Равиля с каждым днем все больше раздражала его работа. Ведь куда проще, думал он, подавать сваренные плети по наклонным лежкам. Неужели никто не видит, что они с Рустамом и машинистом трубоукладчика зря деньги получают и «сапоги снашивают»?

Как-то в обед Равиль промерил расстояние от сварочного стенда до изоляционной линии, угол подъема, сел в уголке и начертил эскиз механизированной подачи плетей. Получилось так просто, что Равиль тут же подошел к бригадиру, показал эскиз и предложил самим собрать механизированную линию.

Фатых уткнул в эскиз носатое лицо, посоображал и

¹ М а л а й к а — мальчишка (башк.).

поднял на Равиля глаза. Предложение его не обрадовало.

— Куда потом девать вас с Рустамом?

— Будем помогать бригаде собирать плети, — Равиль предвидел вопрос бригадира.

— У бригады уменьшится заработок, — осторожно подсказал Фатых. — Нам перестанут платить за перетаскивание плетей.

— Раз появятся свободные люди в бригаде, то увеличится и продукция, — возразил Равиль.

— При тех же сварщиках? — усмехнулся Фатых и вежливо протянул эскиз. — Я не хочу, чтоб вас с Рустамом сокращали или передавали другой бригаде — вы же не все время таскаете плети, иной раз, как запарка, и бригаде помогаете. Понимаешь?

Равиль понял. Оттого что высвободятся люди и цех получит экономию в зарплате, сама бригада только проиграет.

Фатых, видимо, уловил его мысль.

— Мы в прошлом году сами сократили двух дизелистов, — сказал он, глядя в сторону, — нам больно долго рассказывало начальство про щекинский метод: малыми силами большие дела проворачивать. Всем, мол, выгода. И стране, и вам лично. Под горячую руку мы и от машиниста второго трубоукладчика отказались. Все равно полсмены стоит. У меня удостоверение на это есть — когда надо, и у меня котелок варит. И что мы, дорогой товарищ, от всего этого имеем? Кинули мне с Пантюхой по десятке, еще троим по пятерке — а спина, брат, трещит на все полста. Теперь ты со своей затеей. Кузьмичеву, надо полагать, идея понравится. Ему хорошо экономить да сокращать, его горб от этого не пострадает.

Равиль стоял рядом с бригадиром и не знал, что возразить.

— Ты не обижайся на меня, — сказал Фатых. — Голова у тебя правильно работает, только ты про ребят не подумал. — Он усмехнулся: — Тебя я с завтрашнего дня на сборку поставлю. Чего это грамотный человек за трубой могається...

— Нет, — твердо возразил Равиль. — Искать легкую работу не буду. Потом, я не для себя старался, — он кивнул на эскиз. — Меня досада берет последние дни, что занимаюсь пустой, никому не нужной работой. Ну сам, Фатых, рассуди, держим трех человек на перетаскивании плетей, да еще трактор, а он горючее бочками жрет. Вот ты стал

бы терпеть в бригаде человека, который ходил бы за тобой следом и давал тебе прикуривать?

— Кто бы ему зарплату платил? — живо заинтересовался Фатых.

— Государство, кто же еще, — ответил Равиль. — Но не из вашего рабочего кармана. Стал бы держать этого человека?

Фатых подумал и, представив лоботряса в широких рабочих штанах и закатанной футболке, что ходил бы за его спиной с коробком спичек в руках, уверенно ответил:

— Я б его в первый день прогнал.

— Но почему ты держишь меня с Рустамом? — напирал Равиль.

— Ты меня на слове не лови, — остановил бригадир. — Я хоть и не шибко грамотный, но в этих делах разбираюсь, что к чему. Но пусть и те головастые инженеры о нас маленько думают, когда нам толкают свои идеи и новые машины. Чтоб не за счет нашего горба в рай въезжать! Погляди сам, что у нас в бригаде творится — дизеля обслуживаем, на трубоукладчике работаем. Разрываемся, одним словом. И это за лишнюю пятерку-то? Да пусть они ею подавятся, эти инженеры!

Фатых вскочил и ушел к сборочному стенду, прихрамывая сильнее обычного.

Равиль посмотрел ему вслед и хотел было порвать эскиз, но удержался и, сложив, сунул его в карман куртки.

Ему не хотелось расписываться в собственном бессилии. Он лучше Фатыха понимал, что технический прогресс неустойчив, и если сегодня не добьется своего он, Равиль, то завтра придет другой, помоложе, понастойчивей, и уберет лишнее звено. Просто Равиль раньше других увидел под своей телегой ненужное пятое колесо.

После этого разговора он не мог идти к Кузьмичеву или старшему мастеру — этим он сильно повредил бы себе в глазах бригадира.

Недели через две, когда Равиль лучше узнал характер и слабости Фатыха, ему пришла в голову другая мысль. Он взял в конторе чистый бланк рационализаторского предложения и вечером сел за расчеты. Годовая экономия зарплаты его и Рустама получилась впечатляющей. К тому же высвобождалась дорогостоящая машина.

Равиль изложил все расчеты на бланке, вывел размер вознаграждения и на следующий день снова подошел к бригадиру.

— Ты опять за свое? — насторожился тот.

— Опять, — широко улыбнулся Равиль.

— Мы с тобой уже говорили на этот счет, — Фатых неприязненно заглянул в расчеты.

— Разговор старый, — согласился Равиль, крепко придерживая бригадира за брезентовый обшлаг куртки, чтобы тот, рассердившись, не ушел от него. — Да не совсем. По рацпредложению сокращается в бригаде трубоукладчик с машинистом и один из слесарей, пусть даже я. Зато Рустам остается на электролебедке, будет подавать трубы на изоляцию. В свободное время будет помогать бригаде. Особо если у тебя случится запарка, как ты выразился.

— Почему Рустам на лебедке? — вскинулся Фатых. — Не надо мне его, он на ходу засыпает. Пусть на сборку трубных узлов идет, в бригаду Хасанова.

— Суть не в этом, — улыбнулся Равиль. — Работы в цехе на всех хватит. Но у тебя в бригаде не станет лишних людей. И в зарплате не потеряете. И твой драгоценный горб не пострадает.

— Так ли? — недоверчиво спросил Фатых.

— Так, — твердо ответил Равиль. — Инженеров ты правильно ругал — им надо было свое дело протолкнуть, о тебе они позабыли или просто не подумали.

— Вот если б они побывали в моей шкуре! — подхватил было Фатых, но посмотрел на Равиля и снова недоверчиво замкнулся. — Зачем мне нужно внедрять твои идеи? — спросил он. — Мне, что ли, делать больше нечего?

— Кстати... — будто бы вспомнил Равиль. — За рацпредложение бригада получит премию. Я и это подсчитал. На каждого придется шестьдесят рублей. Тебе как бригадиру еще пятьдесят за внедрение.

— Ну? — Фатых оживился и уже с интересом стал изучать бумаги. Бригадир любил премии, особенно с прошлого года, как начал копить на «Москвича».

В субботу бригада вышла на работу. Линия механизированной подачи труб была готова к вечеру. Фатых сам опробовал новшество. Равиль бегом размотал трос от лебедки, зацепил за плетъ и, волнуясь, стал ждать. Фатых включил лебедку, осторожно, то и дело налегая ногой на тормоз, стал подавать плетъ, которая загромыкала по железным трубам настила.

Недоверчивое лицо бригадира разгладилось, когда плетъ вкатилась на ролики изоляционной линии.

— Здравствуй и... прощай, — Фатых даже будто разо-

чарованно глядел на громоздкую, длинную плетть, что быстро и буднично легла на ролики и превратилась для бригады в «готовую продукцию».

Фатых, переодевшись в бытовке, подошел к Равилю и многозначительно сказал:

— Я завтра к Кузьмичеву пойду, чтоб тебе разряд повысили.

— Рано больно... — попытался осадить его Равиль.

— Ничего не рано, — замотал головой бригадир. — А то несладно получается — у тебя с Рустамом одинаковый разряд. Разве вы пара друг другу?

Равиль возвращался домой через березняк и громко пел. Дорогу ему пересекли девочки с букетами полевых цветов. Они недоуменно проводили взглядами дяденьку, что так громко и неумело пел в лесу. Равиль засмеялся. Кажется, он не радовался так даже в тот день, когда его, двадцатипятилетнего инженера, поставили начальником ведущего цеха.

* * *

Поевши, Равиль вышел из дома и направился к речке. На лугу белыми буграми рассыпались гусиные выводки. Гусаки тянули вслед ему длинные шеи, шипели неохотно и без злобы. За крайними домами поселка чуть слышно грохотали составы. Мягко вздрагивала под ногами земля, и короткие, низкие гудки электровозов будто прокалывали по-вечернему густой, теплый воздух. Речка за лугом делала крутой поворот, и на том, пологом берегу четко белели корпуса турбазы. У речки, на узком пространстве между водой и густым кустарником, уходили в сумерки маленькие домики дач. Разноцветные крылечки, резные ставенки и крохотные балкончики верхних комнат делали дачи похожими на макеты сказочных домиков. Немногие дачники из отпускников и тех, что отваживались проделать неблизкий путь из города на электричках ради сна на свежем воздухе, сидели на скамеечках, курили и смотрели на закатное солнце, созревшим помидором висевшее над дальним холмом на краю равнины.

Равиль обогнул дачи и снова вышел к речке, к ее крутому повороту. Берег здесь до самой воды порос низким кустарником.

Солнце пропало за темным холмом, вспыхнули огни на турбазе, и уже потом прибежал по воде солидный стук движка на электростанции.

У берега купались две девушки. Они стояли друг против друга, по плечи в воде, и весело переговаривались. Вдруг они перешли на башкирский — заговорили о сокровенном. Парень, о котором зашла речь, видимо, нравился обоим — смех девушек зазвучал негромко, нежно.

Равиль прошел берегом совсем близко от них. Девушки глянули на незнакомца быстро и смущенно и враз погрузились в воду, лишь глаза их с веселой тревогой следили за мужчиной.

«Чего они испугались?» — не понял Равиль, но, оглянувшись, догадался — на кустах у воды висели яркие купальники.

«Озорницы! — посмеялся он про себя. — Голыми купаются — видать, никого не ожидали в этот час на берегу. Мне бы их заботы!..»

Не оглядываясь, уходил он от берега. Вдогонку ему снова смеялись девчонки. Радостное, безмятежное настроение Равиля пропало. И чему он радуется в этот вечер? Уважению бригады, хорошему разговору с Фатыхом — ну не смешно ли? Время, вроде этой неутомимой реки, катит свои воды мимо него. Вот вместе с солнцем ушел сейчас еще один день из его жизни. Их много впереди, этих дней. И уже другие девушки будут голыми купаться в реке и говорить о сокровенном... Быть может, и о нем говорили когда-то девчонки, плескаясь в воде на этом крутом повороте. Но он не услышал их и уехал в город, навечно унося в себе предательство близких людей. В шумном городе, в постижении точных наук топил он мучительные воспоминания о той новогодней ночи, затем вытравлял их из сердца в водовороте комбинатской жизни. И не потому ли он с таким упорством проделал путь от мастера до главного инженера, что каждая ступенька на крутой лестнице вверх требовала много сил и энергии.

У него были женщины. Одни были просто красивые, другие умные, внимательные и всепонимающие. С ними было хорошо до определенного предела, и приближение этого предела Равиль определял интуитивно тонко. То, что он старательно топил в себе, вытравлял, вдруг будто восплалялось, и он, вмиг очерстев и обезразличев к себе и той, что доверчиво шла к нему, враждебно замыкался, и женщина, оставшись одна и в то же время рядом с ним, терялась, упрекала его и, перестав понимать себя и Равиля, бывало, иступленно стучалась в его наглухо застегнутую душу.

Женщина уходила от него, и он вновь находил радость только в работе, упорно постигая усложняющуюся год от года производственную науку химического комбината.

Сейчас он увидел эти два юных существа, что стыдливо прикрывали локтями еще неокрепшие груди и говорили о милом пареньке, и у него появилось чувство острого сожаления. К старой обиде сегодня примешалось недовольство собой и миром, что обошел его в самом главном.

В этот грустный, тихий вечер что-то оттаяло в Равиле. Он до сих пор ни к кому не испытывал зависти. На комбинате завидовали ему, подражали и считали удачливым. Теперь эта зависть больно заворочалась в нем самом. Ему хотелось перечеркнуть, выкинуть из жизни эти последние пятнадцать лет и стать тем пареньком, о котором мечтают эти юные купальщицы.

Он почти бегом пересек влажный от росы луг. На том краю его, рядом с задремавшим гусиным выводком, стояла маленькая женщина в длинном, узком платье. В ней Равиль тут же узнал Флору. Она ждала его.

* * *

После того как на рабочей площадке бригады Фатыха перестал гроыхать трубоукладчик и сварщики больше не выглядывали из-под своих масок, боясь, как бы их сзади не «поцеловало» мотающейся на крюке плетью, в цехе начали с любопытством присматриваться к Равилю. Бывший «шишкарь» оказался не только сообразительным малым, но и сумел убедить в своем недоверчивого Фатыха. Трубоукладчик, позарез нужный на отгрузке изолированных плетей, теперь крутился на грузовой площадке, и трубовозы больше не скапливались за цеховыми воротами.

Равиль почувствовал себя увереннее. Но радость его омрачалась одним фактом в жизни бригады, с которым он не в силах был смириться. Бригада за день собирала в среднем двадцать две плети. Но утром на доске показателей против бригады Фатыха появлялась цифра «24» или «25» Кто приписывал им лишние две-три плети?

— Я не даю такие цифры, — пожал плечами Фатых. — Вечером Бакиров сам считает нашу работу.

— Но ты ведь знаешь, что он накидывает бригаде две-три плети?

— Мое дело давать плети, а не считать их, — Фатых опустил глаза. — Зачем мне лезть в дела начальства? У них свои заботы, у меня — свои.

— Но если б Бакиров нарисовал вместо двадцати двух плетей девятнадцать? Ты б промолчал?

— Я? — изумился Фатых. — Да я б у него из горла вырвал свои плети.

— Во ты какой? — тоже удивился Равиль. — Свое из горла готов вырвать, а чужое... берешь?

— Что ты от меня хочешь? — Разговор был неприятен Фатыху. — Я всего-навсего «бугор», мое дело о ребятах думать, про их заработок. Тебе легко рассуждать — у тебя-то семья один сам.

— Что ж, и дальше будем эту подачку принимать от Бакирова? — Равиль избегал смотреть в хмурое лицо бригадира.

Фатыха передернуло от слова «подачка».

— Зачем ты лезешь не в свои дела? — спросил он с досадой. — У тебя светлая голова, образование, молодость... Думай о чем-нибудь другом.

— Я не хочу жить обманом, — упрямо возразил Равиль. — Ты живи, а я не буду. Ты, Пантюха, как полагаешь?

Пантюха подошел позже, но суть разговора уловил сразу. Он молча курил, не глядя на товарищей.

— У меня эта подачка в горле сидит, — откровенно признался он и, поплевав на окурок, машинально кинул его в чью-то валявшуюся рядом маску. — Фатых тебе всего не скажет. Вот он делает вид, будто не хочет обижать Бакирова, тот-то вроде о нас болеет. Но я тебе, Фатых, другое скажу. Он этими двумя-тремя плетями свои болячки прикрывает. Вот вчера мы час просидели — энергии не было. Хотели агрегат завести — в бочке вторую неделю нет солянки. Бакиров никак не удосужился послать в город бензовоз. На той неделе трубоукладчик полдня не работал — сидели бригадой и дожидались, когда наладят. А мог Бакиров ночью организовать ремонт? Мог. Но не стал — хлопотно. Так всю дорогу. Кто-то проспал, кто-то недосмотрел — вот Бакиров и дописывает нам на доске и в нарядах лишние плети. Мы, конечно, довольны и молчим.

— И ты туда же, — поморщился Фатых. — Из-за пустяка разговор завели, головы себе ломаете. — Он встал. — Делайте что хотите, только меня не впутывайте.

Утром следующего дня Равиль подошел к доске показателей, на виду у всех стер рукавом цифру «24» и поставил мелком «22».

Сзади его грубо толкнули в плечо. Равиль, обернув-

шись, встретился глазами с Бакировым. Старший мастер, молодой, верткий парень в белой рубашке с закатанными рукавами, оглядывал его, неприязненно выпятив нижнюю губу.

— Ты чего тут хозяйничаешь? — спросил он, оттирая Равиля от доски. — Без году неделя, как пришел, а уже лезет, выкаблучивается... Ну-ка, поставь цифру на место.

— Во-первых, не тыкайте, — оборвал старшего мастера Равиль и снова встал у доски. — Во-вторых, мы заварили вчера двадцать две плети. Зачем людей обманываете?

Бакиров растерялся.

— Нет, ты... вы кто такой? — он пытался прийти в себя. — Кто вам дал право подводить итоги? Ну хорошо бы бригадир, а то выступает слесарь. Вы с бригадой обговорили? Нет. Тогда зачем самовольничаете?

Бакиров окончательно пришел в себя и, поглядывая на собравшихся рабочих, что одинаково хмуро глядели на него и Равиля, наступал:

— Вы почему не посоветовались с бригадой? Бригадир у вас для выставки, что ли? Вы б лучше о своих товарищах подумали. Зачем вы у их детей хлеб отнимаете?..

У Равиля пропала закипавшая было злость. Он с любопытством глядел на этого бойкого инженера, что так прочувственно говорил о рабочих.

— Ну и дешевый ты, парень, демагог, — сказал он ему в лицо. — Постыдился бы... Неужели институт ничему тебя не научил?

— А! Вы сами тыкаете! — Бакиров, снова растерявшись, не придумал ничего удачнее этого упрека.

— Да я так, по-свойски, — усмехнулся Равиль. — Как коллега с коллегой... хоть и бывший.

Равиль пошел в бытовку, за ним потянулась бригада. Все молчали. Пантюха, вздыхая, чистил свой складной метр мелом, подобранным у доски показателей. Фатых копался в карманах, отыскивая сам не зная что. Рабочие посматривали на бригадира, но тот упрямо отмалчивался.

Равиль посмотрел на свой рукав, испачканный в меле, кашлянул и оглядел товарищей.

— Вы меня, ребята, извините за этот разговор у доски, — начал он, сосредоточившись взглядом на бригадире. — Может, и не надо было его начинать. Да больно мне противно стало от этой бакировской подачи. Я подсчитал, что эти две лишние плети обходятся в день каждому из нас в девяносто копеек. Мне эти деньги не нужны. Фа-

тых, я прошу тебя не засчитывать мне в наряде эти две плети.

Фатых снова промолчал.

Неожиданно для Равиля подал голос Зиннур, бывший счетовод соседнего колхоза:

— Мне тоже не считайте. Законных денег пока хватает. — Он простодушно отмахнулся: — Государство все равно не обманешь. Потом как вычтут одним махом — хуже будет.

Фатых впервые за весь разговор улыбнулся.

— С рабочего человека не вычтут, — сказал он. — С Бакирова могут, но не с нас.

— Мои девяносто копеек тоже вычитай, — Пантюха бросил мел и пошел к двери. — Мне ворованного не надо. Лучше в выходной кому-нибудь в деревне водопровод проведу. Заработаю!

— Уж если о деньгах заговорили... — Равиль повеселел оттого, что его поддержал Пантюха. — Разве мы не сможем выдать за день двадцать пять плетей? Утром на полчаса позже начинаем — почесываемся и рукавицы ищем, потом перекуры по пятнадцать минут...

— Ну ладно, — заворчал Фатых. — Пошли работать. Будем митинговать, и двадцати плетей не дадим.

К вечеру доска показателей исчезла. Раздосадованный Бакиров собственноручно снял ее и унес в красный уголок. «Ради вас же стараешься, головой рискуешь... — зло сказал он Фатыху. — А что получаешь взамен? Тебе суют под нос кулак и говорят: понюхай. Погоди, Бакиров, этот тебя еще под народный контроль подставит — у него, видать, план имеется. Что Кузьмичев думал, когда принимал его на работу?

— Вы про своего коллегу говорите? — осведомился Фатых.

— Коллегу... — передразнил Бакиров. — Чтоб я твоей бригаде хоть метр лишний накинул!

— Таких метров мне не надо, раз ребята отказываются, — согласился Фатых, сузив глаза. — Токо... чтоб не стояли мы. А?

Бакиров быстро взглянул в глаза бригадиру, тот насмешливо выдержал взгляд старшего мастера.

Доска показателей больше не вывешивалась, но бригада Фатыха с того дня почти не стояла.

Равиль впервые почувствовал себя неважно вскоре после того, как на комбинате его ознакомили с приказом о снятии с должности главного инженера. Несколько дней он пролежал в своей холостяцкой квартире, не отвечая на телефонные звонки.

Через неделю рези в желудке поутихли, он получил расчет и, спешно распрощавшись с самыми близкими друзьями, сел в поезд. В вагоне-ресторане Равиль заказал обильный ужин, с удовольствием съел бифштекс, запил минеральной водой и, отложив вилку, стал смотреть в окно. Хотелось ехать и ехать этими бескрайними равнинами, пока поезд не упрется в конечную станцию, за которой нет никаких дорог, кроме глухих троп и редких вертолетных трасс. Но этот поезд шел только до узловой станции. При пересадке Равиль снова почувствовал себя неважно. Вместо билета на экспресс он купил в железнодорожной автоматической кассе билет на электричку и уже через час ехал в родной поселок, к матери. Вжавшись в угол, он смотрел в широкие окна вагона. Внутри так болело, будто в него забрался маленький сильный зверек и царапал желудок.

Дома Равиль понял, что болезнь его неслучайна и ему не скоро уехать из поселка. Ему легче будет справиться с болезнью здесь, нежели на чужбине. Даже зверь, раненый или больной, из последних сил уползает в свое логово.

Когда Равиль поступил в цех крупносорбных металлоконструкций, тяжелая физическая работа вернула ему аппетит, но ненадолго. Желудок его восстал против грубой, простой пищи, как потчевали в цеховой столовой.

Никогда прежде не болевший, Равиль скрывал от всех недомогание. Но мать молча и строго изучала младшего сына.

— Ты соленые огурцы раньше любил, — сказала она однажды за ужином. — Без перца жить не мог. Теперь даже жирных супов не кушаешь. Что с тобой, сынок?

— У меня все хорошо, — ответил Равиль, избегая цепкого взгляда матери. — С годами привычки меняются. Так, наверное, и должно быть.

Как-то в обед Равиль решил сходить в столовую, взял в раздаточной две холодные котлеты и чаю. Котлеты показались ему несвежими, но он сильно проголодался и ре-

шительно доел их. После обеда Равиль мучали рези, и он едва доработал до вечера.

Дома он сказался усталым, выпил кружку молока и ушел в свою комнату.

Тихо вошла мать.

— Что ты калачиком свернулся, сын? — спросила она, не скрывая тревоги. — Я все вижу. По ночам плохо спишь, стонешь во сне.

Равиль сел в постели и насильно улыбнулся.

— Не выслеживай меня, инэй, — попросил он. — Заболел я. Думаю, скоро полегчает. Климат у нас здоровый, работаю на свежем воздухе...

Мать опустила голову.

— Вот отчего у меня на сердце тяжело. Отчего бы это, думаю, — сын же приехал, дома живет. Но зачем ты скрываешь от меня?

Мать, крепко задумавшись, ушла.

* * *

Подошла долгожданная суббота, мать уехала в город к своей сестре, и Равиль остался в доме один. Он лег на диван и стал читать самую толстую книгу, какую отыскал в доме.

«Почему Флора одинока? — подумал Равиль и отложил книгу. — И потом, неужели пятнадцати лет мне мало, чтоб забыть или простить ей ту новогоднюю ночь?»

Вчера он встретил Флору на лугу, та было кинулась к нему, но Равиль холодно кивнул и прошел мимо.

«Все могло сложиться иначе. Но ведь в этом виновата только она!» — успокаивал он себя.

И снова Равиль настойчиво возвращается мыслями к лесной избушке, где он с другом Ахатом и Флорой встречал Новый год. Утром выпал пушистый, легкий снег, и Равиль быстро скользил по нему на лыжах к маленькой железнодорожной станции. Кому из них, тогдашних десятиклассников, захотелось побаловаться сигаретами? Равиль не помнит. Не помнит он и о чем думал, щуря глаза на необычно яркое январское солнце. Зато прочно стоят в его памяти залитая солнцем избушка, уже никому не нужные сигареты и он сам, убегающий от страшного места, где справляют свой праздник плоть и предательство...

Стоял конец лета, и молодые березки в рощице за цехом уже начинали желтеть. Трубовозы с мотающимися на длинных тросах прицепами спускались вниз, в равнину, и пыль сзади не стлалась легким облаком, а стояла в воздухе, медленно и тяжело оседая на дорогу.

Пообедав, бригада забралась в бытовку и принялась стучать в домино. Один Фатых остался на скамеечке у забора. Он глядел на спускавшиеся вниз трубовозы и, задумавшись о чем-то, сильно морщился.

Равиль сел рядом и легонько тронул бригадира за плечо.

— А? — спросил тот, вздрагивая. — Что, уже пора?

— У меня разговор к тебе есть, — сказал Равиль и, помолчав, быстро признался: — Трудно мне, Фатых, сил не стало... Прятаться больше не хочу — ты, должно быть, и сам видишь...

— Вижу, — ответил тот согласно, будто ждал этого разговора. — Откуда силам быть? В столовую совсем не ходишь, а если пойдешь, то поковыряешься в тарелке да бросишь. Сперва мы думали, брезгуешь ты нашей пищей. Потом поняли: желудок твой не принимает.

Фатых просунул руку под воротник рубахи, почесал шершавой ладонью шею — как всегда, если не мог сразу ответить товарищу.

— Не знаю, какую бы тебе работу найти полегче, — он старался не смотреть на Равиля. — Может, научить тебя хоть немного прихватывать...

— Я вовсе не к тому речь завел, — спохватился Равиль. — Просто хотел посоветоваться. И вот о чем...

— Ну-ну, — осторожно поддержал Фатых и поднял на Равиля носатое лицо.

— Хочу у Кузьмичева попроситься к Хангильдину в помощники. Во-первых, вам обузой не буду, во-вторых, там от меня пользы будет больше.

— Жалко тебя отдавать, — с искренним сожалением сказал Фатых. — От работы не отлыниваешь, худого слова от тебя никто не слышал. Потом, много ты облегчения бригаде принес. Холостые ребята как-то смеялись: спасибо, мол, Равилю, спина теперь по вечерам не гудит, чаще к своим девушкам стали наведываться.

Последнее Фатых сообщил, пытаясь хоть как-то приободрить Равиля, и тот благодарно улыбнулся.

Фатых запустил пальцы за воротник.

— Жалко тебя отдавать, — снова повторил он. — Да ты, парень, и в деньгах потеряешь.

— Мне ли теперь о деньгах думать, — усмехнулся Равиль. — Было б здоровье, остальное приложится.

— Да-да, здоровье — всему голова, — охотно поддержал бригадир, вспомнив, видимо, как сам провалялся год в больнице.

Кузьмичев встретился Равилю в коридоре конторы.

— Проходите, — радушно пригласил он и, пожав руку Равилю, пропустил его в свой кабинет. — Физический труд вам на пользу, молодой человек, загорели, приосанились. — Он внимательно взгляделся в усевшегося напротив Равиля. — Только уж нехорошо как-то похудели.

Равиль помрачнел, и Кузьмичев поспешил переменить тему разговора.

— Вы совершаете у нас целую революцию, — снова перешел он на шутливый тон. — Трубоукладчик для грузовой площадки я два года не мог допроситься у генерального директора, а вы мне его за так подарили. Только вот почему ко мне не заглядываете? Я уже обижаться на вас начинаю. Тут еще и Бакиров однажды жаловался, будто вы его притесняете с отчетностью по соцсоревнованию. — Кузьмичев сделал паузу и улыбнулся. — Я имею в виду доску показателей. Он тут было и докладную на вас сочинил. Порвал я ее при нем. Ты пацан против Равиля Салимгаревича, говорю я ему. Он человек хороший, работает на совесть. Погоди, мол, он еще встанет на ноги, заявит о себе...

Кузьмичев опять улыбнулся.

— Я к вам с просьбой, — вклинился в его речь Равиль. — У Хангильдина помощник уволился. Если можно, переведите меня.

— Что так? — спросил Кузьмичев, откидываясь в кресле.

— Здоровье немного сдало...

— Ага, — быстро сказал Кузьмичев и наклонил покатый лоб. — Хангильдин совсем зашился с разработками. Ты там будешь кстати, а то я из города собирался просить человека.

Равиль поблагодарил. Кузьмичев упруго выпрыгнул из кресла и проводил Равиля до двери. Он, похоже, так и не свыкся с мыслью, что перед ним подчиненный ему слесарь, а не бывший руководитель производства.

Утром следующего дня Равиль заступил на новую ра-

боту. Невысокий, толстый Хангильдин сидел в маленькой, узкой комнате над отделением цеха, где собирали трубные узлы для строящихся нефтепромыслов. Слышно было, как внизу шипит газорезка, с грохотом катают по бетонному полу трубы и громко кричат рабочие.

— Феликс Бахтиярович, — солидно представился Хангильдин.

— Равиль.

Хангильдин снисходительно сунул ему узкую ладошку и тут же разрешил:

— Можете звать меня просто Феликсом.

Они говорили по-русски, и Хангильдин произносил свое имя так: «Феликэс».

— Работы ужасно много, — предупредил Хангильдин и показал на стеллажи, забитые чертежами. — Приходится задерживаться вечерами. Как-то я даже не поехал на выходной день к семье — сидел, перелопачивал эти проклятые чертежи. Бывает, так наработаешься за этой бандурой, — он ткнул ногой стойку кульмана, — что спина деревянной делается.

Хангильдин двумя руками, уже в третий раз за время разговора, заправил выбившуюся футболку в брюки.

— Но со мной работать можно, — поспешил успокоить он Равиля. — Я не из строгих начальников. Лишь бы работа не стояла.

«Ба, да он себя начальником считает», — изумился Равиль и спросил вслух:

— Феликс Бахтиярович...

— Феликэс, — снова разрешил Хангильдин.

— Какие будут на мне обязанности, Феликс?

Хангильдин, озираясь, оглядел комнату, стеллажи, не зная, с чего начать.

— Потом расскажу, — сказал он. — Вот срочную работу кончу. С утра бригадир бегаёт, клянит. А ты мне вот что сделай: с монтажного участка прислали эскизик, нарисуй его поаккуратнее, да отдадим вниз.

Он кинул Равилю на стол скомканный листок бумаги с наспех вычерченным трубным узлом, а сам принялся разбирать свернутые в рулон чертежи.

Равиль приколот на кульман чистый полулист ватмана и за полтора часа вычертил эскиз.

Хангильдин подошел к кульману, изумленно всмотрелся и перевел взгляд на Равиля.

— Даешь! — сказал он. — Хоть на выставку посылай.

Постой-ка, — обрадовался он. — Да кто так резьбу показывает?

Хангильдин схватил плохо очиненный карандаш и грубо исправил. Равиля покорило.

— Таковую резьбу, как ваша, уже несколько лет не показывают, — сдерживаясь, сказал он. — Неужели вас не знакомят с изменениями в ГОСТах?

— Э, брат, — стушевался Хангильдин. — Кто нас будет знакомить с новинками? Кому мы тут нужны? И твой красивый чертеж тоже никому не нужен. Сейчас заберут его слесаря, потычут в него грязными пальцами, а завтра, как узел соберут, выбросят.

Хангильдин сел было за свой стол, но вскочил и подошел к Равилю.

— Я тоже в свое время красивые чертежи рисовал, — сказал он с вызовом и нервно заправил футболку. — Пытался, так сказать, шагать в ногу с жизнью, но она, брат, ужасно крутит винтом, и все по синусоиде...

— То есть? — не понял Равиль.

— А так: вверх-вниз и... мимо. Мне еще в школе обещали светлую будущность. А в техникуме прямо говорили: Ты, Феликэс, будешь ходить в больших людях. Да вот, перипетии судьбы...

У Хангильдина все в комнате было раскрыто настежь: шкафы, ломившиеся от рулонов чертежной бумаги, столы, заваленные эскизами, коробками карандашей и линейками, маленькая кладовая, в которой пылилась справочная литература, стояли канистра и старый кульман с поломанной рейсшиной.

Запирался на ключ лишь маленький железный сейф, привинченный к полу.

— От сейфа ключ не дам, — предупредил Хангильдин. — Тут чертежи особой важности. — Он значительно посмотрел на Равиля. — Иногда ко мне поступают важные заказы. Понял?

Перед обедом Хангильдин открыл сейф, загородил его телом от Равиля, повозился, что-то нашаривая внутри. Тихо звякнуло стекло.

Равиль усмехнулся. Теперь он понял, какие «перипетии судьбы» не позволили Хангильдину выбиться в люди.

Из столовой Хангильдин пришел веселый, лицо его было багрово.

— Ты с собой обед носишь? — спросил он, увидев на столе Равиля пустую бутылку из-под молока.

Хангильдин искал в столе спички. Закурив, он сел рядом с Равилем и добродушно продолжил:

— Ты, наверно, полагаешь, что Феликэс Бахтиярович — пропащая душа, собирается гнить тут заживо. Нет, брат, зимой меня в этом поселке не будет. В городе живет мой друг, орудует там строительным трестом. Только дай, говорит, знать, и я посажу тебя, Феликэс, к себе руководителем проектной группы. Оклад, заявляет он, дам максимальный, на всю катушку то есть, а потом, мол, посмотрю, на твое поведение и, может, еще дальше задвину.

— На свое место? — пошутил Равиль.

Хангильдин, обидевшись, ушел за кульман.

Равиль быстро вник в новое дело. Им приносили проекты технологической обвязки, которые они должны были разбить на отдельные узлы, вычертить их как можно проще и сдать в цех сборщикам. Хангильдин, видимо, не всегда до конца вникал в чертежи — часто приходили бригады и, потрясая его эскизами, ругались. Узлы при сборке не стыковались в нужных местах, и раздосадованные бригады кричали Хангильдину: «Куда же ты смотрел, когда малевал эскиз, на узле живого места нет от переделок. Как теперь его сдавать монтажникам?»

— Не может быть, — решительно возражал Хангильдин. — Я от проекта на грамм не отошел.

— Пойдем в цех, — звали рабочие. — Сам поглядишь на свою работу.

— Нечего мне туда ходить, — упирался Хангильдин. — Чего я там не видел?

— Кто будет за переделки отвечать? — потеряв терпение, спрашивали рабочие.

— Вы! — храбро отвечал Хангильдин. — Эскизы надо читать разув глаза и раздвинув прическу.

— Пошли вниз, — тащили Хангильдина. — Разуешь свои глаза, раздвинешь прическу и поглядишь, чего натворил.

Хангильдин с великой неохотой уходил в цех, вскоре возвращался, потный, сердитый, шумно открывал сейф и клял во все горло перипетии судьбы и рабочих, что собирают узлы по его эскизам «на веру» и при этом вовсе не хотят «шурупить мозгами». А он, Хангильдин, живой человек и имеет право на ошибки. «Не ошибается тот, кто не работает!» — восклицал Хангильдин и, несколько успокоенный, задвигал ногой дверцу сейфа.

Равиль с удовольствием взялся за новую работу. Желудок его на время отпустил, видно, из-за спокойной, фи-

зически ненапряженной работы. Равиль изучал чертежи и часто качал головой, удивляясь проектировщикам, что умудрялись простенький узел преподнести в сложном и громоздком виде и вдобавок допускали массу неточностей. Хангильдин, зачастую сам не понимая этого, машинально повторял ошибки в эскизах, добавлял свои, и рабочие тратили много времени на переделки.

— Металла сколько расходуется, — сокрушался Равиль. — Дефицитных труб... Вот тут можно предусмотреть тонкий стальной лист под основание трубы, а они убухали целую броневую плиту. И какие хитроумные решения придумывают там, где должно быть просто. Это все равно что от нас в Москву ехать через Владивосток.

— Кто проектирует-то? — подхватывал Хангильдин из-за своего стола. — Девчушки, что вчера пооканчивали институты. Производства не видели, не знают, да оно их и не интересует. Что у них в голове? Красивые мужики да тряпки. Вот и лепят на ватмане, что в голову взбредет им между двумя стаканами чая.

...Равиль вычерчивал узлы так, что сборка их отнимала у рабочих как можно меньше времени. Некоторые сложные места он вычерчивал для наглядности отдельно, в пространственном изображении. В бригаде он видел, как часто рабочие ломают голову над трудными эскизами.

Равиль сдал свою первую разработку сборщикам и с беспокойством стал ждать результата. Бригадир не приходил, и он, заволновавшись, спустился в цех. Его узел стоял готовый, в хитроумном сплетении труб, с привернутыми на болтах задвижками и клапанами.

Равиль подошел к рабочим и спросил бригадира:

— Претензий нет? Подошло?

— Как в аптеке! — весело ответил тот. — Прямо не верится, что сдадим заказчику с ходу, без переделок. — Бригадир шагнул к узлу вплотную и поманил Равиля. — Вот в этом месте предохранительный клапан не уместался. Ну, думаем, дал все-таки новенький промашку. Потом стали сверять размеры с эскизом: оказалось, сами напортачили.

Бригадир полез в карман, достал сигареты и протянул Равилю.

— Спасибо, не курю, — отказался тот.

Бригадир дружелюбно толкнул Равиля:

— Где так насобачился чертежи разрабатывать?

— Есть небольшой опыт, — засмеялся Равиль и пошел к себе наверх. Он еще слышал, как бригадир спрашивал



мастера: — Отчество его как будет? Нельзя же так: Равиль да Равиль.

Теперь бригадиры стали пытаться, каждый по-своему, всучить свои заказы на разработку именно Равилю. Хангильдин быстро понял, что его услуг избегают, но не стал переживать. У него появилось больше времени заглядывать в сейф. Новенький с удовольствием брался за самые сложные разработки, и Хангильдин незаметно для себя превратился в его помощника.

* * *

Фатых с Пантюхой пришли после обеда. Хангильдин незадолго перед их приходом заявил, что он устал от всей этой текучки и душа его «просит покоя». Потоптавшись на пороге, он виновато оглядел Равиля и ушел с работы. В сейфе у Хангильдина было пусто третий день, он маялся, не находил места, и все валилось у него из рук. Взаимы никто ему не давал, а просить у Равиля он почему-то стеснялся.

Фатых с Пантюхой вошли несмело: как-никак Равиль сидел теперь в конторе, ходил чисто одетый и мог на правах мастера бывать на участках и делать рабочим замечания производственного характера.

Оба нерешительно топтались посредине комнаты, и Равиль усадил друзей за стол Хангильдина.

— Рисуешь? — спросил Пантюха, озирая стеллажи, забитые чертежами и рулонами бумаги. — А где твой Переделкин?

— Кто? — не понял Равиль.

— Переделкин, — засмеялся Пантюха. — Так ребята зовут Хангильдина. Ни одна его разработка не обошлась без переделок.

Равиль посмотрел на Пантюху и предположил:

— И мне, наверно, успели дать прозвище?

— Успели, — опять засмеялся Пантюха и посмотрел на серьезное носатое лицо Фатыха, что смиренно сидел на краешке стула. — Аптекарем зовут.

— Это еще туда-сюда, — усмехнулся Равиль. — Могли и хуже назвать.

— Глупые люди, — сурово подытожил Фатых. — Человек им вместо эскизов такие картинки выдает, что и ребенок поймет, а они насмежаются. Лучше бы к Кузьмичеву пошли да попросили оклад Равилю прибавить. Некрасиво

получается: Равиль пашет, а этот Хангильдин опух от безделья и еще кой от чего.

— Это верно, — согласился Пантюха. — Несправедливо получается. Мы даже согласны пропускать тебя по бригаде, чтоб ты в зарплате не терял.

— Да зачем мне деньги? — удивился Равиль. — Один, семьи у меня нет. Мать сама работает. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь насчет меня.

— Сегодня семьи нет, а завтра будет, — резонно возразил Фатых. — Заметь, бабе — сколько ты домой ни носи — все мало. Моя, например, только лягу спать после получки, тихонько встанет и все карманы перероет, аж за надорванную подкладку пиджака заглянет — не оставил ли себе на вольную жизнь.

— Моя хитрее, — сказал Пантюха. — Она расчетный листок требует, а там машиной все до копейки расписано.

— Как вы там поживаете? — спросил Равиль.

— Живем хорошо, — ответил Фатых, поглаживая коленку. — Двадцать пять плетей даем каждый день. Вначале сами удивлялись, теперь привыкли, вроде бы за норму стали считать.

— Вот только в конторе поговаривают, будто эти двадцать пять плетей нам и взаправду за норму хотят записать, — вставил Пантюха.

— Не посмеют, — уверенно сказал Фатых. — Сегодня норма — двадцать плетей, завтра — вдруг двадцать пять. Что же, они за счет нашего горба хотят нормы срезать? Так, Равиль?

— Не совсем так, ребята. — Равиль, помолчав, поднял на рабочих глаза. — Если мы нормы заморозим, то будем топтаться на одном месте. Но вы ведь все лучше хотите жить, больше получать, больше приобретать, детей своих растить в полном достатке. Но за счет кого? Чужого горба? Думаете, другие начнут больше давать, пока вы на своих двадцати плетях сидеть будете?

— Вроде и верно, — нехотя согласился Фатых. — Но если б нормы из центра шли, а то какой-то Бакиров будет нам законы рисовать...

— Бакирову с Кузьмичевым план спускает завод, а тому сверху, из Москвы, — еле сдержался от улыбки Равиль. — Каждый год цех обязан давать продукции больше, но без увеличения количества рабочих.

— И всем так? — спросил Пантюха.

— Всем, — сказал Равиль. — Оттого страна и богатеет.

Через пять лет вы обязаны будете давать бригадой уже по тридцать — тридцать пять плетей.

— Во как! — изумился Фатых. — Что ж, будем бегать, как в мультфильме?

— Будете пешком ходить, но очень проворно, — успокоил Равиль. — Будете резервы искать с Бакировым. Их у вас полно. Например, давно вам пора на автоматическую сварку переходить. Вот и высвободятся сразу два сварщика.

Фатых о чем-то задумался.

— Ты мне объясни такую вещь, — сказал он. — Если наше начальство не потянет новый план? Что тогда?

— Будут искать таких руководителей, которые потянут.

— Ты будто с колокольни глядишь, — удивился Пантюха. — Что видишь, то и нам рассказываешь без утайки, честно. Правда, в бригаде ты нас часто сердил своими речами, но лучше вот так в глаза говорить, чем пыль пускать. На собраниях нас не устают хвалить: рабочий класс да рабочий класс, а подойдешь иной раз к большому начальнику, он с тобой серьезно поговорить не хочет. Отшутится либо по плечу похлопает, вот и весь разговор.

— Обиделись мы как-то на тебя, — вспомнил Фатых. — Нас Бакиров при всех похвалил, а ты сказал после в бытовке, что Бакиров неправду сказал. Мы, мол, плохо, несобранно работаем. Вскипели тогда ребята на тебя, но быстро поняли, что так оно и есть.

Бригадир переглянулся с Пантюхой. Равиль поймал взгляд и усмехнулся. «Собираются о чем-то просить», — понял он.

— Я вас слушаю, — улыбнулся Равиль.

— Как у тебя со здоровьем? — спросил Фатых. — Возвращался бы в бригаду. Ребята к тебе привыкли, уважают...

— О здоровье лучше не говорить, — Равиль посмотрел на Фатыха, потом на Пантюху. Те опустили глаза. — Но вы пришли не здоровьем моим интересоваться?

Фатых не ответил. Он полез во внутренний карман пиджака и вытащил листок бумаги. Равиль осторожно взял его, положил перед собой на стол.

— Тут мы изобразили кое-что, — Фатых посмотрел на друга, и тот подхватил: — В тот раз ты уговорил нас катать плети на изоляцию лебедкой. Но мы как-то подумали с Фатыхом: зачем катать плети, зачем лишнего человека на лебедке держать? Надо наш участок переставить вот

сюда, за цех, конвейер удлинить, тогда наши плети можно сразу укладывать на ролики и отправлять на участок изоляции.

— Молодцы! — изумился Равиль. — Удивляюсь себе, как это я сразу не догадался?

— Показали мы свои каракули Бакирову, — Пантюха, морщась, разглаживал бумагу. — Он нам говорит: ну, мол, вас с вашими идеями. Мне что, делать нечего? Ему забор теперь надо переносить, конвейер удлинять. Одни убытки...

— Что за человек! — огорчился Равиль. — Рабочие ему мысль несут, думают за него, а он отпихивает их. Лишь бы отчитаться за план, закрыть наряды. Потом хоть потоп... Зачем он кончал институт?

— Всю жизнь в старших мастерах проходит, — поддакнул Пантюха. — Мы пришли к тебе за такой помощью: если б ты описал наше предложение как следует да расчет приложил, тогда б Бакиров на это иначе посмотрел.

— Понял ваш план, — Равиль взял листок в руки. — Сегодня же вечером я задержусь и вычерчу все эскизы. А расчет дома сделаю.

Фатых с Пантюхой поднялись и крепко пожали Равилю руку.

* * *

Вернувшись домой, Равиль сел за расчеты. Ему понравилась идея этих дотошных, сообразительных рабочих, и он недоумевал, как ему самому не могла прийти в голову мысль о переносе забора. Только взглянув на эскиз, Равиль понял, почему идея рабочих была для него до сих пор неприемлемой. Воспитанный в суровых рамках комбината с его ограниченными площадями, где нельзя было на метр отступить за свою территорию, Равиль в этом цехе всякий раз упирался в ограду, привычно считая ее незыблемой. Фатых с Пантюхой, смолоду работавшие в полевых условиях, не питали почтения к цеховому забору.

Но расчеты Равиль не сумел закончить. Сильные боли в желудке уложили его в постель. Ночью он ни на минуту не сомкнул глаз. Мокрый, Равиль лежал под байковым одеялом и прижимал к животу колени. Утром он не смог подняться и пролежал в постели весь день.

Мать, встревожившись, позвонила с утра в санаторий и попросила подругу заменить ее на работе.

— Пей парное молоко, — попросила она сына и поставила возле него литровую банку.

Равиль пил молоко и отлеживался на спине, чтобы дать отдохнуть желудку. Он ненадолго засыпал, но тупая, ноющая боль будила его, и он, раздраженный и растерянный, открывал глаза, находил взглядом темное железное кольцо, прибитое к балке когда-то его отцом. За кольцо цепляли зыбку. Вот здесь, в полутора метрах от пола, укачивали и баюкали Тимер-Булата, потом его, Равиля. Что думал отец, склоняясь к зыбке и вглядываясь в сморщенное от плача лицо младшего сына? О том, как тяжело ломать в карьере камень и грузить его вручную в машины? Нет, тогда, после войны, машин было мало, и камень возили телегами. Лошади, хрипя, надрываясь, тащили телеги к известковым печам, где из камня получали карбид. Равиль помнит, как они бросали розовые камни в сугроб и поджигали. Карбид горел бледным, но сильным, устойчивым пламенем, снег под ним таял, и камешек, уменьшаясь на глазах, опускался вниз. Они смотрели сверху в узкую лунку на догорающий карбид и обнажившуюся черную землю, что притихла до весны.

Равиль настойчиво вызывал в памяти воспоминания, чтобы отвлечься от боли, обмануть ее. Тимер-Булат любил опасные игры с карбидом. Он мелко крошил его и высыпал в пузырек, заливал водой, быстро вставлял деревянную затычку и швырял в озеро. Мальчишки убегали за кусты и оттуда смотрели, как рвется в воде самодельная бомба. Но однажды пузырек разорвался в руках Тимер-Булата, и он едва не остался без глаз.

Но боль снова возвращала его из детства, и Равилю снова казалось, что внутри его сидит маленький жестокий зверек, царапает и рвет ему внутренности. Молоко только на время успокаивает это кровожадное существо.

— Инэй, — позвал он мать.

— Что, улым? ¹ — спросила она и быстро вошла в комнату. Видимо, мать сидела у себя за перегородкой.

Равиль вгляделся в красные запавшие глаза матери, ее увядшие щеки и признался:

— Сам не знаю, зачем позвал.

— Знаешь... — сказала мать и скорбно оглядела сына. — Ребенок ждет помощи от матери всю жизнь, пока она жива. Отец рассказывал, как умирал на войне Валинур, сын Рафата. В полном уме восемнадцатилетний парнишка звал мать. Верил, видать, что она помогла бы ему. Но вот как тебе помочь, сынок? Я ведь давно вижу, что плохо тебе,

¹ У л ы м — сынок (башк.).

нездоров ты. Лето вон кончается, а тебе все хуже, хоть ты и скрываешь. Сперва я думала, переживает, мол, сын за свою старую работу. Потом гляжу, ты и простой работой не брезгуешь. Вильданов, который у вас на горе работает, как-то рассказывал, что ты работающий и тебя там уважают. Тимер-Булат всегда говорил, будто ты белоручка. Ошибся тут старший... Или ты другим стал. Не знаю.

Мать ушла за перегородку. Равиль слышал, как она о чем-то негромко шепчет. Вспоминала или разговаривала с собой? Равиль отвернулся к стене.

К вечеру ему стало лучше. Он, тепло одевшись, вышел на улицу и побрел к речке.

На лугу лениво щипали травку ожиревшие за лето гуси. Что-то взбрело в голову лобастому теленку, и он, вскидывая задом, побежал между кочек. На него неодобрительно зашипели гусаки, один из них ухватил теленка за пушистый бок, и молодой пострел, присмирив, широко расставил передние ноги и загляделся на зеленую стену кустарника у реки.

Равиль прошел мимо задумавшегося теленка и, лавируя между гусяними выводками, добрался до речки.

Он сел на теплый песок у воды и бездумно стал смотреть на пустые корпуса турбазы за речкой. За ними, на холмах, сгущались тени, и ельник сливался в одно густо-зеленое пятно.

Скоро Равиль услышал шорох песка за спиной. Он повернул голову и увидел крепкие загорелые ноги.

— Флора? — спросил он.

— Я, — неуверенно ответила она.

Флора опустила рядом и подобрала ноги.

— Как твоё здоровье? — спросила она. — Ты очень похудел.

Равиль, не отвечая, глядел на ее узкое смуглое лицо, чернеющие в длинной прорези глазниц зрачки и прямой нос с тонкими полукружьями ноздрей.

— Ты не меняешься, — удивился он. — Будто навсегда решила остаться семнадцатилетней.

«Несмотря на все жизненные передрыги», — подумал он про себя и отвел глаза.

— Ты плохо помнишь меня семнадцатилетнюю, — усмехнулась Флора. — Я очень изменилась. Но сейчас не обо мне речь. Не нравится мне, Равиль, как ты выглядишь. В мае ты был хоть и невеселый, зато крепкий, щекастый. Что с тобой? Думаешь много?

— Совсем не думаю, — просто ответил Равиль. — Раньше думал. Нельзя было не думать — работа заставляла. Теперь за меня другие думают.

Флора долго молчала.

— Ты непонятный какой-то стал... — печально сказала она. — Зачем-то вернулся домой, зачем-то устроился на завод, никто не знает твоих планов. В кино тебя не видно, в библиотеку не ходишь, ни с кем не дружишь. Думала я вначале, что ты ко мне на почту будешь часто заглядывать. Но ты ни разу не пришел. Неужели у тебя в жизни не осталось друзей, которым надо написать, послать телеграмму, поздравить? И они тебе не пишут...

— Они не знают мой новый адрес.

— Как я тебя раньше понимала, — не слушала его Флора, — мог весь вечер промолчать, но я все равно знала, о чем ты думаешь.

— Какие тогда мысли? В школе, — пожал плечами Равиль. — Забот не было, воспоминаний никаких. Теперь сижу на берегу речки и подсчитываю, сколько воды утекло мимо.

— Еще рано подсчитывать, — вставила Флора.

— Не знаю, — сказал Равиль. — Может, уже поздно. Нет у меня сейчас планов. Стараюсь хорошо делать свою работу там, на горе. Думаю, этого мне достаточно. На остальное нет здоровья.

— О здоровье ты раньше не вспоминал.

— О здоровье обычно вспоминают тогда, когда его уже нет. Как и все в жизни. Если кто-то говорит о молодости, здоровье, любимой девушке — этот человек, можешь быть уверена, говорит о своем прошлом.

Разговор Флоре не понравился. Она упруго встала и помогла подняться Равилю.

— Уже темно, — сказала она. — Амина-апа встревожится.

— Да-да, — вспомнил Равиль. — Что-то она в последнее время чересчур меня жалеет. Хотя это и приятно, когда на свете есть человек, который тебя жалеет.

— И я тебя жалею, — тихо сказала Флора.

— И ты? — удивился Равиль и тут же попытался перевести разговор на шутливый тон: — Но разве ты меня больше не любишь?

— Я тебя очень жалею, — снова сказала Флора.

Они шли берегом. Перед обрывом, неразличимая в тем-

поте, текла речка, слышно было, как всплескивали в ней крупные рыбины.

Флора неожиданно встала перед Равилем, загородив ему дорогу, сильно стиснула его руки и горячо, быстро заговорила:

— Это я виновата, что у тебя не было жизни. Я ее изломала. Ты не мог забыть меня, мою измену. Ты вспоминал это и мучился. Ты, наверное, до сих пор не любишь женщин. Это оттого, что мы с Ахатом... нет, одна я жестоко тебя обидела. Обида сидит в тебе и мешает жить. Ты, может, сам не понимаешь, как я виновата перед тобой.

Равиль непонимающе смотрел на Флору. Ему стало как-то странно. Будто и не было за спиной этих пятнадцати лет. Они возвращаются из школы, и Флора что-то горячо доказывает ему.

— Как бы я хотела, чтоб ты жил счастливо, снова был веселым и насмешливым, как тогда. Я бы все отдала за это. Вот сказали бы сейчас: прыгай с обрыва в воду, погибни — я б не задумалась.

— Ты все придумала, — холодно сказал Равиль. — Тебя испугал мой нездоровый вид.

— Я давно об этом думаю, — опять заговорила Флора. — Все лето. Пока ты не приехал в поселок — мне лучше было. Я слышала от твоих родственников, что ты вышел в большие люди, доволен жизнью. Но только я увидела тебя в мае — я все поняла. Ты одинок и несчастлив. — Он попытался ее перебить, но она не дала ему сказать. — Как ты не понимаешь, что я во всем виновата? Разве можно было так грубо, подло обмануть тебя тогда? Я, наверно, с ума сошла в ту новогоднюю ночь.

Они подошли к крайним домам. Равиль, смущенный, шел рядом с Флорой. Ее взволнованное лицо и быстрые глаза так напомнили ему прошлое, что он зажмурился. «Вот если б случилось чудо, — подумал он. — Не было б этих пятнадцати лет, и мы возвращались бы со школьного вечера».

Он остановился у домика Флоры, взглянул на ее белую блузку, голые сильные руки и юные лучистые глаза школьницы, порывисто взял в ладони это бесконечно родное лицо и стал целовать лоб, заплаканные глаза, голые плечи.

Выставленный в чьем-то окне транзистор пробил полночь. Флора стояла у калитки, безвольно опустив руки, слушала удалявшиеся шаги Равиля и не смела тронуться с места.

Утром мать, поджав губы, убрала со стола нетронутый завтрак.

— И молоко уже не пьет, — сказала она себе и ушла на кухню. Загребев посудой, сообщила: — Люди с утреннего поезда идут. Вон тот молодой мужчина уж не к нам ли сворачивает?

Равиль приподнялся и взглянул в окно.

— Василенко! — обрадовался он. — Инэй, встречай гостя.

Георгий вошел, поздоровался с матерью, протянув ей, по старому башкирскому обычаю, обе руки, потом подошел к Равилю и притянул друга к себе.

— Здравствуй, бродяга, — сказал он. — Не думал я, что ты настолько болен.

Равиль опустил ноги на пол.

— Второй месяц в постели, — сообщил он виноватым голосом. — Вот как болезнь может скрутить. Лечусь пока дома, хотя врач о больнице поговаривает.

Через полчаса они сидели за самоваром.

— Мне, Амина-апа, покрепче, — попросил Георгий.

Мать налила из чайничка одну темно-красную заварку.

— Не вредно будет? — спросила она молодого гостя.

— Конечно, вредно, — согласился Георгий. — Но люблю крепкий чай — привык, когда сидел ночами над кандидатской.

— Ты у нас подавал большие надежды, — улыбнулся Равиль. — Я не удивляюсь, если скоро ты сообщишь, что защитил докторскую диссертацию.

— Надежды можно подавать всю жизнь, — смутился Георгий. — Вот оправдать их тяжелее.

После чаю они отправились гулять. За железнодорожной насыпью начинался редкий, светлый березняк, и Василенко шел впереди без тропок, срывал с веток уже редкие зеленые листочки и растирал их в ладонях. Заметно было, что гуляет он мало и теперь, вырвавшись на природу, глубоко, жадно вдыхает в себя свежий осенний запах леса, спешит и уходит вперед. Равиль медленно брел сзади, часто останавливался отдохнуть. Этот месяц он почти не выходил из дома, осенний лес кружил ему голову, и он с завистью смотрел на быстрый, упругий шаг товарища.

На полянке Георгий дождался Равиля и внимательно взгляделся в его лицо.

— Год назад ты выглядел молодцом, — сказал он. — Сейчас у тебя неважный видок. И вообще, что случилось с тобой? О неприятности на комбинате я кое-что слышал. Но зачем было так переживать, бросать все и ехать куда глаза глядят? Чего не бывает в жизни... Даже мне не написал ни одного письма. И сейчас придумал сверхстранное, будто кроме тебя некому трубы катать. Приехал бы ко мне, устроился на кафедре инженером по научно-исследовательской работе. С твоим богатым опытом ты через год-два выдашь кандидатскую. Обиделся, что ли, на всех?

— Обиделся, — признался Равиль. — Вот я месяц провалялся в постели, о многом передумал. Часто вспоминал наших комбинатских. Но... обиды уже нет. Отвечать за работу кому-то надо. Это раз. Второе: упущения сам должен видеть, без подсказки разных там инспекций. Что приехал сюда и руками решил поработать — не каюсь. Опыт мой никто не отберет, зато я здесь жизнь увидел. Мы ведь с тобой никогда не работали в паре с рабочим человеком, по-настоящему ни одной его мысли не знали.

— Теперь узнал? — Георгий усмехнулся.

— Узнал, — серьезно ответил Равиль. — И еще я себя узнал. Вспоминал и разглядывал снизу того, прежнего Равиля Салимгареевича, что с рабочим человеком говорил, предварительно на все пуговицы застегнувшись. Не умел и не хотел он в рабочую душу заглянуть, все ему недосуг было, суетился, мельтешил, минутку лишнюю выкраивал, а потом часами сидел на необязательных совещаниях, тупел от досады и обильных речей. Были у Равиля Салимгареевича часы приема, он опаздывал на них, иногда вообще не являлся, радовался, если вдруг никто не приходил. Вот у нас в цехе есть старший мастер Бакиров, своего рода маленький главный инженер. Гляжу на него и злюсь — это же тот самый Равиль Салимгареевич. И у него тоже нет ни минутки времени, тоже суетится, старается отпихнуть от себя живых людей. У него в голове наипростейшие мысли: вовремя перед начальством отчитаться, марафет к их приезду навести, вовремя оформить результаты соревнования между бригадами и переходящее знамя вручить. А бригады толком не знают, за что и с кем соревнуются. И я раньше отмахивался: никому, мол, это не нужно. В бригаде я понял: оказывается, рабочий человек любит соревноваться, переживает, если работает хуже соседа. Вот в каком направлении надо бы поработать, вместо того чтоб закрываться от живого дела отчетностью.

— Но ты был хорошим главным инженером, — осторожно напомнил Георгий.

— Я был хорошим технократом, — уточнил Равиль. — Твердо верил в науку, новую технику, которую придумывают и присылают сверху. От подчиненных я требовал лишь добросовестно трудиться на рабочих местах, беречь сырье и энергию. И вовсе не видел, какая сила таится в самих людях. Я частенько слышал, что в таком-то, допустим, цехе оператор предложил усовершенствовать технологическую схему. Я прикидывал на счетах экономический эффект, он получался в подавляющем большинстве случаев небольшой, и я отмахивался. А надо было мчаться к этому человеку, заставить кого-то из инженеров поработать с ним, может, этому оператору не хватило знаний нащупать золотую жилу, он, может, рядом копал. Это с технической стороны дела. С человеческой же стороны дела оператор в своих бы глазах вырос, дальше бы потянулся. Ему потом, возможно, цены бы не было. Но мы сразу потушили в нем огонек своим казенным равнодушием. Вот бы чем я занялся, окажись снова у дел.

— Я смотрю, ты и головой работал, пока руки были заняты, — улыбнулся Георгий. — Что тебе мешает вернуться к делу?

— Обида моя, как я тебе сказал, уже рассосалась, — ответил Равиль. — Надо пожить у матери, поработать, окончательно прийти в себя. Я не теряю тут времени. Да только у меня вторая незадача объявилась: болезнь привязалась.

Они спустились вниз, постояли, оглядывая замкнутую меж холмами долину, тишину которой тревожили изредка низкие гудки электровозов, тащивших тяжелые составы мимо желтеющих крон березок.

— Как твоя жизнь? — спросил Равиль. — Творческая работа, должно быть, интересная штука?

— Творческая работа... — посмеялся Георгий, и Равиль в его смехе уловил далекую, всегдашнюю студенческую усмешку друга. — Работаю как ломовая лошадь. Лекции, практические занятия, еще и грузят общественной работой. Дома — ребятишки, гвалт. Жена недовольна, что мало занимаюсь семьей. В этом году я за большую работу взялся. Но опять же много времени попусту уходит. Лабораторию дали — одни голые стены. Где насос достану, где трубы. Хорошо еще, заочники помогают. То сварщика на денек дадут, то подвезут материалов. На моей работе не поску-

чаешь, — заключил Георгий и зевнул. — Что ж ты не интересуешься старыми друзьями, Зухрой, например?

— У нее, кажется, один ребенок?

— Двое, — веско сообщил Георгий. — Часто ее встречаю. Такая росамаха стала, откуда что берется — мужики на улице оборачиваются. Если, говорит, пишешь Куватову, привет передавай душевный.

— Как она живет со своим хирургом?

— Отлично живут. Но, сам знаешь, старая любовь не ржавеет. До сих пор не пойму, отчего ты к ней охладел? Золотая была девчонка.

Они давно уже шагали главной улицей поселка. Навстречу им из магазина вышла Флора. Кивнув Равилю, она быстро взглянула на Георгия и прошла мимо.

— Кто это? — живо спросил Георгий. — Взглянула так, будто я ей задолжал.

— Вместе учились в школе.

— Ты замечаешь в ней одно, я бы сказал, несоответствие: тело сложившейся женщины и это маленькое девчачье лицо. А?

Равиль промолчал.

— Как ее зовут? — Георгий оглянулся на удалявшуюся женщину, неожиданно поразившую его воображение.

— Флора.

— Постой, та самая, о которой ты мне рассказывал еще на первом курсе?

— Она самая.

...Георгий уезжал вечером.

— Тебе надо основательно лечиться, — сказал он, прощаясь. — Что врачи говорят?

— Предлагают операцию. От чего — пока сами не знают.

— Дела, — Георгий избегал смотреть на осунувшееся, сильно похудевшее лицо Равиля.

— Дела мои такие, — Равиль легонько придерживался плечом калитки. — Пустяковая прогулка в лес отняла все силы. Не могу проводить тебя до станции.

— Вот что, — сказал Георгий, перекладывая портфель из одной руки в другую. — Вот что надо сделать. Надо поговорить с мужем Зухры и устроить тебя в хорошую клинику, к профессору.

Равиль, чтобы не задерживать товарища, кивнул, и Георгий, крепко сжав ему руку, ушел на станцию.

Он очнулся от тяжелого сна на рассвете. В комнате было темно и прохладно. За перегородкой тихо разговаривали две женщины.

— Не плачь, все будет хорошо, — уговаривал кроткий голос, в котором Равиль узнал дальнюю родственницу Бану-апа.

— Всегда он делал по-своему, — монотонно рассказывала мать. — Может, потому я не любила младшего. Да и не хотела его вовсе — время было военное. Отец жалел Равиля, часто брал с собой на работу. После смерти отца сын не находил места. Чем больше я любила старшенького Тимер-Булата, тем злее становился Равиль. Братья между собой не ладили. На улице, правда, друг за дружку стояли горой. Тимер-Булат рано пошел работать. Равиль собрался идти в восьмой класс — Тимер-Булат запретил. Тогда Равиль на все лето устроился коновозчиком в карьер, заработал себе на книжки и одежду. После десятилетки Равиль опять против брата пошел — в институт поступил. Старший в дом несет, а младшему хоть трава не расти. Тут еще с девушкой Равилю не повезло. В десятом классе она вдруг отвернулась от него — с товарищем его стала гулять. Теперь у нее ни того, ни этого. Но и Равиля, видать, крепко подломила обида. До сих пор неженат, даже на примете никого нет.

Мать помолчала, что-то переставила на столе и заговорила быстрым шепотом:

— Жалко мне его, Бану, сын ведь он мой. Пока здоровый где-то в чужом городе жил — мало о нем думала. А теперь... ночью у него кровь пошла, он на меня смотрит, как ребенок, а я ничем помочь не могу. Что делать? Тает на глазах мой младшенький!

Мать за перегородкой беззвучно зарыдала. Родственница, завздохав, стала утешать ее.

— Это мне большое наказание, — уже спокойнее добавила мать. — Нельзя обходить детей. В трудные годы я частенько кормила Тимер-Булата тайком. Какой грех!..

Равиль, не двигаясь, лежал в теплой постели и не мог заставить себя отвернуться к стене и не слушать мать.

— Везла бы ты его на операцию, — советовала Бану-апа.

— Уж и не знаю, — ответила мать. — Что с ним потом будет? Думаю иной раз, если что, хоть на моих руках отойдет...



Равиль обмяк и прикрыл глаза. Липкий пот покрыл лоб и шею. «Плохи мои дела, раз уж и мать перестала надеяться», — решил он.

Равиль ясно представил себе табут¹, в котором его понесут на кладбище, растерянное лицо брата и Флору. Старенькие родственники из окрестных аулов будут шептать молитвы, суесться возле табута и заглядывать в вырытую могилу, больше озабоченные тем, чтобы покойника уложили, как полагается, лицом на Кыбла — священный мусульманский храм с покоящимся там черным камнем, что, по преданию, был послан небесами древнему аравийскому народу в знак предостережения и могущества всевышнего.

¹ Та бут — гроб (башк.).

Беспощадная картина ухода в небытие, вечный мрак представлялись Равилю все четче, почти осязаемо. Ему стало нечем дышать. «Это уже через месяц, — думал он. — Нет, наверное, быстрее. Но почему? Зачем так мало отпущено мне жить?» Как страшно, что он ничего не успел сделать за свою жизнь. После его смерти ничто на земле не будет напоминать о нем. Если б он в свое время завел семью... Хорошие дети помнят и берегут память об отце всю жизнь.

Вошла мать и взгляделась в отвернувшегося к стене сына.

— Ты уже проснулся? — ласково спросила она.

Равиль откинулся на спину и посмотрел на мать заплесневевшими глазами.

— Инэй, — сказал он и поймал ее взгляд. — Мне все хуже с каждым днем. Я пятнадцать лет ношу зло на Флору. Она не жила эти годы. Она очень настрадалась... Я простил ее. У меня ни на кого нет больше зла. Ты ее тоже прости. Хорошо? Вот что я хотел тебе сказать...

Мать закрыла лицо руками и убежала из комнаты.

Равилю стало легко. «Ну что я испугался? — удивился он. — Все проходят это, и я пройду». И еще он подумал, если б вдруг ему повезло дожить до первых весенних дней...

* * *

Равиль проснулся около десяти. За окном шел мелкий дождь. Холодный порывистый ветер налетал с реки. Равиль открыл окно, прибодрившись, встал с койки и сел за стол. Разговор матери с родственницей успел потускнеть в памяти.

Холод шел в открытое окно. Равиль натянул на себя шерстяной свитер, с трудом переставляя ноги, побродил по избе. Скоро он почувствовал сильный голод. На плите стояла сковородка с остывшей картошкой и чайник. Равиль отставил картошку. Ему вдруг захотелось яичницы с луком. В лукошке яиц не было, и он вышел в сарай. Куры, нахохлившись, поглядели на него слипающимися глазами и снова задремали на своем насесте. Только петух зорко проследил за руками человека. При его молчаливом неодобрении Равиль выбрал из гнезда свежие яйца и ушел в чулан за луком. Здесь, в пыльном полумраке, в нос ему крепко ударил запах свеженасушенных трав. Пучки их

свисали со стен, с жердочек, круглые желтые венчики пижмы пестрели с дверного косяка, ноздри щекотал запах ежевичных листьев, в корзинке краснели ягоды высушенной лесной земляники. Еще несколько знакомых с детства трав разглядел Равиль в чулане, даже листья вездесущей будры разложила мать на полочках под потолком. Кое-каким травам Равиль вовсе не вспомнил названия.

«Что это с инэй случилось? — подивился он. — Вроде не было у нее такого пристрастия». Он ушел на кухню, кое-как растопил печь и изжарил яичницу. Горячая сковорода шипела, стреляла брызгами масла. Равиль бегом пронес ее на стол, отрезал от каравая крупный ломоть хлеба и сел за стол. Уничтожив глазунью, он хлебом собрал горячую смесь яичницы, масла и лука и отправил сочный ломоть в рот. За этим занятием застала его мать. Она удивленно смотрела с порога на сына. Высокие сапоги ее, грубый плащ, берестяной туес и даже старый платок были забрызганы грязью.

— Ты где ходила, инэй? — спросил Равиль. — В последние дни я совсем мало вижу тебя дома.

— Бессмертник сегодня нашла, — мать, довольная собой, сняла с себя мокрый плащ, сапоги, прошла к столу и осторожно вынула из туеса пучки сырой травы. — Трава нынче высокая, человека не разглядишь. Все полянки обобрала, зима-то длинная. До весны придется пить.

— Что пить? — Равиль смотрел на сырую траву.

— Вспомнила я свою покойную бабку, — мать взяла в озябшие ладони чашку с чаем. — Умела она лечить настоями из трав. Маленькой еще помню, как она выходила деда от такой же вст болезни. Семнадцать трав, припомнила я, находили мы с ней в здешних местах.

— Не мучь себя, инэй, — попросил Равиль. — И так тебе хлопот со мной... Если б бабкины травы помогали, все б их пили.

— Умные люди в городе давно пьют, — сухо возразила мать.

Выпив чашку, она налила еще и сказала с сожалением:

— Не могу найти болотную сушеницу. Где ее бабка находила? И вдруг не растет теперь она у нас? Паровозы да автомобили могли спугнуть...

Мать дышала на чай, осторожно прихлебывала. Глубокие морщины на ее лице разгладились, глаза посвежели.

— Хлопот много, говоришь... — сказала она и заправила под платок жидкие волосы. Глаза ее по-обычному сузи-

лись, взгляд сделался твердым. — Я тебя, сын, родила и буду за тебя ответ держать до самого своего последнего денечка. Ты мне глаза закроешь и к отцу проводишь. Тимер-Булат хороший мужчина, крепкой породы, но он невнимателен к нашим обычаям и словам уважаемых людей. Ты хоть и не признаешь старое, но зато уважаешь пожилых и крепко стоишь на своем слове. Я знаю, ты как надо исполнишь мои последние пожелания. Это будет не скоро, но время придет, и я тебе их расскажу.

— Инэй, — сказал Равиль с усмешкой. — Не тому человеку ты их собираешься рассказывать.

— Знаю, — холодно отрезала мать. — Но я поставлю тебя на крепкие ноги. Дыхание свое отдам, если надо будет. Мать многое может...

Ночью Равилю стало плохо. Ниже груди, в самой ямочке, казалось, набухал большой вязкий ком. Он не давал дышать.

— Это от яичницы, — покачала головой мать. Босая, она стояла у изголовья сына и не знала, как облегчить его боль.

— Терпи, сын, — попросила мать. — Еще немного потерпи. Держи в себе силу. Крепче держи...

* * *

Мелкий монотонный дождь шел, видимо, всю ночь. Под утро тучи над долиной сгустились, и хлынул ливень. Равиль повернул голову и увидел через окно, как по железной крыше соседского дома бегут извилистые ручейки и сливаются в крапиву прозрачным водопадом.

Завтрак стоял на столе. Матери, как всегда, не было дома. Равиль, не притронувшись к еде, вяло походил по комнате и, ослабев, снова лег в постель.

В полдень кто-то прошел двором, нерешительно постоял в сенях и негромко постучал.

На пороге стояла Флора. Она сняла плащ, быстро взглянула на нетронутый завтрак на столе и, поправляя руками пышные черные волосы, подошла к постели Равиля.

— Амина-апа разрешила мне навещать тебя, — сказала Флора и присела на стул. — Она подобрела ко мне — останавливается и приветливо разговаривает. Только уж очень она печальная. Такой Амину-апа я никогда не видела.

— Ее с утра нет дома, — сказал Равиль и взял маленькую, полную руку Флоры в свои ладони.

— Знаю. Она еще на рассвете ушла в сторону Сары-Куль.

Флора смиренно смотрела, как Равиль нежно гладит ее руку.

Он шевельнулся.

— В последние дни люди избегают смотреть мне в глаза, — сердито сообщил он. — Мать куда-то спрятала зеркало. Неужели я так похудел? — он ощупал пальцами щеки и подбородок.

Флора взглянула в глаза Равилю.

— Сколько жалости в тебе! — удивился он и, вспомнив свои недавние мысли, сказал с ожесточением: — Я теперь много думаю. Мы потеряли столько лет! У нас были б большие дети...

— Я тоже думаю об этом, — призналась Флора. — Раньше винила только себя. Недавно обозлилась и на тебя: ты ведь всегда был рядом со мной, умный, понимающий и предусмотрительный. Но отчего ты легко отдал меня другому? Отчего ты не разглядел вовремя своего Ахата, который в школе не сводил с меня глаз и крался ко мне, как кот к сметане? Я оступилась, но где ты был, почему избегал, ни разу не поговорил со мной?.. Все могло быть по-другому, как у людей...

Голос ее перехватило.

Равиль приподнялся и легонько привлек женщину к себе.

— Нам не так уж много лет, — мягко сказал он. — Не надо плакать о том, что было и чего не вернешь. Лишь бы впереди был свет.

— Пусть твоя мама думает обо мне, что хочет, — сказала, не скрывая слез, Флора. — Я сделаю все, чтобы помочь тебе справиться с болезнью.

Равиль опять привлек ее к себе, осторожно поцеловал в шею.

— Закрой дверь, — попросил он шепотом.

— Что? — не поняла она.

— Дверь... — сказал он и сжал пальцами ее кисть.

— Что? — она посмотрела на его ставшее напряженным лицо, волнуясь, попросила: — Пусти же руку, я не могу встать.

Флора легко, на носках, пробежала к двери. Ее крепкие, узкие в голени ноги замерли на пороге, звякнул крючок. Флора теперь бежала от двери, и он ощутил лицом ее маленькое плечо.

— Ну? — говорила она, волнуясь все больше. — Равилек мой... Где ты был раньше?

...Дождь лил не стихая ни на минуту. Занавеска мешала Равилю видеть соседский дом. Наверное, он весь в пене и брызгах и дождь скатывается с крыши не тонким, прозрачным водопадом, но целые реки его обрушиваются в кусты малины и крапиву.

Рядом с ним лежала женщина, покорная и тихая. Равиль приподнялся на локте и заглянул ей в лицо. Флора не мигая смотрела на темное железное кольцо в потолке.

Он провел мизинцем возле глаз.

— Морщинка возле рта, — сказал он. — Летом ее не было.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросила Флора. — Почему люди не научились делиться здоровьем? Умиравший от голода человек может последнюю корку хлеба отдать близкому человеку. — Она повернулась к Равилю. — Моего здоровья хватило бы нам надолго.

Флора взглянула на часы и заторопилась.

— Мне пора на дежурство, — сказала она и быстро поцеловала Равиля. — Я забегу на обратном пути.

Флора надела плащ и вышла под дождь.

Равиль лежал в узкой постели, еще хранившей в себе тепло женщины, и старался не думать о завтрашнем дне.

Взгляд его остановился на часах, и он вспомнил, что уже вечер, но матери до сих пор нет. Дождь по-прежнему с железным стуком колотил в тонкие стекла. Равиль без света лежал в постели и думал о желтом страшном болоте Сары-Куль. В дожди и сухая полянка становилась там несущей беду трясиной. Телята, козы и собаки, если забредали в непогоду на Сары-Куль, обратно не возвращались. Их больше никто не видел. Лишь иногда долетали предсмертные крики животных и долго помнились одиноким прохожим, что далеко обходили гиблое место. И людей немало затерялось в пучине Сары-Куля.

Равиль с открытыми глазами видел маленькую, тщедушную фигурку матери, что неуверенно пробиралась среди зыбких трав болота. Фигурка плутала над бездонной топью, и память раскрывала Равилю все светлое из его далекого детства, озаряло жарким, чистым пламенем лицо матери. В пустой темной избе, которую равнодушно трепал холодный ветер с дождем, Равиль, изнемогая, боролся с памятью.

Хлопнула калитка. Со двора вбежала Флора, зажгла свет и подошла к постели. С нее текло ручьями.

— Что с тобой? — ласково спросила она и провела ладошкой по спутанным волосам Равиля.

— Инэй не вернулась с Сары-Куля, — сказал он. — Я лежу тут и ничего не могу поделать.

— Я по дороге на работу забежала к Тимер-Булату. Он с товарищами уехал за Аминой-апа.

— Правда? — Равиль немного успокоился. — Ты сама видела, он уехал? Что ж, на моего брата можно положиться. — Равиль, помолчав, добавил: — Боюсь ночей. Боль, как зверь из кустов, кидается. Вот и сейчас...

Флора посмотрела на серое лицо Равиля, прилегла на край постели и прижалась к нему животом. Тепло ее горячего тела согрело Равиля.

Они лежали молча. Равиль слушал, как возле его уха часто и сильно толкается сердце женщины и гонит кровь по телу горячими, упругими струями. Тяжкий ком внутри его слабел и рассасывался, и Равиль крепко уснул.

Он не слышал, как возле дома остановилась машина и Тимер-Булат завел в дом смертельно уставшую мать. Она, не удивившись Флоре, легла на топчан возле печки и спросила чуть слышно:

— Спит сын? Ел хоть немного? Ну, ладно...

Равиль проснулся на рассвете. Мать сидела рядом и смотрела в лицо сыну.

— Болит? — спросила она. — Потерпи еще немного, сынок. — Лицо ее просветлело. — Я ведь отыскала сушеницу. Вчера забралась в самое логово Сары-Куля. Болото раскисло, пора, думаю, уходить. Да вдруг увидела одну травинку сушеницы, другую и без памяти от радости начала обегать все кочки. Дождь идет, стемнело. Смотрю, куда ни кинься — везде под ногами топь. Села на бугорок, и он вроде оседает, болотная жижа к ногам подбирается. Встала — по колени в болоте стою. Ноги вытянуть уж сил нет. Прощайте, родные мои сыночки, думаю. Плачу, что не сказала тебе последних моих желаний. Еще вспомнила: и тело мое, по-людски не погребенное, далеко от Салимгарея будет лежать. Горько мне стало... Вдруг издалека голос Тимер-Булата слышу — раненым быком кричит. Я голос подала, слабый, себя чуть слышу — но внял он материнскому зову. По жердям, по бревнышкам ко мне подобрался. По пояс уж стояла...

Равиль, онемев, слушал страшный рассказ.

— Что ты могла наделать... — сказал он и отвел глаза от спокойного, бесстрастного лица матери. «Когда же это кончится? — подумал он и впервые в жизни ощутил неприязнь к самому себе. — Скоро я перестану быть обузой близким?»

* * *

Этим утром Равиль лежал вялый и равнодушный и ни о чем не думал. К тупым болям он привык, как может привыкнуть к ним человек, не теряющий надежды встать на ноги. Но сегодня было так мало сил, что надежда почти угасла.

Мать ходила по кухне.

— Опять ты будешь поить меня этой горечью? — спросил Равиль, закрывая глаза.

— Буду, — сказала мать. — Зубы сожмешь — и то буду. Она сняла с плиты горячую кастрюлю, процедила в кружку отвар и дала сыну.

Равиль отхлебнул глоток и сморщился.

— Где ты отыскала эти горькие травы?

— Пей, — сурово ответила мать. — Знай: тут соки земли.

Равиль допил мутную горечь, откинулся на подушку и сказал с тоскливым раздражением:

— Уже месяц ты мучишь меня этим пойлом. От него мне только хуже.

— Потерпи, — сказала мать и украдкой вздохнула. Равиль уже не в первый раз читал в ее глазах растерянность. «Хоть бы меня, а то и себя изводит», — подумал он, снова раздражаясь.

— Я тебе творожок протерла с сахаром, — смиренно сказала мать.

Равиль насильно втолкнул в себя три ложечки творога и отстранился. Собираясь с силами, он ждал, когда внутри него тупые боли перейдут в режущие и он поведет счет томительным секундам. Потом придет передышка, и он успеет немного окрепнуть.

Передышка совпала с шумом подъехавшей «Волги».

— Кого это принесло? — засуетилась мать и выбежала в сени.

Вернулась она с Тимер-Булатом, Флорой и несколькими родственниками. Все громко говорили, махали руками,

сердитый, взлохмаченный Тимер-Булат кричал на всех.

— Собирайся, братишка, — сказал он недовольным голосом Равилю и тут же обернулся к матери: — Я его в больницу отвезу, ему надо срочную операцию делать. Молодой еще парень, всю жизнь, можно сказать, учился, а теперь лежит и дожидается костлявой. Я не позволю на моих глазах убивать Равиля. Слышишь, мать?

Мать, поджав губы, не мигая смотрела на Тимер-Булата.

— Слышу, старшенький, — сказала она тихо, но очень твердо. — Я всегда была с тобой заодно, но сегодня не отдам Равиля. Какой из него мужчина станет с четвертушкой желудка?

— Мне тоже операцию делали, — рассердился Тимер-Булат. — Я не плакал, не противился и живу теперь, как всякий здоровый человек.

— Вам же, Тимер-Булат, аппендицит вырезали, — робея, вставила Флора, одетая в пальто и резиновые сапоги — видимо, собралась в дальнюю дорогу.

— Все равно операцией считается, — отрезал тот. — Что мы стоим? Нельзя терять ни одного часа. Тут «скорой помощи» нет. Решай, брат.

Все вспомнили о Равиле. Он приподнял голову, оглядел собравшихся и сказал через силу:

— Раз надо ехать, я поеду. Только, инэй, знай: Флора мне больше чем жена.

Мать очнулась.

— Нет! — сказала она Тимер-Булату. — Я не отдам Равиля. — Она со злобою оглядела всех, голос ее сорвался: — На порог лягу! Вы не посмеете перешагнуть через мать!

Тимер-Булат отвел глаза.

— Через окно вынесем, раз не понимаешь, — пробормотал он. — Все за то, чтобы везти. Равиль тоже согласный. Вот Флору спросим... Она братовы мысли лучше нас знает. Скажи-ка, сестричка, раз уж ты в нашей семье. Скажи, что делать?

Флора остановившимися глазами глядела на Равиля, что, отвернувшись к стене, покорно ждал решения родни.

— Не знаю... — Флора не могла оторвать взгляда от мальчишески худой спины Равиля.

— Мы от тебя совета ждем, — угрюмо сказал Тимер-Булат. — Плакать потом будешь.

Флора выпрямилась и сказала, твердо глядя на Тимер-Булата:

— Равиль не вынесет дороги и одиночества. Я знаю это. Амина-апа, не отдавайте Равиля!

Мать встрепелулась.

— Слышишь, Тимер-Булат? — спросила она.

Тот сплюнул.

— Баба! — сказал он Флоре. — Пока вез ее, твердила: в больницу его, в больницу... Сейчас другое наладила.

Он обвел пристальным, тяжелым взглядом родственников, мать и Флору.

— Ну, родственнички, — медленно выговорил он. — Тимер-Булат сказал свое слово. Не поминайте худо, если что...

* * *

С вечера Равиль выпил кружку теплого горького настоя, проглотил несколько ложек куриного бульона и отвернулся к стене, готовый схватиться с болью.

Ночей он боялся больше всего. Сон приходил отрывочный, неглубокий и мешался с явью. Меканье коз, лай собак, крики птиц с реки и скрип половиц под ногами матери входили в его сны большим зеленым островом, к которому он продирался темной чащей. Лес казался бесконечным, остров отдалялся, то вовсе пропадал из виду, но надо было идти, надо было передвигать ноги. По пятам его преследовало что-то черное, злое и безжалостное, похожее на бешеную собаку. Она шла вслед ему, кидалась со всей лютой злобой. Надо было передвигать деревянные ноги, чтобы уйти и не дать себя загрызть. Он открывал глаза, но в последние дни и это не помогало — лохматое злобное существо не отставало.

* * *

Равиль проснулся от яркого солнечного света. Вокруг было нарядно, празднично. Шумели под легким ветром флаги. Черный лес растаял вместе с собакой.

— Инэй... — сказал он еле слышно. — У меня не болит. Будто камень из живота вынули.

Мать сказала сверху:

— Отпустило? А ты не спеши радоваться — еще рано. Дай-ка я тебя умою.

Она смочила в теплой воде полотенце и протерла руки и лицо сыну. Равиль раскрыл глаза и хотел зажмуриться.

Но увидел, что в комнате пасмурно, за окном ненастный, серый день поздней осени и тяжелые полотнища дождя стекают с крыши.

— Осень все еще... — удивился он.

— Долго стоит осень в наших краях, — устало ответила мать.

Равиль всмотрелся в ее лицо и еле узнал бодрую и крепкую еще в начале лета мать — лицо ее поблекло, и кожа собралась на щеках дряблыми складками, седые волосы растрепались под платком. Он увидел перед собой старуху. Только глаза ее по-прежнему горели твердым, злым огоньком.

— Осень... — повторила она и, взглянув на худое, костистое лицо сына, смягчилась взглядом. — Будем вместе коротать зиму. Весной я отпущу тебя. Улетай куда хочешь со своей Флорой... А теперь подними голову, будем завтракать.

ПУТЬ К СЕБЕ

(вместо эпилога)

Ночами в ближнем лесу беспокойно кричали птицы, срывались с веток и падали в траву за добычей совы, в кустарнике бродил неутомимый еж.

Равиль выходил на террасу и, облокотившись на перила, слушал огромную, никогда не затихающую землю. Теплая, ласковая ночь обнимала компрессорную станцию, маленький поселок, мягкие, округлые холмы, за которыми крепко спал башкирский аул, баюкала зверьков и птиц в лесу, что капризными детьми возились и выкрикивали из своих гнезд.

В эти тихие темные ночи Равилю хотелось спуститься вниз, войти в лес и ощутить себя пусть крохотной, но полноправной частицей живого, вечно ликующего мира, из которого по своей воле ушел человек и куда ему нет возврата.

В диспетчерской гремел телефон, Равиль уходил к аппарату и докладывал обстановку человеку, сидящему у пульта за тысячи километров отсюда. Тот человек знал обстановку на станции не хуже Равиля — бесчисленные приборы и датчики неусыпно следили за газовой рекой, мчащейся по трубам из Сибири через Урал и растекавшейся ручьями и ручейками к городам Поволжья и Центра. Но

люди не научились доверять своим электронным детищам, им нужен голос живого человека с его улыбкой, шуткой, пустячной фразой.

Равиль кратко доложил и вернулся на террасу. С холма ушли в небо два узких ярких луча. Донесся рокот мотора — со стороны аула шла машина. Лучи медленно вспороли небо сверху вниз и упали на землю — машина перевалила через вершину и покатила вниз.

И этот случайный ночной шум затих, и наступившая тишина вернула Равиля к его смутным, тревожным мыслям. Он снова попытался представить и понять жизнь невидимых существ, населявших лес и землю, что не уставали криками и песнями славить жизнь. «Их жизнелюбие от незнания, — утешал себя Равиль. — Человек принимает смерть умом, но не сердцем, и эта раздвоенность мучает его, мешает жить. А вдруг эти маленькие, бодрые комочки понимают больше нас о сути жизни и потому счастливы? Но когда они обогнали человека, если на лестнице эволюции место их много ниже? Человек страшится конца своего. Но отчего он боится рождения? Ведь первый крик его — крик страха...»

Рядом в поселке, в одном из коттеджей, лежала в постели Флора и думала о муже, что изнуряет себя безответными вопросами, ищет и не находит места под солнцем.

Неотступно Равиль думал и о матери, о непонятной ее власти над ним. Она простила Флору, но к ним не приезжала. Она писала редкие, длинные письма, в которых воздавала хвалу Тимер-Булату и умилялась его подраставшими сыновьями. Равиль сердился, читая письма, и приступы ревности пополам с неприязнью к матери накатывали на него волнами. Флора угадывала мысли мужа, испуганно напоминала: «Она дала тебе жизнь дважды». Равиль несколько раз бывал у матери. Она радовалась его приездам, суетила и потчевала младшего сына пирогами, сдобой. Но Равилю казалось, что мать снова оравнодушела к нему, живет и дышит «старшеньким». Он сидел за столом и дулся, как малый ребенок. Мать провожала сына на электричку, но ему вместо грусти чудилась радость на ее лице. Равиль сидел в вагоне, прижимал к себе сумку с пирогами и думал с горечью: «Неужели надо тяжело заболеть, чтоб увидеть ласку близких тебе людей?»

По приезде в глухой лесной поселок Равиль по-стариковски радовался светлым, солнечным дням, испытывал блаженное, знакомое с детства, наслаждение от одного

вида зеленой травы, просыхающей после дождя тропки. Что-то перевернулось в нем, он много мучительно размышлял и однажды признался Флоре: «Лучше бы мне не выздоравливать. Потерял я себя. Или вкус к жизни...» Флора сжималась при взгляде на мужа, здорового, цветущего, даже начинавшего несколько полнеть от лесного воздуха и хорошей пищи. «Тебе дело найти надо, утомить себя крепкой работой, чтоб весь дурман из головы вышел», — несмело ответила она и с ужасом предположила про себя: «Не в травах ли дурман сидел? Тело вылечили, а душу отравили?» Но не сказала Флора об этом мужу, очень она надеялась, что беде поможет тот, что день ото дня набирал в ее утробе силу.

Внял совету жены Равиль и принялся за работу. Ночами в диспетчерской, днем дома он изучал схему работы станции, прогонявшей через себя газовую реку. Он хорошо знал приборы и верил им. Человек слаб: он может заснуть на вахте, забыть о важном, перепутать время, его может, наконец, отключить от службы острый приступ аппендицита, но хорошо отлаженный прибор не знает этих слабостей. Равиль насытил приборами схему, показания от которых сбегались на пульт к диспетчеру. Неполладки в любом из звеньев работы станции отзывались на пульте световыми и звуковыми сигналами. Но, не слишком доверяя диспетчеру, Равиль насадил и аварийные приборы. Они в критический момент решительно отключали машину и даже всю станцию, направляя об этом сигнал главному диспетчеру трассы. Новая схема сулила громадную прибыль государству и большую премию автору. Равиль, чтоб скорее внедрить новую схему, щедро записал в соавторы всех тех, от кого зависела судьба предложения. Начальство, в порядке эксперимента, охотно пошло на сокращение ночной смены. Теперь ночью на станции работал один инженер в лице дежурного диспетчера. Но начальство наотрез отказалось сокращать сторожа. Тут оно не хотело верить даже новейшим приборам, больше доверяя бабаю в теплой шапке, что коротал ночи у ворот в обнимку с термосом и берданом.

Вскоре Равиля вызвали в город, и генеральный директор, долгим, испытующим взглядом изучив безвестного инженера, предложил ему одну из ведущих должностей и квартиру в городе. Равиль отказался. Генеральный, оскорбившись про себя, крепко пожал ему руку и показал глазами на дверь.

И снова Равиль стоял ночами на террасе, напряженно вслушиваясь в ночную жизнь леса, и мучительно ждал, что вот-вот его посетит давно ожидаемая сокровенная мысль и он с облегчением поставит точку в своих запутанных размышлениях. Днем он бродил в полях, взбирался на холмы. Как-то нашел толстую, суковатую палку и стал ходить, опираясь на нее. Флора высмеяла мужа, но он не понял ее смеха и больше с палкой не расставался.

В один из погожих дней октября Флора родила дочь. Через неделю Равиль привез жену с дочкой из районной больницы. Вдвоем они купали девочку, пеленали, Равиль с любопытством смотрел, как крошечный человек ловит ртом грудь, жадно, захлебываясь, сосет. Наевшись, ребенок склонил головку набок и, широко, по-взрослому, зевнув, заснул.

С этого дня Равиль прекратил далекие прогулки, а палку вовсе выбросил, но что-то продолжало пригибать его, мешало жить. Он пошел к начальнику, попросил машину и поехал за матерью. Она без желания собралась в дорогу, и вечером того же дня Равиль привез ее к себе в дом.

Мать неспешно разделась и прошла в спальню. Малышка лежала в кроватке и взмахивала ручонками. Равиль все с тем же острым любопытством смотрел, как мать взяла девочку на руки, прижалась к ней старым лицом и беззвучно заплакала.

На следующий день Равиль увез мать домой. Вернувшись, она напилась горячего чаю и легла на топчан. Равиль посидел рядом, глядя на глубоко дышащую во сне мать, ее скорбно сложенные губы, и пошел к реке. Он до вечера обошел все знакомые с детства потаенные уголки своей родины, почти физически ощущая, как, содрогаясь и плача, освобождается его душа от томящего ее гнета и, свежая, обновленная, рвется к жизни.

Ночью он крепко спал, а утром беспечно распротиснулся с матерью. Вчерашние мысли, пережитые им у реки, не оставляли Равиля, наполняли силой, заставляли спешить. С этим сильным, незнакомым прежде ощущением жизни Равиль уехал домой.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

- 4 205-й пикет
16 Рассказ
о раненой машине
28 Мужские разговоры
44 Интервью
52 Через
вешние воды
76 Нас двое
87 Зеленый свет
115 Почему Трофимов?
127 Горячий сезон
141 Исповедь
семьи Пушкаревых
181 Материнский праздник
189 Порт-Артур
207 Мир вашему дому

ПОВЕСТЬ

- 215 Да будет день

**Шамиль Сафуанович
Хазинахметов**

МИР ВАШЕМУ ДОМУ

Рассказы. Повесть

**Редактор Е. Корнеева
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор В. Никифорова
Корректоры В. Дробышева, Л. Федосеева**

ИБ № 4152

**Сдано в набор 15.08.85. Подписано к печати 20.11.85. А13218.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип.
№ 2. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,70. Уч.-изд. л. 15,44.
Тираж 50 000 экз. Заказ 264. Цена 1 р. 30 к.**

**Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.**

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Андропов, ул. Чкалова, 8.